HEBA



11·2024

НЕВА 11
2024
ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Герман ВЛАСОВ
Стихи • 3

Борис ЕВСЕЕВ
Аскания. *Заповедная повесть* • 7

Егор ФЕТИСОВ
Бегство. Вечер Пасхи. *Рассказы* • 39

Вадим ПУГАЧ
Стихи • 48

Виктор ПЕРЕГУДОВ
Лес. Сапсан. *Рассказы* • 52

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ
Везувий зев открыл. *Рассказ* • 71

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Дмитрий КАНТОВ
Стихи. *Предисловие Е. Каминского* • 74

Ахат МУШИНСКИЙ
Холодно, горячо и опять холодно. *Рассказ. Предисловие Е. Попова* • 80

Любовь НОВИКОВА
Стихи. *Предисловие Е. Каминского* • 91

Алена ДАЛЬ
Варежка. Шторм. Скрипка. Собачья жизнь. *Рассказы. Предисловие Е. Полянской* • 97

АРХИПЕЛАГ БЛАГОРОДСТВА

Александр МЕЛИХОВ
Лечить и учить надо всех • 120

ПУБЛИЦИСТИКА

Евгений ПОПОВ, Михаил ГУНДАРИН
Мракобес и империалист Кабаков • 136

12+

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Александр СЕКАЦКИЙ
Свобода под покрывалом • 150

Анатолий СОБЕННИКОВ
Первая мировая война в русской поэзии:
от факта к мифу • 167

Владимир КОВАЛЕНКО
Неформатная и неформальная:
атипичные произведения в мировой литературе • 184

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. *Елена Воскобоева.* Творческая и сценическая истории сатирического обозрения Е. Л. Шварца «Под крышами Парижа» (к постановке темы). **Искусство чтения.** *Андрей Горбачевский.* Картина мироздания в романе «Мастер и Маргарита». **Рецензии.** *Вера Чайковская.* Точные данные бесспорных свидетельств. **Книжный остров.** *Публикация Е. Зиновьевой* • 188

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (Никитин)
Харбин — «русский Китеж». *Часть 18* • 227

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9). Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих *(шеф-редактор гуманитарных проектов)*. **Ольга Малышкина** *(шеф-редактор молодежных проектов)*. **Елена Зиновьева** *(редактор-библиограф)*. **Наталия Ламонт** *(редактор-координатор)*.

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2024

Герман ВЛАСОВ

* * *

В августе пешеход чаще смотрит под ноги:
что там — листва ли, корень, шпалы узкоколейки,
если заметит гриб — много грибов находит.
Переползет тропу пестрым узором змейка.

В август фоном звучит, соседней дорожкой память —
первый ли снег, пушок над губою, юность,
детство ли, отрочество, укором — могильный камень.
Или — крымский песок, моря лазурь и южность,

вольность, ветер, гроза. Нет для стихии закона.
Август — время сводить переводные картинки,
слайды смотреть на свет. Так игла патефона
силится вспомнить ей сыгранные пластинки;

редко, но воскресить: волны, их шум песочный
принесут гребешок — профиль Милены, Плениры.
Все-таки море лучше трубы водосточной,
мебели полировки, где поверх нее сувениры.

РУСАЛКА

Отчего ты сегодня скрытная? —
Оттого что плавала с рыбами,
Целовалась с большими тенями
И речные рвала растения.

Отчего ты сегодня тихая? —
Слишком громко часы мне тикали,
Бой их был как напоминания,
И хрипели они названия

Позабытой наутро местности.
Узнаешь ли сейчас окрестности:
Речки узкой кувшинки желтые,
Чья вода каждый вечер шелкова?

Герман Власов — поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1966 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ, член студии И. Л. Волгина «Луч». Лауреат премии Фазиля Искандера (2021), дипломант Ахматовской премии (2023), автор многочисленных книг. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Новый берег», «Дети Ра», «Зинзивер» и др.

И чешуйки, что в толще прячутся
Водяной, не твое ли платьице,
А луна, что в ней отражается,
Уж не пояс ли твой, красавица?

А сама ты, бледная, жалкая,
Говори скорей, не русалка ли?
И зачем белизной ли, голосом
Привела на купанье молодца?

* * *

я говорю о затухании
окружном о накале взора
о ясности благоухании
о ледяном

и что позора
не избежать когда не вынырнешь
из духоты где угореть и
когда во двор подростком выбежишь
и гладит ветер

лицо еще лицо и волосы
когда к себе и миру жалость
арктической охватит полостью
и вдруг обрадовала малость

какое-то пальто мелькнувшее
учтивость капюшон прохожего
тебе и верное и нужное
внутри похожее

тогда и поднимаешь голову
глядишь поверх и без укора
знакомым называя голосом
что будет скоро

* * *

Было время без вины —
длинное, прямое, зрячее.
Было время — влюблены
в нас прямоходячии

были. Лазили под стол
пахнущий и праздничный.
И никто не скажет стоп,
не докажет разницу

между запертым окном
и листвы смещением,
между ветром и стеклом,
проблесками, тенями.

Выросли? Наверно, нет —
тусклым освещение
стало, и большой портрет
вынесли из помещения.

Там в одно из первых утр
остывало творчество.
Белый одуванчик мудр —
так что дуть не хочется.

Он в руке твоей застыл,
будто кончик света он,
будто сам его лепил,
выдумать советовал.

* * *

Широко, так что видно пороги-
шагомеры; и горлом глотки
сосчитают, как медленно ноги
поднимаются; как ободки
у перил деревянные гладки...

Широко, потому что темно
и от эркера на площадке
вполовину забито окно...

И — на ощупь рукой-невеличкой
за вилюшку перила держась,
медных ручек, звонков и табличек
начинаешь улавливать связь...

Мне на пятый, мне в сорок вторую
на Высокой квартиру и год,
где без карточек и не воруют,
где культурный мой кодекс и код.
Карандаш где химический вывел
«Два звонка» и «Бойкова Н. Т.».
Где не знают за плюшевый вымпел
ни путевок и ни СНТ,
но стальная где жесткая воля
над громадой шестою земли,
где письмо не приносят от Коли, —
там на цыпочки встань и замри.

Прочитай по слогам и врастяжку
круговое «Прошу повернуть»
и одну в треугольник бумажку
сочини и попробуй вернуть.

* * *

Счастье выбежать под ливень,
снять простынки с бечевы,
воду называя Ильмень,
берег Волги, край Невы,

локон Дойбицы, Печоры
дух мятежный. Острова
сосчитать. Сказать, что скоро
перетрется бечева —

нить немая над водою.
Сидя с краю у воды,
понимая, что с бедою
справиться слабы труды, —

в камышах готовить лодку,
сети, весла и топор,
чтобы двум друзьям-погодкам
ночью выйти на простор.

На носу зажечь фонарик,
черпать веслами по дну,
править бот, казанку, ялик
на Медведицу одну.

* * *

Тонкие губы,
задающие корму
сплетням толстушек...
Все, что не губит —
придает нам форму;
все, что не душит,
в спину толкает,
волком глядит ли,
ставит подножку,
нас распекает,
ставит на вид ли —
все понарошку.

Недругов славлю,
козни их, ибо
косны, двояки:
выживет Авель,
женится Иов,
первым — Иаков.
Все, что витало,
жило наветом,
горечью, сором —
себя впитало,
стало портрета
дымкой, узором.

Так что, любимые,
славьте, и громче,
шаг мой и каждый:
глиною были мы,
скоро возропщем:
были однажды.
Вряд ли останется
важность и глупость,
шаги в потемках.
Что не состарится —
ясная хрупкость
в сердцах потомков.

Борис ЕВСЕЕВ

АСКАНИЯ

Заповедная повесть

Дрофа

Шаг, другой, третий, четвертый...

Дрофа попыталась взлететь, но тут же, наискосок от нее — схожий с небесным — огонь полыхнул. Застыв на месте и опустив крылья — переждала. Затем снова, прямо через высокие ковыли, разбежалась. Взлетала уже в дыму: смолистом, тягучем. Дым этот, после второй огненной вспышки, лениво над землей растекался. Вырвавшись из дыма, уронила влажно-насмешливый крик, а вслед за криком несколько ласковых побулькиваний, в истомляемой весенним жаром степи приятных всем, приятных каждому. Побулькивания, однако, внезапно смолкли, потому что близко, рядом, заурчал грозно зеленый зверь о четырех колесах. И тут же крыло дрофы от резкой боли, словно надвое, переломилось. Неуклюже спланировав, подраненная дрофа опустилась прямо в кусты янтака. Верблюжья колючка не колыхнулась. Утро раннее, утро трепетное, утро опасливое началось.

Дед и внук

— Едешь?

— Еду, дед, еду.

— А как не найдешь ее, тогда што?

— Тогда — ничего.

— Брось дурить, сынку.

— Перестал бы ты меня сынкой звать. Внук он и есть внук. Батяню моего по-любому не воротишь.

— А ее воротишь?

— Не знаю. Только без нее — меня не жди.

— А заповедник кто поднимать будет? Все разворочено. Звери по степям разбежались. Небо — и то пустое. Ни тебе певчей птицы, ни коршуна. Одни коптеры. Даже воронье с деревьев почти не взлетает. Коптеров боится. Только птицы, они — что? Птицы привыкнут. А человеку наперекор коптерам существовать нужно. Денно и нощно должон человек с колоземицей сотрудничать.

— Ладно тебе, Бухтеря. Давай обнимемся лучше. Автобус на Геническ через полчаса. Оттуда — на Донецк в одиннадцать десять.

Борис Евсеев — прозаик, поэт, лауреат и финалист многих литературных премий. Живет в Москве.

— Ты б хоть штаны справные на себя натянул! — крикнул, поправляя торчащие вразлет усы, уходившему вслед Бухтеря Потапыч. — А то в таких обрезанных в приличные места не допустют!

Внук на прощание лягнул воздух босой ногой. Мелькнуло выколотое на икроножной мышце стрелой пробитое сердце. Сине-зеленая, каплющая из сердца кровь вдруг отблеснула красным...

Госпиталь. Арья-Аскуза

В больницу Донецкую, больницу республиканскую Павлуха попал поздним вечером. Медсестры Светочки, про которую мельком упоминала исчезнувшая зазноба, давно и след простыл. Хотел было психануть, ругнуться, — а повезло. На выкрикнутый вопрос подруга Светочкина отозвалась.

— Про девчонку твою слыхала: правда, краем уха и мало запомнила. Вроде ее в Мариуполе видели. Близ «Азовстали» или в самой «Азовстали».

— Так комбинат же пока до конца не разминирован. Только через полгода закончат.

— И чего? — сморщила подруга кнопочный носик. — Говорят, все одно по ночам там кто-то шлёндает. Может, живые мертвых ищут. А может, наоборот: мертвые живых подстерегают.

Павлуха дернулся уходить. Кнопочная ухватила за рукав:

— Куда, дурень, на ночь глядя? Идем, в приемный покой тебя определю. Там на стульях поспишь. Будут спрашивать — скажешь к родственнице Сидякиной приехал, завершения операции ждешь. А на улице тебя с рукой пораненной загребут. Как пить дать, загребут! У нас же через двадцать минут комендантский час...

Комендантский час еще не истек, когда Павлуха в рассветной полумгле приемный покой покинул. Привозы больных и раненых не давали уснуть. Решил в скверике подождать, пока автобусы начнут ходить. Проходя мимо памятника какому-то доктору, мимовольно оглянулся. В полумгле показалось: бронзовая голова чуть набок склонилась, и очки на кончик носа сбились. Павлуха протер глаза и решил поспать еще. «Как раз и час комендантский кончится».

— Час коменданта! Час коммандос! — смеялась она еще совсем недавно, весной двадцать второго года. Павлуха тогда не смеялся, любовался едва заметными морщинками, отходившими от глаз ее во время смеха. Лицо овальное, в средней части чуть удлиненное, словно подсвеченное изнутри, но и слегка затуманенное, влекло спелыми губами, искорками глаз. А сильней всего — едва заметным углублением на подбородке. Павлуха попытался понять: что в лице ее самое-самое. И не смог. На ум пришло только сравнение со светлоклювой веселой птицей. «А что глаза зеленоватые — так это и у людей, и у птиц случается».

Знакомство свели нечаянно, при последних вздрогах украинской власти. Правда, потом все как-то само собой завертелось, запрыгало. Не до продолжения стало. Но весной все того же двадцать второго года, в двадцатых числах марта, когда над заповедником и прилегающей ковыльной степью установили полный контроль россияне, Павлуха о ней вспомнил и напросился отвезти какие-то ящики в не работавшую пока лабораторию.

«Куда ты раньше, Павлуха, смотрел?» Немой вопрос, заданный самому себе, наверняка застыл в его зрачках, потому что она тряхнула темно-русыми, собранными в хвост волосами, еще раз, уже внимательней, взглянула на Павлухину растерянность и необид-

но рассмеялась. Чтобы разрядить обстановку, махнула рукой в сторону света, четырьмя острыми лучиками бившего сквозь притворенные ставни:

— Ящики, что привез, поставь друг на друга, в два ряда под окнами. Если захочешь попить — налью. Вижу, вижу: упарился ты с этим грузом. У меня в беседке кастрюля с компотом и полбутылки «Пэрлыны стэпу». Иди, а то здесь вирусняк, может, еще шастает, — мелодично рассмеялась она.

Ничего смешного в вирусах не было, Павлуха это хорошо знал, хоть и был простой зоотехник, и до настоящего ученого было ему топать и топать.

— Где беседка? Не видал я что-то.

— Так позади лаборатории. Я сейчас закончу. Ты на улице меня подожди.

— А ваши все где?

— Одна я теперь тут хозяйничаю. Все убежали. Оборудование и бумаги вывезли. Был жених, и тот меня бросил, — теперь не засмеялась, лишь слегка передернула плечами.

— Ч-чего это он тебя бросил?

— Ты гляди какой любопытный. Ладно. Так и быть скажу: не понравилось ему, что не стелилась перед бывшим начальством и улепетывать отсюда не захотела. Только мне ведь все равно: что одна власть, что другая, что третья. Я свое дело при всех властях делать буду. Я упертая. А все потому, что скифянка я! Похожа? — Медленно отвела она голову в сторону.

Профиль и правда походил на золотую головку со скифской бляшки, которую три года назад нашли здесь же, в кургане, но потом сразу отправили в Киев, так что больше никто никогда ее не видел.

— Угу, — сказал Павлуха, — похожа, — а остальные слова проглотил. Она это заметила, снова улыбнулась.

— Только с имечком прокол вышел. Родители мои русскими были и учеными настоящими. Древнеиндийский санскрит знали. Вот Арьей меня и назвали. Погибли они. В четырнадцатом году. Ну, Арьей быть мне еще с юности не больно нравилось. Потому-то еще в университете, когда стала заниматься изучением здешнего заповедника, стала себя Аскузой называть. А тут меня все Асканией Владимировной звали. Мне нравилось. Вроде псевдонима научного.

— П-почему Аскузой?

— Аскуза — по-ассирийски «скифская». От ассирийской Аскузы греческая Аскания произошла. А то долдонят все и долдонят: Фальц-Фейн Асканию выдумал, Фальц-Фейн.

— Т-ты этой лабораторией заведовала? — В последние годы почти не заикавшийся Павлуха вдруг сам на себя рассерчал, даже топнул ногой.

— Заведовали американосы. А я — так... Кой-какие вспомогательные расчеты вела. Для того и держали меня здесь, близ птичьей этой лаборатории: как-никак — кандидат биологии. Только внутрь друг жениха моего, пан Музы́ка, меня не допускал. У него свои верные люди для работы с инфекциями перелетных птиц были... Да ты не робей. Нет уже здесь ничего. Всю птичью заразу пан Музыка с собой увез. И про вирусы я пошутила. Может, птичий грипп где еще и порхает, и то навряд... А я за тобой давно наблюдаю. Видела, как ловко прошлым летом вы с дедом на сенокосе управлялись. Руки у тебя, смотрю, золотые. Сразу и не скажешь, что пальцев не хватает.

Павлуха насупился, Арья снова тихо совсем рассмеялась:

— Да ладно тебе обижаться. У меня просто глаз прицельный. Вот и заметила. Покажи руку: хорошо заштопали?

Павлуха отвел левую руку за спину.

— Ну, как знаешь. Только зря ты горюешь. Отец мой, как и ты, зоотехником начинал. Лишь потом доктором биологии стал. Так он знаешь, что говорил? Штопаная скотинка — долговечней. Да и сильней тоже.

Павлухе это внезапно понравилось. «А ведь точняк, — прикинул он про себя, — подранки или птицы с крылом перебитым, если раны зашьют или сами затянутся, живут крепче, живут дольше...»

— Ладно, иди в беседку. Я — следом...

Синим покрывалом — мягко, плотно — лег на землю вечер. Арья спрятала уже почти пустую бутылку в сумку-холодильник, поднялась. Вскочил и Павлуха:

«Ростом с меня как раз. А у меня ведь — сто восемьдесят. Если на каблуки встанет, пальца на три-четыре выше будет, — огорчился зоотехник. Но тут же подумал про другое: — Ей бы в руки лук, на бедро колчан, на голову — кольчугу мелкоячесистую, на грудь перевязь со скифской золотой бляшкой — прямо царица будет!»

— Завтра в полпятого утра приходи на угол Степной и Соборной, покажу тебе краешек настоящей ковыльной степи.

— А то не видал я.

— Видал, да не всё...

В ковылях у подножия невысокого кургана все и случилось. Солнце не взошло еще. Над степью висела пегая дымка. Никого рядом. Никого в отдалении. Благодать в степи заповедной! Паслись, правда, справа от кургана и небольшого близ него углубления три-четыре антилопы нильгау.

— Хорошо расположились. Плоть и души наши от скверн уберегут... Это ведь только кажется, что между нами и здешними нильгау — межвидовой барьер. Нет этого барьера, нет! Вот мы рядом с ними, в углублении сухом и приляжем, — зашептала она тихонько Павлухе на ухо и почти тут же бережно опрокинула его на спину в рыжую прошлогоднюю траву, а сама уселась сверху, сдирая кофточку, сперва распрямилась, потом клонясь к нему ниже, ниже, дохнула чем-то невыразимо приятным: то ли душицей, то ли беладонной, или как ее здесь испокон веку звали — «бешеной вишней»...

В мартовской, еще не прогретой до донышка, но уже теплой степи летала густая сладость. Правда, и холодок легкий по спинам пробегал. Причем чувствовал Павлуха: бежит холодок сперва по ее голой спине и лишь потом по спине его собственной. От степного этого холодка и вызванного им невыразимого восторга Павлуха лишь покрякивал. Он гладил Арью по спине ладонями, и ему казалось: пальцы левой руки опять на месте. Не обращая внимания на колкую пульсирующую боль, вдруг возникшую в кончиках восстановленных пальцев, страшно этому радовался. Когда она с шумом выдохнула и уткнулась лицом в его ключицу, не утерпел, запинаясь, выговорил:

— Так... никогда... еще... не было!

— И не будет...

Лежа на спине, Павлуха хорошо видел: одна из антилоп нильгау подошла совсем близко и, мотнув рогатой головой, встала рядом. Почувствовав это, Арья перевернулась на спину, прилегла рядом, прямо на траву, зашептала:

— И главное, нильгау здесь... Коровы мои голубые, коровы хорошие! Сочувствуют они, помогают. Стойкости добавляют и ласки. Меж них, священных, лежать — не похоть тешить — в царство неведомое лететь!

Арья вдруг смолкла, а затем в ритм возобновленным движениям тела стала тихо и бережно произносить стихи на таинственном, гортанно-рубленом языке. Ямочка на ее подбородке обозначалась все сильней, становилась глубже, ближе...

В следующие вечера Арья уже приводила Павлуху к себе в небольшую комнатку в одноэтажном, каменном, теперь пустующем доме. Вечерние встречи становились все круче, головокружительней...

Оборвалось неожиданно. Павлуху и двух еще крепких баб срочно послали сгонять тех обитателей заповедника, которым полагалось жить в вольерах, назад за ограды. Три дня он разбежавшихся собирал. А как собрал, срочно отправили за семьдесят километров в Геническ отвезти подписанные от руки договора на корм. Вернулся — и сразу к ней, на угол Степной и Соборной. Дверь была приоткрыта. В комнатке всё вверх дном: вещи раскиданы по полу и зачем-то кефиром залиты. Самой Арьи и след простыл.

Похищение Аскузы

Через месяц с небольшим после прихода российских войск, поздней ночью, вскрыв замок «фомкой», появились в опустевшем доме трое. Один тут же комнату покинул, судя по хрусту акациевых стручков, лег под окнами.

— Скыфянка, кажэшь? — высокий в черной полумаске брезгливо кинул ей халат. — А пан Орэст, нарэченый твий, казав, шо ты лярва москальска. А ну збырайся швыдшэ. С намы пидэш.

Говорил он громко, как глухой или контуженный. Слышал себя плохо. Ее ответы больше по губам угадывал.

— Чего ж вы лярву за собой тащите? Хлопнули б тут, и дело с концом. Или в таз медный побарабанили — я б и пропала с глаз долой.

— Поговори у меня! — еще один, едва доставaвший ей до подбородка, верткий как юла, подскочил, замахнулся, чтобы ударить.

— Не чипай ии, Пэтрусь. Пэрэрый тут усэ, а знайды лабараторни запысы. Вона их робыла, мы знаемо.

— Так я их давно новому начальству сдала.

— Не сдала, не сдала, — аж зашелся в дробном хохоте Петрусь, — у нас тут человек свой! А ну говори, куда спрятала... А! Вижу, нашел. Они, кажется. Глянь, Ктитор.

— Воны, воны, — Ктитор внимательно, лист за листом, дважды пробежался по бумагам, — кончив бы тэбэ тут. Та нэ можно.

— Специалисты занадобились? — ласково подхватила Арья-Аскуза.

— Закрый ротяку. А ну швыдшэ взяла свои манаткы и айда звидсы.

— Сейчас, сейчас. В ванную зайти можно?

— Туда и обратно. И двери не запирай, а то выломаем, — маленький, шустрый Петрусь снова замахнулся, она на шаг отступила, ловко выхватила из-под подушки нож.

— Не дури, стерва! Пристрелю. И не услышит никто, — сзади незаметно подкрался и сунул в ухо пистолет лежавший до этого за окном и наверняка сквозь него же обратно в дом проникший третий лазутчик, — Ктитор и Петрусь тебя проводят. И не дай тебе бог еще раз взбрыкнуть. Без ушей куда надо доставим.

— Им со мной не пройти. Тут патрули кругом.

— А они звериными тропами, — ухмыльнулся третий, — Слышь, Ктитор? И рот ей сразу заклей. Встретимся, где договаривались. И гляди мне, шоб жива была. Пан Орэст добрэ заплатил.

— Так это он вам, дуракам, меня продал? Ну пан Орэст, ну червец желобчатый!

— Не нам, дурэпа, не нам! Ты нам сто лет не нужна. Хорошим людям поиметь с тобой дело присоветовал. Они тебя куда надо пристроят. Опять гнусом летучим займешься.

— Так я им здесь не занималась. Только на подмену пару раз и посылали.

— Хватит брехать. А ну давай сюда руки! Вынимай скотч, Ктитор... Так ей, так. Пускай помолчит.

— М-м-м, — замычала через наклейку Арья, и ее тут же вытолкали на улицу.

Темень висела клочьями. Ночью скупо просеялся дождь, но воздух влагой так и не насытил. Двое, сторожась, по очереди, осмотрелись. Ни фонаря, ни живой души окрест.

Вдруг тихо, но настырно задышал в ухо Петрусь:

— Ты ни меня, ни Ктитора не зли. Шо нам приказ? Шпок — и нету тебя. Скажем, свои ж тебя и угрохали. Усекла?

Взбрыкнула головой. Зверем рыкнула сквозь наклейку. Петрусь отскочил. Зашипел:

— Молись пану Иисусу, шоб Ктитор тебя не услышал.

Почти двухметровый Ктитор видел и слышал отлично. Усвоив жесты и повадку контуженного, быстро выучился работать и под абсолютно глухого: при этом много важного на лицах и в движениях наблюдаемых жертв замечал. Туповатая маска, разработанная специально для него руководителем их ДРГ, действовала на противника безотказно. «Потому и живой до сих пор», — прикинул он про себя по-русски. Но тут же лишние мысли из головы, как лопатой, выгреб. Степь коварствовала. Отдающий вермутом запах прошлогоднего разнотравья казался подозрительным. Выкатилась, как назло, из-за туч луна. Стало не по себе: задание было смертельно опасным. В лабораторию, год назад срочно созданную в Мариуполе, нужен был специалист для подведения итогов уже выполненных работ. Не всякий туда сейчас поехал бы. Тут пан Орэст про лярву и вспомнил. Сначала хотели их вместе с ней в гидрокостюмах запустить по речке Молочной. Там — уже на российской территории — в пещере у Каменной Могилы лярва должна была отрыть и просмотреть какие-то спрятанные записи. Нужные взять с собой. Дальше приказано было добираться в Мариуполь по маршруту, проложенному для другой ДРГ, но пока не использованному. Маршрут Ктитору опять-таки сообщили. Но в последний момент все поменяли. Вместо Каменной Могилы приказали добираться на подставной машине до Хорлов, а там морем, на одном из румынских суденышек до Одессы. И уже оттуда, если не будет новых вводных, до Мариуполя. Маршрут был сложный и трудновыполнимый. К чему такие выкрутасы, Ктитор не понимал и от этого нервничал. С Мариуполем тоже закавыка выходила. Ктитор не сомневался: жить городу под Украиной оставалось всего ничего: неделю-другую, от силы месяц. Но приказа ослушаться не мог: в Белой Церкви, под Киевом, оставалась семья. Ктитор говорил по-украински, думал по-русски. «Может, и успеем в Мариуполе, что надо, собрать, видосы сделать, потом подальше от фронта отвалить», — уговаривал он себя, хоть и понимал: его-то как раз из подвалов «Азовстали», куда на время переместили из-за бомбежек лабораторию, могут и не вывезти. А вот лярву эту, как спеца по зараженным птицам и по высеченным на стенах надписям, сто пудов заберут: спецрейсом или как-то по-другому. И останется он один, вдыхать в подвалах из пробирок и колб летучую заразу...

Вдруг по краю густой поросли что-то шорхнуло. Ктитор упал на землю, подсек и повалил рядом с собой лярву, а напарнику показал рукой: «Проверь».

Но и проверять было нечего. Красавица дрофа на вызолоченных луной крепких ногах пробежала и застыла в кустах, чуть отведя назад серую, тонко выточенную головку. Дрофа была невыразимо прекрасна. «Прекрасна — значит мертва», — вдруг подумалось Арье. Тут же, уподобив себя дрофе, загадала: «Убьют дрофу — убьют и тебя, скифянка!»

От ощущения вплотную подступившей смерти стало трудно дышать. Перевернулась на спину. Рука сама собой потянулась к легкой кофточке. Расстегнулись пуговицы: одна, другая, третья. Дышать стало легче.

— А ну сховай свои сиськи! Вставай быстриш! Кроком руш!

Ктитор поднял пистолет с глушаком, но в дрофу не выстрелил. Она так и осталась стоять в кусте. Через час пути рядом с курганом откопали три комплекта российского камуфляжа. Арью заставили переодеться. Еще через час за каменным с выбитыми дверьми амбаром увидели Тойоту «Короллу».

— Куда? — спросил водитель в форме российского сержанта.

— В Хорлы.

— Так вроде ж до Каменной Могилы приказали.

Арья вздрогнула. Сны про Каменную Могилу, похожую на горбатую спину какого-то упавшего лицом в сухостой человекоподобного существа, долго ее не покидали. Надписями, петроглифами и символами этой таинственной Могилы она после аспирантуры тоже занималась. «Только сейчас ведь — не сон. Можем и впрямь у Каменной Могилы очутиться! Зачем я им там нужна? Неужто снова заставят немецкие надписи, по стенам раскиданные, расшифровывать? Похоже, так. „Аннанербе“ и доктор Вирт не дают им покоя! Летающий факел, на стене высеченный, до экстаза доводит. Думают, огонь Аратты им поможет. Ну гиммлерята, ну поганцы... Только вряд ли они смогут древний всеиспепеляющий факел воссоздать... Аратта-чудесная, мать-Аратта, прости! Забыла тебя, забыла страну предков. Теперь вспоминать придется...»

— ...Давай, чучело, поворачивайся! Сказано тебе — в Хорлы.

— А в Хорлах — там шо? — Сержант почесал затылок.

— Там — море.

— А на море — шо?

— Корабли на море. Заводи, одоробло ходячее!..

Случайная встреча

Павлуха проснулся, как от толчка. Глянул в окна. Автобус к Мариуполю приближался. У блокпоста остановили. Пока проверяли документы, опять позапрошлогоднее прихватило. Отогнав припоминалки, Павлуха стал звонить деду. Тот вне зоны был. И вообще, все летело коту под хвост! Где теперь ее искать? Полтора года назад, когда областной Херсон был еще российским, ездил туда, подал заявление в полицию. Обещали помочь. Теперь в Херсон ходу нет. «А ну, как ее в Харьков отправили? Дед сразу сказал: забрали силой, специалист она классный, значит, пристроят куда-то. А в Харькове как раз все эти заразные лаборатории и угнездились. Или их оттуда уже вывезли? Но сказала же медсестра кнопочная: „Видели твою подругу. В Мариуполе, рядом с «Азовсталью»“. Какого черта ей там делать? Если часть комбината разминировали, может, она там от своих и чужих до сих пор прячется? Говорила ведь тогда, в степи, на голубых коров глядя: „Как надоели все. Славянокос нам устроили! Конечно, конечно, из-за бугра. Чтоб им всем пусто было...“ А может, кто-то из живших близ комбината ее приютил? Только на кой ей там оставаться? Или ее эсбэушники там держали, чтоб потом вертаком, как „азовцев“, для дел своих вывезти?..» Понимая, что про «Азовсталь» скорей всего досужая болтовня, Павлуха неотвратимо — с каждой минутой сильней и сильней — туда устремлялся.

«Чего это я? Давно на минах не подрывался?..»

В Мариуполе, идя к «Азовстали», между улицами Митрополитской и Фонтанной нежданно-негаданно наткнулся на знакомого по асканийскому заповеднику. Тот жил неподалеку, в новом, только что отстроенном доме. Про то, как получил квартиру, загадочно молчал. Хоть было ясно: не просто так получил. Работал ведь простым охранником и не местный. Чудеса!

Вглядываясь в лицо земляка, Павлуха засомневался еще больше. И разговор его показался странным:

— Я тя отведу. Будь спок. И денег не возьму. Ты для меня не экскурсия! Дотошных приезжих — тех водил. Запретные места показывал. И тебя сегодня вечером, перед комендантским часом, отведу. Будь спок! Там в одном из корпусов — верняк — кто-то бывает. Часы есть?

Павлуха выставил кисть руки.

— Как Путин, на правой носишь? — крохотное, не крупней детского, лицо земляка вдруг сморщилось, стало напоминать сухую, кинутую в кипяток, потом оттуда вынутую и уже чуть распаренную грушу. Правый вытекший глаз чернел, как нора тарантула, левый задиристо поблескивал. — Ладно, носи, пока носятся... Охрана — мать их — вокруг комбината, конечно, есть. Но редкая. Только я ходы знаю. А трупы все давно вывезли. Но в самых глухих закутках, говорят, лежат еще. И не только трупы! Тут, понимаешь, бабы наши никак не угомонятся, — земляк еще сильней сморщил крохотную мордочку, — болтают: те, мол, кто не знает, что война в Мариуполе кончилась, так в подземельях и живут. А еще про других болтают, которым кажется: жить под землей лучше, чем на поверхности. Ну, это про тех, у кого всех родных поубивали. А чем не житуха? Склады советские там остались, вода есть.

— Брешут ваши бабы.

— Брехать-то они брешут. А только кто-то в подвалах «Азовстали» и правда бывает. Сам голоса слышал.

— Лады, приду сегодня. Только мне и отблагодарить тебя нечем. Деньжат в обрез.

— Какие счеты, земляк? Два фонаря, веревку, свечу и спички возьми. Утром в семь часов на выходе тебя ждать буду. На всяк про всяк. Пальцы-то где оттяпали? На войне?

— «Лепестки» в заповеднике обезвреживал. Давай, до вечера.

В подвалах «Азовстали». Скальпель и крест

Тьма липучая паутинила мозг. Руки вздрагивали. Долго не получалось включить фонарик. Но и он не помог: пробивал темень не до конца, кроме облезлых стен, ничего не ухватывал, и от этого беспросветность налегала тесней, тягостней.

Вдруг вдалеке — чуть шатаемый свет. Словно невидимый кораблик плыл по невидимым волнам. И над тем корабликом покачивался из стороны в сторону судовой, обхваченный решеткой цилиндрический фонарь. Павлуха свой фонарик выключил, замер. Шаткий свет приближался. Вместе со светом явился и звук. Старческий сыроватый голос напевал:

— Солдатушки, бравы ребятушки,
А где ваша сила?
— Нашу силу смерть не подкосила —
Крест — вот наша сила.

Павлухе внезапно стало легко, а потом смешно. «Старик тихопомешанный тут бродит, а бабы бог знает что выдумали!» Он снова включил фонарик.

— Солдатушки, бравы ребятушки,
А где ваши кости?
— Наши кости на святом погосте —
Вот где наши кости!

Вслед за голосом где-то вдали стали лопаться железные тросы, посыпалась штукатурка и прочая дребедень, потом кто-то со звериной лютью втянул в себя воздух и тут же тремя-четырьмя толчками его выпустил. Песня кончилась, вместо нее тот же сыроватый голос несколько раз пропел: «о-о-о-о», «а-а-а», «у-у». И резко смолк.

«Как в церкви», — подумалось Павлухе.

Через минуту-другую все тот же старческий, но уже прочищенный распевкой голос произнес:

— Знаю, кого ищешь. Да только нет ее здесь.

— Ты... Ты кто такой есть? Покажись видом!

— Я — доктор. Доктор Лука. Или — Лука Крымский. Можно и по-другому ко мне обращаться: Валентин Феликсович. Ты, гость дорогой, глянь от себя влево. Да фонарик свой погаси, ни к чему он теперь.

Слева, почти рядом, сперва обозначился высокий колпак, затем докторский белый, на все пуговицы застегнутый полухалат выставился. Высветил качающийся судовой фонарь и лицо: спокойно-разглаженное, от пигментных старческих пятен полностью освобожденное. На переносице чуть косо — очочки малые, приветливо блеснувшие. За стеклами — глаза немигающие. Бородка неухоженная, на концах веником разметавшаяся. И уголки губ словно бы раз и навсегда книзу опустившиеся.

— Говоришь, доктор? А в другой руке у тебя что? Вижу, вижу, нож! Людей, что ли, с ножом тут подстерегаешь и режешь?

— Меня не бойся, — мягко рассмеялся доктор. — Бойся тех, которые за людей себя выдают, а сами бешеным зверьем, здесь неподалеку рыщут.

— Так тут пока никого. Отсюда вопрос: ты-то здесь зачем, доктор Лука?

— А затем, чтоб место это пусть и малым фонариком, но осветлить. И крестом осенить. А то совсем пропащим оно стало. Людей нестойких к себе огнями бездн, огнями разноцветными и обманчивыми притягивает. Да только назад не отпускает. Идем, выведу тебя отсюда. Потому как — еще раз тебе говорю — нет ее здесь. А была. Силой удерживали. Я ведь и позапрошлым годом сюда наведывался.

— Как же «азовцы» тебя сюда пускали?

— Так ведь я тайные ходы знаю. И никаким «азовцам» о них, ясное дело, не докладывал.

— Про нее скажи. Откуда узнал, кого ищу и как она сюда попала?

— Как попала — не знаю. А только вспоминала тебя в бреду. Нога у нее была поранена и загноилась. Вот я и вылечил. Разрез сделал, гной выкачал. Зашил. Шовчик на голень ее незаметно и лег. Сразу как вылечил, наверх за антисептиком кинулся. Тут ее «азовцы» и сволокли куда-то. А тебя она не раз и не два по имени звала. Говорила, в Новой Аскании любовь ее осталась. О руке твоей беспокойство имела. По руке беспалой тебя и признал.

— А дальше-то, дальше как с ней вышло?

— Дальше — неясно. В каком-то недоступном моему взору пространстве ее держат.

Павлуха помолчал. Потом, впадая в тоскование и безнадегу, спросил уже просто так, для галочки:

— А нож тебе все-таки зачем, если тут нет никого?

— Не нож это. Ланцет хирургический. Чтоб тебе понятней — скальпель обоюдоострый. Я им с костей гной присохший соскребаю. Для дальнейших исследований по гнойной хирургии. Вот мой ланцет ей и помог. Здесь ей опасно было. Да только сердцем чую: там, куда увезли ее, вдвойне страшней и опасней. А! Вот! Только сейчас по запаху распознал: смердючей заразой из мест, где ее содержат, потянуло. Как

из скотомогильника. И название у места какое-то раздражающее! Десятком иглышек мозг укалывает. Занозистое такое название. Только не пойму никак: где это место занозистое? Вроде северней и западней, в десяти днях пешего пути отсюда.

— Кто ж сейчас пешком ходит?

— Сейчас — нет. А еще придется. Автобусы встанут. Самолеты в небе зависнут, поезда на рельсах замрут. Тогда-то пешком ходить и станете... Ну, да Бог ему судья, вашему будущему. Ты мне лучше руку свою покажи. Не гноится ли?

Павлуха руку протянул, но тотчас и отдернул.

— Так я и думал: сверху вроде все в порядке, а если вскрыть, много лишнего обнаружится. А у меня с собой и наркоза нет. Мертвым-то он ни к чему. Если потерпишь без наркоза — вскрою и зашью снова. Все для этого есть: и вода, и спиртовка, и нитки шовные.

— Не сейчас, доктор. Скажи: ты про нее не выдумал? А то ведь за такие выдумки...

— Ты силы побереги для других случаев, внучок. А увезли ее вирусным заражением заниматься. Делом гадким, делом недостойным. Это я сам слышал. Даже два-три места предполагаемых называли. Правда, невнятно. Одно тебе примерно обрисовал. Только ты туда не езжай. Убьют тебя. И ее не спасешь, и себя погубишь. Жди! Чую, жива она. А значит, весть о себе подаст. Думаю, через месяц с небольшим и подаст.

— Не могу я больше без нее жить.

— Знаю. Но ведь раньше мог? Я тоже думал — не переживу, когда супруга моя от туберкулеза легких скончалась. А ей ведь и сорока еще не было. Вот мне и казалось: не переживу. Но пережил, хоть и страдал невыносимо. И ты пережить постарайся, даже если не вернется она.

— Вот слушаю тебя и понимаю: ночной мираж ты, от здешних ядовитых испарений возникший, а никакой не доктор!

— Миражи — это у вас, в Новой Аскании. Да и там не всё миражи: иногда и подлинные очертания будущего над степью проступают, под миражи маскируясь. Только прояснить и ухватить более-менее полно очертания будущего разум человеческий покамест не в силах. Звериный инстинкт — тот ухватывает. И птичья побудка — грядущее на лету ловит. А как иначе птице перелетной жить прикажешь? Ежели не держит она в себе цель и окончание дальнего перелета — беспременно с пути собьется и погибнет.

— Звери и птицы одно. Люди — другое.

— И вы как птицы будете. Только до этого два с половиной века должно схлынуть...

— Ага! Как же, будем, будем! Если и нас, как птиц, не заразят смертельно!

— На каждую инфекцию свое лекарство отыщется. Или скальпель хирурга. Или лазерный луч современный... Ладно, поговорили и квит. Идем, провожу тебя. Не придет твой земляк. Он и спровадил тебя сюда, чтоб ты здесь навеки сгинул. Не верь ему больше, если снова встретишь. Ну? Соберись с силой! Идем!

Перед самым выходом на поверхность Павлуха неожиданно остановился, спросил:

— А как же ты, доктор? Сам-то дальше куда?

— Тут пока останусь. А дальше — видно будет.

— Трупы... ну то есть тела увезли. Все вроде вычистили. Зачем тебе тут оставаться?

— Это верно: тела увезли. Но ведь гнойную хирургию я не только для тел человеческих применяю. Души людские от гноя и гнева я очищаю. Разумеется, и от боли тоже. Знаешь ведь сам: иногда душа болит сильнее тела! Вот такая у меня сейчас задача, такое мое предназначение. Потому как загноились в душах ныне живущих гордыня и спесь и ненависть дикую породили! И от этого слишком много свирепства и лю-

ти близ полей войны скопилось. Здесь, под землей, сонмы душ, уже тела покинувших, но все еще ненавистью отяжеленных, тоже мечутся. Ну а что до большей части людей живущих — неостановимое влечение к войнам у них отмечаю. Влечение это в кровь человеческую путем соитий с недостойными женщинами когда-то самим дьяволом было влито! И теперь сносящим все на своем пути наводнением растеклось по белу свету. На такое войновлечение высокое слово не всегда действует. Даже и слово Божие. Здесь-то скальпель хирурга как раз и потребен.

— Ну, и чему ты улыбаешься, говоря про это? Притворной радостью вранье свое прикрываешь? Разве ж души возможно скальпелем прооперировать?

— А ты как думал? В пространстве околоземном не только обычные души пребывают. Есть уже и душетела. А внутри душетел этих еще и тело духовное имеется. Однако и душетела порой загнивают. Гной маловесный, гной особого рода в них скапливается. Потому и радуюсь, когда случается душетела усопших уврачевать, освободить их от гноя смертоносного.

— Не верю я тебе. Думаю, ты сам как раз усопший и есть.

— Тело мое физическое и впрямь мертво. Но сущность моя, в тонкое тело теперь влитая, — жива. Иногда и вид свой показываю. Не для хвастовства! Для ободрения. Даже в газете «Донецкая республика» про это напечатали: дескать, в местах боев нескольким раненым Лука Крымский явился. Да только мне ваш паблик рилейшнз не нужен, вредит даже. У вас вообще с этим делом одна сквернота выходит. Поиск пиарщины поиск истины вам заменил!.. Ну а про сущность свою нынешнюю постараюсь объяснить проще. Начну издалека. Когда-то давно один ученик виноторговца, германец с голландской кровью, закоренелый и недоверчивый холостяк, спавший, опасаясь грабителей, с обнаженным мечом в руках, придумал теорию. И назвал ее — палингенезия. Ну, чтоб ясней — второрождение. Придумать-то он придумал, да только вывод неверный сделал. Он как говорил? Воля человека никогда не умирает. И это правда. Но потом этот философ, не захотевший стать виноторговцем, добавил: воля усопших проявляет себя в живых, но совершенно посторонних людях. Вот тут он ошибся. Воля, или правильней, духоволие, которое присутствовало в опочившем человеке, и впрямь никуда не девается. Но проявляет себя не в других людях! А в тех же самых, чье тело умерло, но сущность человеческая живет в виде душ или душетел, как раз и руководимых свободной волей! Вот только такая передача сгустка воли обычной душе отлетевшей сплошь да рядом не происходит. А происходит по особому счету и выбору. Если не испугаешься, могу и еще кое-что тебе сказать...

— Говори, я воробей стреляный.

Тут снова раздался мощный звериный всос. Как будто гигантское реактивное сопло втянуло в себя всплески воли и мыслей. Павлуха от неожиданности даже присел.

— А говорил — стреляный, — снова улыбнулся Лука, — звуки эти издают уставшие механизмы, а иногда и духи низшие, в механизмах таких квартирующие. Правда, сил у низших духов для уничтожения людских сущностей нет. Повздыхают и сгинут.

— Не про них! Про себя скажи.

— Я-то как раз прозрачное душетело с плотным сгустком воли теперь и есть. Такой, знаешь ли, объемный контур когда-то шагавшего по земле доктора и архипастыря, на продолговатый мыльный пузырь похожий, — в который раз уже улыбнулся Лука, — но можно сказать и по-другому: свой собственный двойник я. Правда, покамест без крови и без костей. Но и они в размягченном виде иногда чудом во мне овеществляются. Еще скажу тебе, Павел Петрович, по секрету: новое воздухоплавательное тело мое куда лучше старого, земного! Причем заметь: ничего дурного — подобно на-

стропаляемым Бельзебубом зловредным привидениям и низшим духам — я не творю: от ран спасаю, оперирую, бинтую. Сейчас война. Все кругом острым и нервным стало. Так мог ли я свою волю в здешние места, в Новороссию, на Донбасс и в Крым для врачевания не направить?..

— Постой, постой, доктор! А как же со Светлым Воскресением быть? Тут неувязочка и у тебя, и у философа, с мечом в руках спавшего, получается. Как же это ты, не дождавшись Воскресения, новое душетело себе вместе с волей-волюшкой замастырил? Выходит — своевольничаешь? Выходит — высшую волю нарушаешь? Мне, ясен пень, образования не хватает, а только чую нутром: точняк — нарушаешь!

— Что чуешь — хорошо. А только нет здесь нарушения. В час Светлого Воскресения двойники воздушные с телами, в земле истлевающими, и впрямь сольются. Но уже навечно! Чуешь разницу? И только тогда для них полнота жизни неуничтожимой настанет! А мне по соизволению свыше лишь временно — понимаешь ты? — временно дано волю и силу проявить, чтобы помочь тем, кому душетело или обычную душу поранили... Вот и лестница. Пришли мы. Много тебе сказал. И сам ты навряд во всем разберешься. Ей расскажешь, если встретишь. Она, умница, поймет, растолкует... Ну прощай, Павел Петрович! Как выберешься наверх — посиди немного прямо на выходе, у дверей расколотых, что на земле валяются. Теплом земли напитайся. В себя приди. Потом в Новую Асканию возвращайся.

Погасив судовой фонарь, доктор Лука стал постепенно исчезать. Сперва пропал колпак докторский. Потом истаяла рука со скальпелем. А там и полухалат скрылся из глаз. Павлуха у дверей лежащих присел на корточки, и сознание из него, от слов ошеломляющих, как из бутылочки нашатыря с отколупнутой пробкой, стало медленно улетучиваться. Странное, занозистое, не дающееся уму имечко неизвестного места терзало его в полузабытьи! Смеющаяся Арья указывала пальчиком на голубую корову, слишком близко подступившую к их сдвоенному нагому телу. Дед Бухтеря сквозь слуховую пелену перед кем-то неизвестным за него, за Павлуху, заступался. Потом вдруг детские голоса зазвенели...

— Дядь, а дядь? У тебя слезы по щекам текут. Ты плачешь, что ли?

От неожиданности Павлуха сел на пятую точку. Рядом в легко шевелимом платьице и безобразно рваной серой кофте стояла девочка, едва ли даже шестилетняя. Сбоку от нее свисали с проломленной крыши искореженные железные балки, взблескивала ночной росой ржавая трава. Всю эту несуразицу голопузая луна подсвечивала.

— Ты... Тебе чего здесь? Тебя кто сюда привел?

— Никто не привел. Я тут живу. Уже два дня! — девочка, хвалясь, тихонько засмеялась. — Я из детдома убегла. Детдомовские сказали: «Твои мамка и папка в порту утопли». А я им язык показала и от них убегла. Не верю я детдомовским. Может, мои мамка и папка тут где-то. Мы тут прятались, когда война была. Ты не знаешь, где они?

— Не знаю. А кушаешь ты что?

— Я с собой взяла. Хочешь, и тебе хлебушка дам? У тебя тоже родители потерялись?

— Невеста у меня потерялась.

— А...

— Ну а воду? Воду где берешь?

— Тут из трубы каплет. Ты не думай. Я знаю. Плохую воду пить нельзя. А тут вода хорошая.

— Пропадешь ты здесь. Идем, выведу тебя отсэда.

— А куда мы пойдем?

— Не пойдем, а на автобусе поедем. В заповедник. Знаешь, что это такое?

— Это навроде зверинца? Я в зверинце не была. Только в цирк с папкой ходили.

— Ну пускай зверинец. Только заповедник больше зверинца. И звери не в клетках живут, а на воле.

— А они не кусаются?

— Не. Смирные они. Тебя как зовут?

— Мишка.

— А меня — Павлуха...

Девочка Мишка. Заповедник

В заповеднике душ и тел человеческих, душ зверьих и душ птичьих, весна бушевала вовсю. Буйволы, верблюды, серые гуси, степные журавли, тонконогие кулики и другие никому не подвластные птицы существовали здесь приветливо, спокойно. Цветы и листья, гибкие лозы, подрост и могучие ветки радовались редким тучам, по временам укрывавшим солнце. Скифская, нераспаханная, пешая, конная, с узкоколчанными реками и ширью небесной, степь жила своей особой жизнью, непохожей на лесную, приречную, плоскогорную. Причем души человечьи радовались еще и веской своей ощутимости, неотступно возникавшей лишь в степном, напитанном травами воздухе. Радовались души, несмотря даже на то, что тела их от трудов праведных клонились к земле ниже, ниже...

Девочка Мишка с раскрытым ртом, забыв про все на свете, носилась от пруда к вольерным сеткам, подпрыгивала рядом с зебрами и крутолобыми степными жеребчиками. Раскрыв рот, смотрела на пьющих воду и скрипящих голосами, как старые стулья, зобастых пеликанов.

— ...А как спросят у тебя: откуда девчушка? Ты б хоть узнал, из какого детдома она сбежала!

— Да она, дед, названия не помнит. Надо будет — найдем.

— Ну-ну. А я думал, ты на украинскую сторону за кралей своей подался. А ты вон кого привез.

— Дедушка, дай щё хлебушка, я лебедя покормлю.

Подбежав вприпрыжку, Мишка вдруг увидала у дедовой ноги смешно извивающуюся длинным телом собачку.

— Ой, а это кто?

— Та собака ж, рази нэ бачиш?

— А зовут ее как?

— Тыксой кличем.

— Тыкса, Тыксочка, я тебя поглажу! Можно? А зачем ее Тыксой зовут?

— Тыкается она во все. Куда надо и куда не надо нос сует. От и стала — Тыкса. Ты погуляй здесь, Михайлинка, а мы с сходим ненадолго куда надо. Потом обедать будем. Ты сырники любишь?

— Люблю. Только не ела давно. Забыла, какие они.

— Круглые они, сладкие...

К вечеру, управившись с работой, вышли в степь. Девочка Мишка валялась в ковылях.

— Спасибо, что внучку привез. Никому отдавать ее не будем. Гляди, как она за день ожила.

— Дедушка, а трава эта как называется?

— Кувырк-трава.

— Смешно как. Кувырк! Кувырк! А правда она так называется?

— Ну вообще-то, ковыль-трава она зовется...

— Она что, ковыляет? Мой папка так маме про нашу бабушку говорил: «Гляди, уже с утра старушенция твоя приковыляла!»

— Ты вот что, Павлуха, — дед понизил голос, — запрос все равно новым властям сделай. Вдруг живы родители ейные?

— Сделал уже с утра, успел, пока не завис компец.

— Дедушка, а идем опять к воде!

У сонно вечереющей воды, попрыгав и погоняв ленивых уток, девочка Мишка вдруг пригорюнилась. На глазах выступили слезы.

— Ты чего, Михайлинка?

— А я слышала, как сегодня днем тетя рассказывала. Другим дядям и тетям. Про Серафиму. Которая из камня. Которая из кувшина воду льет. А ее правда прилет разорвал?

— Не прилет, а фугас. А подложил тот фугас в опочивальню Серафиме и мужу ее, Фридриху Эдуардовичу, бывшему хозяину этого заповедника, один ублюдок. Давно это было. Сто и еще пятьдесят лет с тех пор прошло. А только, говорили, спаслась Серафима. И Фридрих Эдуардович спасся. Видела памятник? Ну, где он сидит, а к нему птица-дрохва подходит.

— Такой старый муж?

— Тогда он молодой был. Пойдем перинку тебе постелим, как та королева спать будешь. От только молочка тебе верблюжьего нацежу. Будешь пить?

— Будешь. А разве верблюд корова, чтобы молоко давать?

— Не корова, а дает-таки верблюдица. Да еще какое молоко! Густое, сладкое.

— Верблюд — это животное или зверь?

— Животное. Ласковое такое. Завтра тебя подведу к нему поближе. Идем, Михайлинка, идем...

Ящер УКРНИОЗа

Три месяца назад Зверь Ящер был вполне себе человеком. Нос, щеки, живот и сейчас как у обычного мужика выглядели. Только вот от частых вживлений под кожу посторонних предметов, болезненных впрыскиваний и многочасовых капельниц меж пальцами, на руках и ногах, натянулись упругие лягушачьи перепонки, уши выострились, как у летучей мыши, с болью и кровью стали пробиваться выше и ниже локтей, кожистые, не слишком схожие с птичьими перья. А совсем недавно — прорвал шкуру и выставился чуть вбок короткий, толстый в основании, а на конце острящийся хвост...

Птерозавр, пернастый змей, ящер УКРНИОЗа — так сообразно настроению звал человека, низводимого до уровня ящера, докмед с прибабахом Гоша Смыров. Здесь, на Украине, Гоше разрешили делать то, что строго-настрого запрещали в Питере: выводить летающих мужеящеров. Сперва хитрые укры ему не верили, думали, компешной разработкой новой игры все и закончится, Гоша загребет деньгу и свалит в Америку или на худой конец в Польшу. Но когда у мужеящера выострился на спине зеленоватый гребень, необычное кожистое перо стало расти стремительней, гуще, новые Гошины хозяева призадумались: всколыхнулось в них что-то родное, далекое... Решили подождать до конца воздушных испытаний и других опытов. Огневолосый Гоша, просивший звать его докмед и бывший доктором медицинских наук на самом деле, от удовольствия издавал урчание и плеск. Благодушно урчало нутро. Широко плескались

слова и мысли. Отплескавшись и поурчав, Гоша, обращаясь к молчанию стен, нередко завершал рабочий день выкриком: «Ай да УКРНИОЗ, ай да рев. архаика!»

При этом УКРНИОЗ — Украинский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия — ни малейшего отношения ни к Ящеру, ни к вирусам, которыми в основном занимались Арья и лаборанты рангом пониже, не имел. Просто располагался вблизи от переведенной сюда в двадцать третьем году из-под Харькова лаборатории. Только вот не хотел никто земледелию, пусть даже и орошаемому, денежкой помочь.

Совсем другое дело — Ящер и вирусы. Тут денежки находились. Наслаждаясь притоком средств и пенкой вскипавших фантазий, докмед Смыров сразу же превратил орошаемую аббревиатуру в имя существительное.

— Ящер по фамилии Укрниоз, девочка моя! Полетус! Фактус! Обратная эволюция! — пыхтел он, бегая полукругом вокруг застывшей у компа Арьи. — Ты понимаешь, что это значит? Это решит все траблы и праблы, вставшие сейчас перед миром. Все существа, и человек в первую очередь, забудут свои языки и уйдут — виток за витком — по спирали! Но только не вверх по спирали уйдут, а взад и вниз, вниз и взад! Так-то, девочка моя, скифонистая!

— Я не твоя девочка.

— Ладно, проехали, — в голосе Гоши вдруг послышался испуг, даже слеза зазвенела.

Арья, вздохнув, повернулась к нему:

— Ну? Что примолк? Заигрался со своей обраткой?

— Ладно, ладно, — Гоша снова повеселел, — давай теперь имечко для нашего персонажа придумаем. А имечко... — он схватил себя за нос, — имечко самое простое возьмем: Яшка. Теперь — отчество. Пускай отчество для научного паспорта будет... А, вот! Слыхала, как он рычит? Прямо-таки сверлом нас с тобой от темечка до пят высверливает. Ну и пусть будет Свердлович. Сейчас ему объявлю! — круглый Гоша покатился в соседнюю комнату...

На Свердловича Ящер обиделся вусмерть. Вообще-то, Смыров был ему по барабасу. Он и подопытным стал только потому, что Гоша ему объяснил: выводить станут только ящеров-мужчин. А женщин — для продления рода летающих мужеящеров — из местного населения подбирать будут. Баба из лаборатории приглянулась Ящеру сразу. По имени ее здесь никто не звал. И сама она откликалась только на позывной «Скифянка».

— Она... Ее... Ишь! Р-ряху наела! И эту... эту... жп-жп... — никак не мог выговорить нужное слово начавший забывать человеческий язык мужеящер. Но тут же тяга к совокуплению сменялась желанием разодрать Скифянку в куски.

Заметив это, докмед Гоша ласково Яшку успокаивал:

— Станешь пернастым змеем, станешь летающим Ящером — бабу эту на целых три года в загсе зверо-человеческом тебе торжественно в эксплуатацию сдадим! Хорошо я про загс зверо-человеческий придумал? Ась? Не слышу? Ты, Яшка, думаешь, я и жинку твою перьями оснащать буду? Ни-ни-ни, — хохотал Гоша, — зачем тело портить? Нам нужно потомство от Ящера и красивой женщины. И оно будет, будет! Ты, Свердлович, можешь спросить: какая у всего этого цель? И хотя понять ответ у тебя ума не хватит — скажу. Цель, цель, — начинал заводиться и орать во всю глотку Смыров, — цель: обратная эволюция! Если б у тебя еще оставались мозги, ты б, наверно, спросил: а зачем она, обратная эволюция? А я б тебе ответил: а затем, тупая ты рептилия, что нужно всему роду человеческому в доисторический период впасть! Понимаешь? Начать жить как бы до истории и вне истории. Потому как никакой истории нам не надо. Это многим, особенно тем, у которых никакой истории не было и нет, понравится!

И одно из средств запустить обратную эволюцию и попасть в «доисторию» — восстановление популяции птерозавров, через бабье нутро полученных. Ты не думай, что я шизо. Ни-ни-ни. Просто хочу доказать: ни Бога, ни истории мира, им созданного, нет! А спиральку эволюции мы теперь сами куда захотим, туда и закрутим! Вот тогда тебе, олуху царя небесного, памятник и поставим. В виде когтей птерозавра, из бетона торчащих!

Яшка-ящер загромыхал цепью, встопорщил перья. Смыров отскочил, споткнулся, упал, завопил еще сильней:

— Ну, sordus pilosus! Ну, нечисть волосатая! Пикнофибры не топырь — залетит нетопырь! — враз перескочил от ярости к сарказму огневолосый Гоша. — Вижу, вижу, дубина ты стоеросовая! Не понимаешь, что такое пикнофибры. Так это просто-напросто протоперья, ну такие чешуевые перья стародревние. Вот и сотворил я из тебя чудо в перьях! Скажи спасибо, что дегтем не облил и в пуху петушином — как раньше водилось — не вывалял!

Ящер зарычал сильней. Смыров громыхнул железной дверью. Легла и вытянулась во всю длину каменного подвала, прихлопнутого сверху одноэтажным приземистым домом, могильная тишь. Арья облегченно перевела дух...

В лабораторию к дурноголовому Гоше ее определили сразу после похищения. Отменив заплыв по реке Молочной в район Каменной Могилы, хотели перекинуть в Харьков. Но раздумали: переправили в Мариуполь. Только успели развернуть там лаборатории — раскиданные по городу секретные объекты один за другим стали накрывать КАБы: кто-то навел. Достался осколок и ей. Тогда их лабораторию загнали в подвал «Азовстали»: думали там отсидеться до обещанного прорыва в Мариуполь укровойск. А когда стало ясно: все, конец, ее и еще трех ученых, в том числе сбежавшего из Питера Гошу Смырова, переправили в Киев. Ну, а в начале года двадцать третьего, через два месяца после сдачи Херсона, лабораторию разместили в районе УКРНИОЗа, в нескольких километрах от города. Правда, ящером она тут не занималась, а так, мелочухой: летучими кожанами, комарами и прочей гнусью.

Знала и видела: Гоша Смыров вместо того, зачем его сюда привезли, колдует над одним только Яшкой. Дела ей до этого не было никакого: обдумывала, как из-под Херсона вырваться, потихоньку травила подопытных жаб и летучих мышей. Правда, иногда Гоша взвинчивал себя до крайности, и тогда волей-неволей приходилось прислушиваться к тому, что происходит за стенкой:

— ...они там, в Америке, гендером круглые сутки перед экраном машут! Бабам причиндалы привешивают. А нам нельзя? И нам можно! Мы... мы человека в ящера летающего, в птерозавра превратим, а после мало-помалу, путем нескольких скрещиваний, крылышек ему поубавим, потом и совсем пообрежем, гада ползучего из него сделаем. Все это и на других людей перенесем. Потому как такова угаданная нами оборотная тенденция: звереть и уменьшаться, уменьшаться и еще сильнее звереть! Понимаешь ты меня, чепушило? Но при этом облик получеловеческий мы птерику оставим. Голова — человечья, ножки тоненькие — чертячьи, рукокрылость — в триста раз мощней, чем у нетопыря-pipistrellus'а. А? Каково? Испугался pipistrellus'ом стать? Не догоняешь? А ведь еще не все человечьи понятия из мозга твоего выветрились... Поговори со мной, птерушка, — вдруг взмолился плакса Смыров, — ну поговори!

Даже через стенку стали слышны всхлипы. Так и виделось: толстый Смыров сгибами больших пальцев трет, по обыкновению своему, глаза. Наверное, уже и к Яшкиному плечу припал, а может, и встал перед ним на колени.

— Не хочешь говорить? — вдруг взъярился Смыров. — Так получай, паскуда! — Послышался деревянный треск. Скорее всего, сломалась палка, которую иногда таскал

с собой Гоша. Зазвенели цепи, Арья заткнула уши пальчиками и прильнула к отчету по летучим мышам, присланному местными лаборантами.

Ящер дико оскалился, уронил слюну, напряг свой каждодневно уменьшаемый мозг. Ему хотелось послать Смырова к такой-то матери, а потом сказать что-то страшно въедливое, оскорбительное. А в завершение всего дать ученому дурню под зад коленкой так, чтоб стенку головой проломил. Но ничего этого Яшка сделать не мог: ноги скованы цепью, рукокрылья перебинтованы. Из горла вырвалось нечто невразумительное:

— Р-р-р... с-с-с... х-х-хэ...

Тут Смыров взъерошенного Ящера покинул, вернулся в кабинетик к Арье.

— Все свою Асканию Нову вспоминаешь, р-рюха ты моя др-рагоценная? — рявкнул он над ухом у сотрудницы, сомкнувшей от усталости веки. И отскочил от нее сразу на всякий случай подальше.

— Чего мне вспоминать? Я сама Аскания и есть.

— Распашем. Разборонуем твою Асканию! Весь ковыль на сено птерикам скосим. И тебя уработаем. Как степь пропашем!

— Гляди не уработайся.

— Так я ж привык. Я за компом не сплю. А ты... ты... — снова ухватил себя за кончик носа Смыров, — нет, лучше я тебя таки Свердловичу подарю. Он почтительному обращению с мужеящерами тебя научит!

Арья запустила в Смырова латунной пепельницей. Промахнулась. Гоша, пыхтя сильней обычного, на полусогнутых убежал и больше не приставал: затаился, смолк...

Новая Аскания

Девочке Мишке верблюд вблизи не понравился.

— Сильно горбатый. И слюна с бороды каплет.

Отвернувшись от верблюда и тут же о нем забыв, погналась вприпрыжку за петляющей бабочкой. Взявший отгул Павлуха и отработавший в ночную дед по очереди удивлялись: откуда такая веселость берется?

— Даже про отца-мать теперь вспоминает весело, — разводил руками дед.

— А ты как думал?

— Да никак я не думал. Ты вон свою Аську два года без стона вспомнить не можешь. А она... То ли забыла, то ли...

— Не забыла она. Просто степь ее в другое состояние перевела.

— Вижу, ты у Аськи своей умным словам научился. А как навоз вилами кидать — забыл!

— Не забыл. Сегодня покидаю и вывезу.

Мишка тем временем тихо выкрикивала песенку. Слова были ясные, простые:

Мамка, папка — я тут.
Здесь кульбабы цветут...

Кончив петь, опять подбежала к взрослым. Встала рядом, прислушалась к разговору.

— А она когда, твоя Аська, приедет?

— Не знаю. Ее тут все Асканией звали.

— Пусть приезжает скорей. Я с ней подружусь.

— Может, она никогда и не приедет. Тогда ты новой маленькой Асканией станешь.
— Не станешь. Я — Мишка. Пусть лучше тетя Ася скорей приезжает!

Святитель Лука

Тень была ощутимей тела. Так Арье, во всяком случае, показалось, когда снова, как и в подвалах «Азовстали», мелькнул рядом старый доктор, похожий на Святителя Луку. Причем мелькнул не тяжкой плотью — именно тенью. Выглядела тень прозрачно-объемной, бегущей не по земле — по воздуху. После еще одного промелька стало ясно: тень светлая, тень прозрачно-выпуклая важней и надежней обычного тела. Похожий на Святителя мелькнул над двором, усыпанным горелыми досками, потом быстрым воздушным шагом — не летя, а именно шагая! — направился прямо к ним: к тайной лаборатории близ УКРНИОЗа, замаскированной под почтовое отделение...

Скорошествовать в тонком теле над Крымом, Донбассом и Новороссией было легко, сладостно. И хотя скорость была огромной — все нужное замечалось, как при скупо отмеренных шагах. Только вот внутренняя боль не покидала. Столько смертей непредусмотренных, непредопределенных, а значит, своевольных, напрасных! Еще больше душ, разорванных в клочья.

Как слабый утренний ветерок, проносилось в предшествующие дни и ночи духовное тело Святителя над руинами, над громадными воронками от ФАБов, над еще не погребенными мертвыми телами. Задержавшись в одном из левобережных госпиталей, нашепнул он на ухо военному хирургу о гнойном, лишь только зреющем абсцессе у оперируемого больного. Но внезапно шепот прервал. И не потому, что хирург военный, повидавший всякого, ошарашен был едва слышной речью, впрочем, тут же принятой за собственный внутренний голос. Нет! Где-то значительно северней, за рекой, раздался стон: не вполне ясный, но от этого еще сильнее встревоживший.

Доктор Лука покидал военный госпиталь с немалым сожалением. Работы здесь было много. Раненых следовало ободрять. Врачей — наставлять. Среднему медперсоналу указывать на проблемные точки в телах искалеченных воинов. Лука, однако, чувствовал: нужно спешить на север! Быстрее мысли очутился Святитель над широкой рекой, а несколько мгновений спустя и у здания почты с глубоким подвалом, где содержались — иногда вперемежку с гадами, земноводными, летучими мышами — подопытные люди. У входа в почтовое отделение Святитель на миг приостановился. Замерла и вся жизнь вокруг. Слышался лишь рык разъяренного Ящера, пытавшегося стронуть с места остановленное для врачебного осмотра болезнетворное время.

Лука Крымский призадумался. Следовало понять: как поступать дальше, чтобы не навредить находящимся в этом месте живым людям. Некоторые из них казались ему мертвее мертвого...

Лиса, кулан, дрофа

Крохотным осколком поврежденное крыло потихоньку-помалу заживало. Трехпалая, оседлая дрофа готовилась к полету, хоть и чувствовала: рано, рано еще! Одно крыло и еще половина крыла спину, грудку и хвост поднять не смогут. А надо! Вокруг — урон и опасность. Щелкают невдалеке чьи-то зубы. Правда, волки ушли глубже в степь, где прятались от пожаров и грохота пугливые олени и беззащитные лани. Но оставались хорьки и лисы.

Дрофа опять расправила крылья. Полет ей был нужен, чтобы не почувствовать себя птичьей падалью. Она боялась сгнить, или окостенеть, или превратиться в один

долгий изогнутый клюв на несгибающихся ногах. Правда, и чуяла птица: плотный ком воздуха, который словно бы сам собой заглотнулся этой ночью, стать иссохшей падалью ей не даст. Рядом, недалеко, паслись куланы. Нежно-горбоносые, с темной стоячей гривой — были они нестрашными и даже приятными соседями. В самое опасное время — ночью, до восхода солнца и перед заходом его — дрофа старалась держаться рядом с ними. Особенно после того, как один из куланов — самый крупный, самый горбоносый, покрытый шрамами — отогнал от нее увертливую лису. Лиса тогда подкралась незаметно. Спохватись дрофа раньше, от лисы, конечно, улетела бы. Но теперь, с пораненным крылом...

Лиса уже изготовилась к прыжку, когда кулан хрипло заржал, мигом оказался рядом, встал на дыбы, нацелил на лису узкие, острые, вытянутые в длину копыта. Лиса увернулась и убежала. Дрофа издала приятно булькнувший звук. Но все равно что-то птицу тревожило. И это что-то находилось не рядом — внутри нее...

По ночам, во снах, Арья-Аскания с наслаждением путешествовала. Она покидала почту-лабораторию и почти сразу оказывалась в асканийской, по-весеннему голубоватой, но по краям уже и зарыжевшей степи. Ей даже казалось: тот сгусток трепетного воздуха, в который она во время сна превращалась, могут случайно заглотнуть зебра, верблюд, бык — и радовалась этому, как дитя. Во время одного из таких усладительных снов прямо перед ней, выступив из кустов, встала красавица дрофа. Птица отвела серую внимательную головку чуть назад и слегка клюв раскрыла. Арья всем своим телом воздушным в раскрытый клюв и втянулась. Степь на минуту стала как вогнутое блюдо, потом над собою самой приподнялась и задрожала, словно внезапно возникший мираж. Целую ночь глядела Арья на степь глазами дрофы, и такая степь — различимая до мельчайшего зернышка, до самой мелкой мошки — нравилась ей все больше и больше. Вдруг резкий, проволочный страх пронзил сонное тело. Страшась остаться в утробе дрофы навсегда, Арья-Аскания резко в комок свое сонное тело сжала, с силой рванулась вверх и очнулась. Прерывисто дыша, обшлепала себя по щекам. Пора было по узкой железной лестнице выбираться из подвала на рабочее место, откуда уже доносились покрикиванья полудурка Смырова.

Приготовления к полету. Взлетные стратегии

А самолет летит
колеса стерлися!
А вы не ждали нас,
а мы приперлися! —

вваливаясь в крохотный ее кабинетик, пропел Гоша Смыров. И тут же стал тупо-серьезным, как пистолет без рукояти, созданный специально для убоя скота, пистолет, выдернутый из кармана брюк при первой встрече, чтоб до смерти ее напугать.

— Эксперимент сегодня наиважнейший! Подготовь пациента. Медсестру звать не будем. Уколы делать не разучилась?

— Как-нибудь справлюсь.

— Ну и лады. «галочку» с «фенечкой» ему засандалишь — и вперед! Не понимаешь? Галоперидол с феназепамом, говорю тебе, засандалишь Яшке! Он сразу и утихо-

мирится. Тут, правда, еще одна загвоздка. Крылышки у него пока слабенькие, так что придется пернатого с обрыва столкнуть.

— В воду?

— В нее, родимую. Но это если не взлетит. А если взлетит... Но я не про это хотел, — Гоша придвинул стул, сел рядом.

Арья резко отодвинулась. Сорокалетний Гоша казался ей не просто старым, умершим часто казался.

— Да ты не боись. Я не лапать тебя пришел. Мне посоветоваться не с кем. Здесь одни тупари, ни хрена в нашем деле не понимают. Ты тоже не понимаешь. Но... — Гоша вдруг всхлипнул. — Один я теперь как перст! Как пальцекрыл удручённый!

— Ну, началось! На, утрись.

Арья протянула Смырову пачку салфеток.

— Да это я притворно, чтоб тебя разжалобить. Слушай Аська, ну может, ты сообразишь, мозг у тебя вроде еще работает.

— Ну, говори, не канючь.

— Понимаешь... Тут один япошка, если я не запамятовал, Кацуми Сато, с птичками современными поработал, а потом переложил современные полетные характеристики на древность. И доказал, косоглазый, что птерозавры не могли долго оставаться в воздухе. Правда, пользовался он устаревшими данными и ничего не знал о тапехаридах из семейства птерозавров, обитавших вдали от воды.

— Да пошел ты со своими тапехаридами и аскаридами! Давай ближе к делу. Слышишь? Яшка цепью гремит, просыпается. Или отложим эксперимент?

— Какое там — отложим! Дудки. Никаких задержек с обратной эволюцией! Я же революционер в науке. А настоящая революция — это контрэволюция! Контрэволюция, понимаешь, дура?

— Ты можешь короче, контрэволюционер недоделанный?

— Ладно, не серчай. В общем, проблемка такая. Трудно понять — как эти самые птерозавры взлетали. Когда-то давно предполагалось: птерозавры были особями холоднокровными с планирующим полетом. Они, как и наземные ящерицы, вместо того, чтобы сжигать свои калории, получали тепло извне. Однако тут неясно: как огромным птерозаврам с жалким своим холоднокровием и едва поддерживающим жизнь обменом веществ удавалось управляться со взлетной стратегией? У них же для создания тяги, необходимой чтобы подняться в воздух, были только задние конечности! Но тут — йод-водород — счастье привалило. Ближе к дням сегодняшним ученые доказали: птерозавры-то были те-пло-кров-ны-ми! И при этом обладали сильными мышцами крыльев, причем использовали эти мышцы даже во время передвижения на четырех конечностях! Огромная сила нижних — а правильней, задних — конечностей и позволяла им взлетать на раз, два, три. Поднявшись в воздух, птерики могли развивать скорость чуть не до ста пятидесяти кэмэ в час! И пролетали, когда надо, тысячи километров. А мой птерик с остатками человеческого разума, когда крылышки как следует укрепятся, даже вокруг всего шарика облететь сможет. Но это только чтобы с шариком попрощаться. Потому как все вокруг будет постепенно в первобытное состояние возвращено. Сперва птерозвар, потом полуптичка, потом какой-нибудь стрекозел, потом летающая букашка, а потом — вообще никто: бурая водоросль или евглена зеленая. И никакого тебе ума! Никаких паскалевидных и достоевско-модных идеек! Никакой поддельной истории человеческой! И главное, никакого языка: жест и мычание, мычание и жест!

— Ого! Ты, Гоша, поберегись. Если ты такое про исчезновение здешнего языка заявишь — не сносить тебе головы.

— А мы не будем заявлять. И для здешнего языка какую-нибудь особенную теорийку научную выдумаем. Мол, есть один-единственный годный для употребления язык. И этот язык — ваш, панове!.. Но ты меня, дура, не дослушала, а перебиваешь! Ты знаешь, кто такой Стёртевант? Эдвард Говард? 1875 года рождения? Вот и видно: ничему тебя не учили как следует. А это ученый американский. Величайший, я тебе скажу, ученый. Так вот: этот жутко продвинутый американец научно доказал — язык людей возник из желания подличать, врать и мошенничать. По Стертеванту — для выражения всех разнокалиберных мыслей и чувств людям достаточно междометий, жестов и мимики. Ну а язык был выдуман людьми, чтобы постоянно водить друг друга за нос и «обувать» на обе ноги сразу. Вот мы и лишим наших прошлых, нынешних и будущих людей-мошенников их лживого языка. А дальше — хрясь-хнысь, хрясь-хнысь! И вся планета наша молчаливо-зеленой, в цвет летающего ящера станет. И мы с тобой станем новые зеленые, а не какой-то тухлый Гринпис. И продолжим воевать с человеком за дикую природу. Чтоб ему неподвластно было с ней шутки шутить!

— Так нас, человечков зеленых, тогда ведь тоже не останется.

— Да, не останется, верно! Станем листьями, лианами. Обовьюсь вокруг тебя крепко и, как гугленыш, навек зависну! А там и вся органическая жизнь на планете кончится. Одни суровые скалы останутся!

— И каменные могилы? — встрепенулась Арья.

— Да, да! Именно каменные! Именно — могилы! А то придумали: Эрмитаж, цивилизация, музыкальные шкатулки!

— Ты у психиатра давно был?

— Только вчера от него. Он все мои планы одобрил. Я ему четыреста долларов сунул, он и написал: здоров, ясный ум, хорошие идеи.

— Ну все, хватит. Помогу тебе с ящером, так и быть. Чем гиль твою слушать, может, искупаюсь.

— Купальничек для приманки не забудь.

— Так нету с собой...

— Ну тогда, йод-водород, давай безо всего.

— Ага, держи карман шире. В платье длинном поеду.

— Ладно, черт с тобой! Только два слова еще, — Гоша никак не мог свернуть с наезженной колеи, — ты думаешь, у меня научное обоснование полетных стратегий слабое? Дудки! Марик Виттон из Портсмутского универа и Мишка Хабиб из универа Джона Хопкинса точно определили: птерозавры для поднятия тела в воздух использовали прыжок! Я у них это подтибрил и в свою программку, ну то есть в Яшку Свердловича, вложил. У птериков в нижних конечностях огромная сила была. А у Яшки? Ноги у него, конечно, теперь сильней человеческих, но для птерика пока слабоваты. Поэтому нужно — в четыре ноги. Вот я и думаю: у тебя ноги хоть и нежные, а сильные.

— Много ты знаешь...

— Ладно, ладно, я тебе юбку пока не задирал, но знаю: ноги у тебя — во! Вот вы вместе с Яшкой и толкнетесь, и прыгнете, как древние птерики. Поможешь Яшке для начала подпрыгнуть и взлететь с обрыва, а я потом ему дам сигнал тебя в воду скинуть.

— А если там скалы или камни?

— Камни там есть, но мало. Ну а если даже на камни упадешь? Подлечим! Авось до смерти не разобьешься.

— Ну спасибочки тебе, Гоша, утешил.

— Да ты пойми! Если я кому надо скажу — тебя как московскую агентшу завтра же в землю живьем зароют. Тебя же вообще хотели смертницей со взрывчаткой на поя-

се сделать. Я, я тебя отбил! А ты... Ладно. Просто помни: тут тебе не Европа! И ты не какая-нибудь Алондра де ла Парра! Так что соглашайся, а я через чип буду Яшкой управлять, чтоб он тебя прямехенько в Герос уронил.

— В Герос?

— Ну да! Река-то Ингулец по-гречески Герос звалась. Йод-водород! Раз уж мы ударились в архаику, так давай чуток по-гречески поболтаем.

— Герос — это бессмертный, что ли?

— Ну можно и так перевести. Ладно! Черт с ним, с Геросом. Ты про другое послушай. Говорю еще раз. Огромная сила передних конечностей позволяла птерикам взлетать без проблем. А поднявшись в воздух, они развивали о-го-го какую скорость. И отсюда хоть до Кёльна, хоть до Гамбурга долететь могли. Понимаешь? Вот вы сегодня вместе и оттолкнетесь. И полетаете слегка во славу обратной эволюции! А потом мы с тобой вместе до потолка полетаем!

— Ты, Гоша, не все учел. Трудности взлета и посадки — они самые непреодолимые. Взлететь трудно — упасть легко. И ты, обдолбыш, тому живой пример. Уронил ты себя — ниже некуда. Выдумал обратную эволюцию и носишься с ней как дурень с писаной торбой.

— Ладно тебе ругаться. Помоги, а? За это не буду тебя ящеру в постельку подкладывать. И всего-то нужно в паре с ним толкнуться и взлететь. И полет всего-то на пятнадцать минут рассчитан. И Яшка за тобой не просто побежит — прыжками по воздуху поскачет. Ты и в лабораторной одежке приманчивая, а пойдешь в платье — тогда хоть стой, хоть падай. Но Яшка не упадет! Он за тобой кинется, догонит, со спины обнимет, я дам команду, вместе с ним толкнешься, взлетишь. Ну и я за вами на дельтаплане с моторчиком. А над нами коптеры, коптеры! Тут наше с тобой «Болеро» и закрутится всласть! Мне сегодня на два часа обещали все небо укрокоптерами перекрыть. А от русских дронов глушилку радиоэлектронную, ну этот самый РЭБ, поставят. Давай, а? Потом в отпуск тебя на три дня отправлю. А Яшка... Он с крыльями не больно ладит. Может, и не прирастут они как следует. Тогда его дооперируем и ходячего пальцекрыла из него сделаем. С уменьшением человеческих качеств. Ну а бабу... Бабу ему через полгода совсем другую подгоним.

— Ты еще продержись эти полгода.

— Продержимся! Слышишь? Встрепенулся Яшка! Ставь ему «галочку» с «фенечкой» — и на полигон...

Яшка Свердлович

В нарастании крыл чудилась мужеящеру опасность явная, опасность неминучая. Вслед за опасностью налетало чувство полной облапошенности. А тут еще колющая кожисто-перьевая и режущая телесная боль, на время уходившая, но потом налегавшая с новой силой. Боль всегда неожиданно возникала. Чаще — перед рассветом. Сперва легкие покалывания в предплечьях, потом сильней, сильней: в плечах, на сгибах локтей. Это пробивались наружу все новые перьевые стволы. Поначалу терпеть было можно. Но когда крепкие стволы начинали пробиваться всем скопом — терпец урывался, выбухивал из низов живота рык, за ним рев. В этом рыке, в этом реве бились тягостные мысли: зачем взял мешок гривен? Зачем согласился на опыты лечь? От боли и сокрушающих вопросов жизнь готова была разорвать себя на куски. И только когда проколовшие кожу перья, наполнившись воздухом, специально пускавшимся в отводные трубки, расправлялись, становилось легче. Чешуйчатое тело от взма-

ха рукокрыльев, на ночь открепляемых от железных скоб, поднималось на несколько сантиметров вверх. Гремели ножные кандалы. Перепонки меж когтистыми пальцами натягивались упруго. Крылья легонько шевелились, вздымались, но почти сразу и опадали. Подопытный ум слабел. Пухо-пернастый, широносый, воинственно окогченный Ящер УКРНИОЗа в звериной тоске замирал...

Святитель Лука. Жезл железный

Лука Крымский на миг отвлекся от дум. Пролетела и уселась рядом быкообразная зеленая муха. За ней вторая, третья. Святитель поднял руку, чтобы мух отогнать, но тут же прозрачная, ничего не весящая, однако все такая же цепкая рука хирурга упала вниз: припомнилось полузабытое, давнее...

Летним, непереносимо душным вечером 1921 года в Ташкент, казалось окончательно расплавленный жарой, привезли из Бухары изрубленных и обожженных красноармейцев. За четыре дня пути у многих бойцов под бинтами возникли целые колонии мушиных личинок. Ближе к ночи в больнице оставался один лишь дежурный врач. Он тщательно осмотрел тех раненых, чье состояние вызвало тревогу. Остальных приказал перебинтовать. К утру среди пациентов возник и мигом распространился по больнице, а там и по городу невыводимый слух: врачи-белогвардейцы отдали погибающих бойцов на съедение червям, которые прямо-таки кишат в ранах. Незамедлительно создали Чрезвычайную следственную комиссию. Та мигом арестовала всех докторов, включая главного врача, профессора Ситковского. Больница осиротела. Вскоре начался ревсуд, на который для пущей важности пригласили экспертов из других лечебных учреждений Ташкента.

...В зале суда — яблоку негде упасть. Зрители в большинстве — рабочие, обыватели. Правду сказать, выдали пропуска и нескольким врачам. Вошел и сурово опустил себя на стулья высокий суд. Настал миг тишины. И вдруг за окнами громкое и — как показалось — насмешливое ржание. Ржание повторилось еще, еще... Несколько человек кинулись смотреть. Оказалось: конная стража ведет на суд профессора Ситковского. Профессор шел посередине улицы с заложенными за спину руками, по бокам скакали четверо конвойных с саблями наголо.

Вскоре начался суд, который по замыслу председателя Ташкентской ЧК Якова Петерса должен был закончиться полнейшей революционной викторией. Помешало «виктории» выступление одного из экспертов.

Общественный обвинитель, пышноволосый и слегка курносый Петерс после опроса свидетелей вызвал в качестве эксперта профессора Войно-Ясенецкого.

— Поп и профессор Ясенецкий-Войно, — начал Петерс, — считаете ли вы, что профессор Ситковский виновен в безобразиях, обнаруженных нами в его клинике? У него раненые дерутся, пьянствуют, уличных женщин в палаты водят! А врачи и сам Ситковский вместо того, чтоб раненых прилежно лечить, этим безобразиям тайно и явно потворствуют, дабы выставить напоказ мнимое бессилие рабоче-крестьянской власти!

— Гражданин общественный обвинитель, — голос Войно-Ясенецкого, поначалу тихий, прерывистый, быстро окреп, — тогда прошу арестовать по этому делу и меня. Ведь и в моей клинике царит такой же беспорядок, как у профессора Ситковского. И коренится этот беспорядок...

— А вы не торопитесь! — резко оборвал эксперта Петерс. — Час подойдет, и вас арестуем!

Безобразия, творившиеся в клиниках Ташкента, и впрямь ошеломляли. Получив свободу ото всего: от приличий, традиций, от командирского окрика и почтения к медицине, красноармейцы, составлявшие в клинике большинство, распоясались. Прямо в громадных, отданных под больничные палаты маршировальных залах бывшего кадетского корпуса разливали по кружкам самогон, дымили махоркой, валяли приведенных с улицы баб. Несмотря на увещевания врачей, на просьбы тяжелораненых и некоторых сознательных красноармейцев, разгул не утихал. Дошло до того, что на требования Войно-Ясенецкого прекратить развратные действия распаленные легкораненые кинулись бить попа, зачем-то напялившего белый халат. Били ногами, затем костылями. От побоев профессор слег. Но через неделю в госпиталь вернулся. Управы на кем-то явно подстрекаемых, не желавших выписываться из клиники бойцов не было...

Приметив замешательство Войно-Ясенецкого, видимо вызванное неприятными воспоминаниями, Яков Петерс громыхнул новым вопросом:

— А черви? Черви у Ситковского раненых пожирают, а вам, Ясенецкий-Войно, хоть бы что!

Профессор доводы общественного обвинителя отверг решительно:

— Никаких червей там не было! Были личинки мух. Хирурги таких случаев не боятся и очищать раны от личинок не торопятся. Давно ведь замечено: личинки действуют на заживление ран благотворно.

— Что еще за личинки? Откуда такие подозрительные сведения про целебность личинок?

— Хотел бы сообщить гражданину общественному обвинителю: я не двухлетнюю революционную школу для фельдшеров окончил, а медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира.

По залу пробежал ободряющий шумок. Петерс был явно разгневан, но гнев сдержал и, круто меняя тему, спросил совсем о другом:

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вам удается? Ночью вы молитесь, а днем людей режете?

Ответ эксперта перерос в вопрос:

— Я режу людей для их же спасения, а вот во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?

В зале раздался гул одобрения. Пожевав губами, Петерс уже спокойнее, со скрытой насмешкой даже, спросил:

— Вы, говорят, перед операцией ставите йодом крест на теле больного? Так ли это? И есть ли от этого хоть какая-то медицинская польза?

— Польза есть. Йод уничтожает микробов, а крест всегда и везде свою силу окажет, в медицине же — тем более.

Петерс продолжал наседать:

— Как же вы, Ясенецкий-Войно, поп и профессор, можете верить в Бога? Разве вы его видели, Бога вашего?

— Бога я действительно не видел. Однако я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и разума. И совести там тоже не находил. Я, гражданин общественный обвинитель, и врач, и пастырь. И то и другое — взаимосвязано, даже неразделимо. Ибо сказано в Евангелии: «Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою!»

Обвинения рассыпались. Суд застыл в недоумении. И все же, посовещавшись, судьи под нажимом Петерса приговорили Ситковского к шестнадцати годам тюрьмы. Врачам его клиники тоже отмеряли немалые сроки. В Ташкенте это вызвало явное не-

довольство. Поэтому через месяц врачей стали из камер потихоньку выпускать, а там и приговор отменили...

Тут же мысль Войно-Ясенецкого от выступления на суде перенеслась совсем к иным, по другому случаю сказанным словам. Припомнилась исповеднику и хирургу его первая проповедь в далеком среднеазиатском соборе. И сам темноватый, освещенный всего десятком свечей собор припомнился. Перед проповедью он внезапно понял: войны не кончатся никогда. Потому-то и нужно взглянуть на них по-новому, по-иному! Не поддерживать, не оправдывать. А просто приучить себя к мысли: жить придется в непрестанном войномирье. И приноровившись к такой мирвоенной жизни, очищать ее от налипающих скверн, а самые резкие — несовместимые с жизнью — взрывы войн огромными докторскими колпаками накрывать... Не война несет смерть. Неумолимое присутствие смерти порождает войну! Ей, смерти, и надобно в первую голову противостоять, с ней и надобно бороться: словом евангельским, скальпелем хирурга, предвидением уловок и коварных подсидок безносой! Тогда вслед хотя бы за частичным усмирением смерти пропадут постепенно и войны.

И вот сейчас, сто лет спустя, начало той давней проповеди, изменив в ней лишь последние слова, Святитель Лука негромко произнес:

«Мне, иерею, голыми руками защищавшему стадо Христово от целой стаи волков и ослабленному в неравной борьбе, в момент наибольшей опасности и изнеможения Господь дал жезл архиерейский, жезл железный! И великой благодатью святительской мощно укрепил на дальнейшую борьбу за сохранение и процветание края Новороссийского, Донбасса и Крыма...»

Полет Ящера. Схлест

Укродроны кружили безостановочно. Безверхий, еще советский «козел» с Гошей Смыровым, Арьей-Асканией, двухметровым Ктитором и мужеящером, едва уместившимся в заново окрашенном зеленом прицепе, не доезжая до берега метров семидесяти, остановился. Тут же подоспел и курносый грузовичок с дельтапланом для Гоши. Смыров приказал Ктитору снять с Яшкиных глаз повязку и расковать ему ноги с уже отросшими желто-коричневыми кривыми когтями.

Река виднелась узкой полоской. На высоком берегу высился старинный пирамидальный памятник с барельефом. Подошли ближе. С барельефа глянул на мир лихо завитой, моложавый военный. Дохнуло речной прохладой.

— Ну и куда ты, Гошенька, нас привез?

— Фалеевка это. По-здешнему — Садовое. Берег не так чтобы высокий, но для взлета сгодится.

— А памятник кому?

— Эх ты, империализдочка липовая! Синельникову, генералу.

— Подойду почитаю, что там на доске написано.

— Некогда читать. Я тебе и так скажу: «Генералу И. Мэ. Синельникову. Смертельно ранен двадцать какого-то июля 1788 года при осаде Очакова. Скончался 29 июля в Кинбурне. Погребен в Херсоне». Короче, ядром ему ногу изуродовало. Ну, ампутировали ее, и все дела. А он после ампутации — возьми да помри. В общем, твой собрат по несчастью. Тебе, говорят, ногу в Мариуполе тоже чуть не оттяпали? Как теперь ножка? — понизил голос Смыров. — Высоко поднимается? Я люблю, чтоб повыше!

— Заглохни, гошист недорезанный...

Яшка Свердлович тупо глядел на реку. Арья скинула платье, туфли и босиком в серой ночной сорочке пошла к обрыву. Гоша приказал Ктитору взять автомат наизготовку, а сам потихоньку стал развязывать веревки на Яшкиных рукокрыльях.

Почуяв свободу, Ящер хотел было выдавить из себя: «Ну, спасибочки, тебе, паскуда!», но вместо этого лишь рыкнул и, роняя слюну, на полусогнутых стал красться за неторопливо шедшей к обрыву Арьей.

— Музыку! Скорей! З-з-звонче! — взвизгнул Гоша и замахнулся на Ктитора.

Мнимо контуженный Ктитор включил давно заготовленное для сопровождения Ящеровых полетов «Болеро».

Дальше все вышло, как и задумал Гоша: Ящер обхватил Арью сзади, попытался расправить крылья, унести ее куда подальше. Гоша нажал кнопку. Ящер тут же согнул нижние конечности. Арья тоже присела, они разом оттолкнулись, и Ящеровы рукокрылья вдруг раскрылись. Взмах, другой, третий! Еще, еще, взлет! Выше, круче!

Ящер УКРНИОЗа внезапно увеличил скорость вдвое. Оторопевший Гоша жал вспотевшим пальцем на кнопку... Без толку! Докмед обмяк мешком. Дикий испуг мешался с гордостью от неожиданного успеха.

— Назад! Назад! — старался перекричать музыку огневолосик.

И тут же понял: Свердлович ни его, ни музыки, призванной мерно и задумчиво покачивать Ящера на воздушных волнах, не слышит!

Ухватив Арью зубами за собранные в пучок волосы, Ящер УКРНИОЗа летел, как и полагается теплокровному птерозавру, мощно-размеренно взмахивая крепнущими в полете крыльями...

— Куда, свол-л-лота? — лопнул голосом Смыров.

Он хотел набрать оператора дронов, сообразил, что не успеет, и вызверился на Ктитора:

— Стреляй, поганец!

Ктитор нехотя вскинул автомат. Он сразу понял: стреляя по Ящеру, угробит красивую бабу — и дырявить ее не захотел. Дал очередь так, чтобы зацепить только нижние Яшкины лапы. Гоша выхватил у Ктитора автомат.

Яшка, забирая все левей, уходил к слиянию Героса с Днепром, в экстазе не сообразив, что летит в российскую сторону. Вдруг вперемежку с Гошиными командами в ушах у Ящера зазвучал грудной широкий голос.

— Крылья... — очень медленно, словно через какой-то мощнейший динамик, произнес голос, сразу ставший глубже рек, шире степей и напугавший Ящера сильней, чем угрожать страшными карами Гошин визг.

— Крылья дают чистым, — размеренно продолжил глубокий грудной голос, — нечистые крылья — от лукавого. Крылья твои будут сломаны. Замри.

Ящер хотел огрызнуться, хотел семиэтажным матом обложить невесть откуда взявшийся голос. Но вдруг на несколько секунд и впрямь застыл: взмахи прекратил, перешел на планирующий полет.

В малом, воткнутом в слуховое отверстие наушничке продолжал трещать и попискивать Гоша Смыров. Но тут опять зазвучал размеренный голос. Два голоса в пространстве воздушном пересеклись и на короткий промежуток времени схлестнулись. Гошин язвительный тут же стал осыпаться сухой штукатуркой. Грудной еще расширился, заполнил окружающее пространство от венца до донышка, стал плотней воды, ощутимей внезапно поднявшегося ветра.

Дикий схлест двух голосов, перевернувший кверху ногами подзабытые мысли человеческие, Ящера вмиг растерзал. Он хотел что-то крикнуть в ответ: сперва Гоше, потом грудному голосу. Даже слова завирущие про то, что он-де военнопленный

ящер, а проще говоря, Гошин раб, заготовил. Но толкнуть речугу не успел: донельзя расширившийся голос, упреждая Яшкино вранье, произнес:

— Воля — чужая. Грех — твой. Складывай крылья, гнусная помесь.

Однако здесь, вперебив мерному голосу, снова всполоснулись Гошины визг и крик:

— Ты же Ящер-дьявол! Ты первый в мире контрэволюционер! — надрывался Смыров.

Но понимая, что исполнить его команды Ящеру мешает властный, невесть откуда взявшийся голос, звучавший и в его наушниках, Гоша упал на траву, выдрал из затылка огненный клок волос. Хотел выскубить поочередно и брови, выкрашенные в противовес огненным волосам в синий цвет, но тут же руку от левой бровки убрал и, катаясь по траве, расхохотался. Мысли от хохота в Гошиной голове перемешались: «Брови? Брови! На бровях к начальничкам сегодня приползу. На синеньких, на любимых! Какой полет? Ай да Гошник, ай да „Болеро“ господина Равеля!..»

Пули Ктитора Яшку все-таки настигли. Одно крыло сразу обвисло. Второе от перегруза задрожало, задергалось. Мужеящер попытался сложить, а потом раскрыть оба крыла сразу и резко уйти к левому берегу. Не вышло. Дико и обреченно рыкнул он раз, еще раз...

Арья выпала из слюнявой пасти. Падая в реку, ощутила резкую боль в плече. Но боль только обрадовала. «Жива! Живехонька!» Ошеломляющая свобода вдруг зарябила перед глазами мерехтящими звездочками.

Она упала в Герос и ушла глубоко под воду. Чтобы не достали с берега укропосты, тоже открывшие огонь, на минуту или даже на полторы задержала под водой дыхание.

Совсем близко, рядом, уходил на дно Ящер. Зеленоватая вода уже в самом начале лета зацветшего Ингульца-Героса враз отяжелила перья. Плавать мужеящер не умел даже и в человечьем образе.

— Помоги... Скиф-х-х-р-р-л... — булькая зеленой водой, захлебнулся в крике Ящер.

Арья крик его услыхала. Попыталась протянуть левую руку для помощи и не смогла. Только сейчас поняла: боль в руке — скорее всего, от пули, застрявшей в мякоти плеча. На несколько секунд пришлось вынырнуть, оглядеться. По воде медленно красивыми узорами расходилась ее кровь. Услыхав еще одну автоматную очередь, снова с головой ушла под воду...

Неширокий Герос — дважды выставившись и глотнув воздуху, с трудом перенырнула под водой. Отряхиваясь в камышах, еще раз глаза на плечо скосила. Там чернела дырочка. Рядом, нежно меняя очертания, расширялось на воде кровяное пятно. Но боль в плече лишь усиливала неведомо откуда взявшуюся радость. «Не может быть! Без документов, без одежды почти, — а вырвалась! Отсюда до позиций российских войск, скорее всего, километров двадцать-тридцать. Вдруг как-нибудь тишком-нишком проскочить удастся?..»

Свесив с обрыва босые ноги, на берегу Героса сидел и плакал огневолосик Смыров. Рядом валялся искореженный железными шизоидными пальцами пульт управления полетом. Мертвый Ящер УКРНИОЗа лежал на дне, недалеко от берега и был хорошо виден. На лице Свердловича застыла дьявольская усмешка. Углом из воды торчало изрешеченное пулями крыло.

Доктор Лука, припозднившийся на берег из-за того, что оказывал помощь покалеченному сорвавшимся с крыши бревном местному жителю, покачал головой. «Хирургов не хватает. Что на левом берегу, что на правом. Вот и опоздал...»

Очень скоро доктор оказался в камышах, у береговой кромки извилистого Героса, тихо струящего свой поток сквозь времена и войны. Умелым нажатием на сонную артерию лишив сознания беглянку, доктор бережно плеснул на рану спирт из бутылочки, подождал тридцать секунд, сделал скальпелем надрез и хирургическим пинцетом с изогнутыми и заостренными зубчиками вынул пулю. Снова покапав спиртом, затолкал тампон с мазью Вишневского поглубже в рану, заклеил пластырем. «Хорошо б, она загноилась, тогда завтра-послезавтра полноценный дренаж провести можно».

Раненая не очнулась. «Пускай полежит без сознания часок-другой. Придет в себя — шепну на ухо, как быть ей дальше».

Через полтора часа доктор Лука вернулся и лежащую осмотрел. Рана мариупольской пациентки была средней тяжести. «Только ведь вода кругом. Как бы заражения не случилось. Ну да Бог милостив. Завтра осмотрю еще раз».

Выставив перед собой, как навигатор, полупрозрачную ладонь и рассмотрев зажегшийся на ней цветной план местности, Лука спиной тихонько отступил в камыши и, подражая внутреннему голосу Арьи-Аскузы, сказал: «Вниз по реке. Пройти камышами. Километрах в двух-трех — жилье. До впадения Героса в Днепр добираться не нужно. Там посты. Нужно пересечь полуостров, который клином отделяет приток от главной реки. Оттуда нетрудно на левый берег. Дальше — по обстановке. Может, попадутся люди незлые: оденут, к своим пробраться помогут...»

Арья вздрогнула, очнулась, удивилась: «Видно, мозг сам, без меня, дуры, решил, как дальше жить!»

Вдруг мощный, совсем близкий разрыв оборвал мысли, рванул душу из тела...

Княжья птица

Табун куланов существовал в Новой Аскании словно бы сам по себе. Вдали мелькали звери четвероногие и звери двуногие, крупные стрекозы, птицы бегающие, птицы летающие. На них табун внимания не обращал: для куланов посторонние живые существа значения имели мало. Каждую осень табун кого-то терял. Каждую весну, в ее середине, кто-то являлся на свет. Отстраняясь от чужих и вспоминая друг о друге лишь во время кровавых стычек за самку (с попытками ухватить друг друга за ногу, повалить и начать грызть сопернику шею), умело уходя от волков и не поддаваясь парящему над землей, сладко вздрагивающему мареву химер, — в таком приятном беспамятстве жилось табуну легко, спокойно. Рядом с куланами и дрофа чувствовала себя в безопасности. Поврежденное крошечным осколком крыло потиху-помалу заживало. Мощные ноги и ясно предощущаемая скорость разбега вселяли уверенность, давали чувство защищенности. Еще чуть, и долгожданный полет, к которому дрофа устремлялась каждым движением, каждым перышком, приблизится вплотную.

Уже с рассвета предполетное нетерпение толкало разбежаться, сделать шаг, за ним еще, еще... Наконец стало ясно: взлететь пока не удастся. От этого или от чего-то другого вдруг навалилась сверху непонятная тяжесть. Постепенно тяжесть проникла внутрь тела. Где именно она поселилась — поди пойми. Сперва вроде шевельнулась в спине, потом в груди, а после — в низах тела. В конце концов подобралась тяжесть и к горлу. И там вдруг начала становиться невесомей, легче. Зайдя в кусты, дрофа осторожно клювом отстранила сперва в одну, потом в другую сторону розовый пух, добралась до шейной складчатой кожи.

И враз почувствовала: кожа стала другой! А тяжесть, та, наоборот, сделалась совсем безвесной. Еще раз осторожно коснувшись клювом изгиба шеи, вдруг наткнулась на крохотное отверстие. В страхе склонила голову набок, постояла в нерешительно-

сти. Затем еще осторожней снова прикоснулась к покрывшейся пупырышками коже. Отверстия больше не было! Зато внутри вместо былой тяжести и былой легкости образовалось небольшое облачко. Оно приятно вздрагивало, толкало к необычным действиям. Ни с того ни с сего появилась уверенность: если подойти к урчащим, кричащим и выдыхающим дым существам, которых дрофа про себя и вслух называла «Кыы», они помогут! Крадучись, короткими перебежками, сперва по краю перелеска, затем через высокий узколистный ковыль, поспешила она к светлому дымку, плывшему над горбатой крышей, напомнившей цветом куланью шкуру. Не добежав, замерла в кустах: словно кто на бегу ее остановил.

— Ты гля, дед! Дрофа к нам припожаловала. Стоит меж кустов, не уходит. Беги отсюда, дуреха, беги!

— Раз пришла, значит, надо. Бинокль мне принеси. Только не тупочи лапами: спугнешь...

Дед смотрел в бинокль долго.

— Крыло левое ей повредили. Вчера — слыхал? — прилет был. Та и бьют же украды укропистые! Без наводки, без цели. Ну, просто гатят по степи, и всё тут. Мало они, отступая, живности здесь перепортили. Ладно, постоит птица и уйдет. А не уйдет — завтра кормом ее подманю, крыло потрогаю. Вдруг пособлю чем. Айда до хаты, за работу пора...

— Так, может, ее — того?

— Я тебе дам «того»! Тоже мне, курицу нашел. Дрофа — птица княжья! И заповедная к тому ж.

— Это почему ж, дед, она княжья?

— А потому, Павлуха, шо охотились на нее с гончими собаками и ловчими птицами. А такая охота — чисто княжеская забава. И выглядит дрофа по-княжески. Только мало теперь птиц таких осталось. Все, идем...

Ночью дрофа нашла укромное место, спряталась от лис и хорьков. Волков рядом слышно вроде не было, а вот лисы и крупные степные хорьки — те вокруг бродили. И не так чтобы далеко от жилья дымного.

В самый темный час опять засвербела шея. Притронулась клювом — снова крохотная дырочка! Враз через крохотное это отверстие со слабым шумом вылетело и подалось прямиком в асканийскую степь упружистое облачко.

Река и степь

В двух с половиной километрах от впадения зеленоватого Героса в Днепр доктор Лука, уже начавший было выкачивать гной из раны в плече и собравшийся обработать глубокие царапины на боках от когтей утопшего Ящера, начал внезапно прямой массаж сердца. Оглушенная, а может, и контуженная взрывом мариупольская знакомка внезапно и безо всяких на то причин стала на глазах отходить.

«Почему? По какой причине? Взрывная волна запустила скрытый процесс в мозгу? А может, в теле? Или... Или жить ей не хочется?»

Лука глубоко втянул в себя воздух, сожмурил веки, прижался устами к искривленному судорогой, умирающему рту прекрасной пловчихи. «Что это я? Инъекция нужна, инъекция! Да где взять?» Не переставая вдувать воздух, словно бы не давая покинуть тело изготовившейся к этому душе, доктор Лука взмолился:

— Господи, помоги врачевателю, в честь апостола и лекаря Твоего возлюбленного Луки названному! Дай сил уберечь от преждевременного ухода душу пловчихи...

От натуги и всплеска чувств доктор Лука на несколько секунд потерял пространственную ориентировку, выпал в инобытие. А когда очнулся, даже не раскрывая глаз, понял: ожила умиравшая!

Отступив от ожившей, Лука подставил руки налетевшему ветерку. Ветерок капельки гноя с прозрачных пальцев обнес, ладони высушил, обеззаразил. Доктор Лука выдохнул скопившуюся было в нем слабость и негромко, но твердо произнес:

— Гнойное ныне время. И почти неоперабельное. Выкачать гной и раны до конца зарубцевать — пока не выходит. И недолеченным время теперешнее — оставить невозможно. Пора, пора за время нынешнее засучив рукава приниматься!

— ...Это вы, доктор? Вас я в подвале мариупольском видела?

— Меня, внученька.

— Спасли вы меня дважды... — перекрестилась очнувшаяся, — вот только стоило ли? Может, напрасно спасли? Под небесами — лучше. Так сладко во снах я путешествовала!

— Всякому своя доля и путь свой. Кому краткий, прерывистый. Кому непрерывный, долгий. Твой путь прерывать нельзя было. Я и помог тебе. Очнись и живи без долгих снов. Что бы ни было после — жить нужно сейчас. Не прожив как следует жизни земной — не получишь пристойной жизни небесной. Гной земной жизни и страшен, и хорош. Кровь земной жизни страшна, но при кровопусканиях пользу приносит. Ты вот по небесной жизни тоскуешь, а я жизнь земную с усладительной тоской вспоминаю!.. Ну, будет об этом. Рана твоя обработана. Через три дня врачам местным покажешь. Теперь ступай. В места степные, откуда на «Азовсталь» попала, ступай. Тебя как зовут?

— Аскания.

— Славное какое имя. Месту и времени хорошо соответствует. Новый эдемский сад в асканийской степи скоро начнет разрастаться. Сад чудотворный, изумительный. Вне мира и вне войны существовать он будет. Из этого степного сада по всей земле Новая Аскания побеги свои пустит.

— Это вы про земной рай говорите?

— Еще не рай это. И сказал про Асканию так не я. Государь Николай Второй про места ваши матушке своей так писал. Правда, не Эдемом, а картиной из Библии с животными, вышедшими из Ковчега, назвал он Асканию. Ну а я подправил, — радостно рассмеялся Лука, — но, по сути, это и будет новый Сад предэдемский, Сад асканийский, где вместе люди, птицы и звери, позабыв про смерть, тысячелетними деревьями произрастать будут. А вокруг — степь поднебесная! Это не рай на земле, не рай на небе, а только преддверие полного и окончательного расцветания Великого степного сада меж небом и землей. С ласковым ковылем, схожим на ощупь с куланьей мягкой шерстью, с деревьями, достающими кронами до звезд, со зверями и птицами душу полноправную получившими, с душами человеческими, не изничтожившими себя в сквернах мира, не отравленными пирами войны, готовыми в будущем вернуться вместе со своей волей и правдой в свои же тела после их окончательного восстановления...

От счастья услышанных слов Арья-Аскания закрыла глаза. Нежно-дымчатый, а по краям иссера-голубой ковыль мерно и ласково, как всемирный разум, шевелился. Сторожевые и погребальные курганы, смеющиеся голоса птиц, песенные разговоры людей взлетали и повисали близко, рядом, куда ясней и ощутимей, чем любой светозвуковой мираж. Меж землей и небом протянулась с юга на север и с запада на восток небесная степь.

«Небостепь земная, — в тихом ликовании шептала Арья, — небостепь, еще неизвестная науке, в таинственном пространстве между небом и землей расположив-

шаяся. Есть космос, есть земля, а есть никому не известное пространство меж ними. Пространство Божьего слова и Божье-человеческой мысли. Так? Нет?.. Так, так! Такое пространство — небостепь и есть! Она, конечно, тоже своего рода фата-моргана, но овеществленная, укорененная в нашей жизни, только мало кем наблюдаемая. Даже лизнуть, даже потрогать можно... Вот только поймут ли тебя, степь, люди северные, люди лесные, горные, тундровые?..»

Она вытянула правую, а затем и левую руку к северу. Резкая боль в левом плече мыслей не оборвала, а лишь ускорила, взвинтила их штопором к небу:

«Степь, степь! Бессмертная, беспредельная, существующая вне причин и следствий, вне мира и войн, вне куч внешнего мусора и хлама: преходящего, тупого, корыстного! Вне всего — кроме любви-приязни и любви-соития-в-духе-и-теле — существующая! Русская, святая — шире всех мироколиц — неуничтожимая степь! В степи этой все начиналось, в степи и закончится...»

После этих страстным шепотом выплеснутых слов степь приблизилась, стали видны отчетливо ее изгибы, возвышенности. «Как на теле моем, как огромное тело человеческое, тело женское, светлокожее, рыжеватое во впадинах и подмышках...»

Степь подступала к раненой все тесней, все ближе. «А вот и сад в степи! Абрикосы, слива колючая — терн, персики, кусты чайной розы, по краям сада маслины. А в саду кто? В саду — Павлуха! И девочка в платьице васильковом. Еще в школу, наверное, не ходит. Прыгает, веселится. Мираж? Мираж, конечно!» — сказала сама себе Арья и снова нырнула с головой в ставшую вдруг неизъяснимо приятной боль.

Наутро солдатка, приютившая спасенную пловчиху, оглядев ее со всех сторон, запричитала:

— И откуль он токо взялся, дохтур этот чудесный? Как заштопал тебя! И не видать ничего даже. И на лицо ты вроде поправилась. И рука поднимается. А я как увидела, что тебя гад крылатый несеть, так и упала. Подумала: умом я, што ли, от всех этих летающих коптеров тронулась? А только вспомнила. Говорили у нас на выселках: рядом с УКРНИОЗом заброшенным всяку дрянь и нечисть оживляють. Ну как это по телику говорять? Куклонируют, чи шо? От я и осмелела. Глаза раскрыла. Лежу. Переживаю. Вдруг стрелять зачали. Тут кровь у гада летучего фонтаном из шеи — хлысь, брызь, хлысь!.. Хотел он тебя нижними лапами перехватить и зажать. А не смог. Только рыкнул во всю глотку рыком человеческим и тебя из зубов выпустил... Ох ты, моя сердешная, натерпелась, видать, от ящеров этих в форме зеленой! Хорошо, дохтур здесь объявился. Его наши и вчера, и позавчера издаля замечали. Ходит так быстро — токо ноги в больничных тапках мелькають. И чемоданчик свой дохтурский цепко так держить, иной раз и к груди прижимаеть. Видать, струмент у него дорогой там... Жалко, я дохтуру спасибки сказать не успела: токо халат белый мелькнул и над ним окулярцы серебряные. И все... Пока не ушел он, в комнату к вам я зайти боялась: заругал бы. На лицо он веселый, а губы строгие. Оно и правильно: дохтуру чистота важна и чтоб лишних — никого. Ну, прощевай, Арька! Дай обниму тебя на дорожку!

Вне мира, вне войны

Прошло два долгих, уже совсем летних дня. Дрофа с выправленным и пролеченным Бухтерей Потапычем левым крылом то появлялась, то исчезала снова.

Утром выходного дня девочка Мишка спала на малой, еще Павлухиной перинке. Сам Павлуха, по воскресеньям будильник не заводивший, чуть посапывая, на полу кемарил. Дед еще с вечера за иловой грязью в Скадовск уехал.

— Вот и я, — тихо сказала Арья-Аскуза.

Павлуха подумал: голос уютный ему снится. Перевернулся на другой бок. Потом, до конца не просыпаясь, спросил:

— Ты кто?

— Не узнал? Я — твоя Аскания. Но только новая, преображенная, хорошо заштопанная, чисто вымытая, от заразы доктором вычищенная.

Павлуха резко перевернулся на спину и веки даже не раскрыл — разодрал пальцами.

В дверном проеме, словно за омытым дождевой водой тончайшим стеклом, в газовой полупрозрачной накидке с едва заметными контурами цветов и птиц зыбилась Арья-Аскуза.

— Ты что, приснилась мне?

— Жить я к тебе вернулась, а не сниться.

Павлуха раскрыл было рот, чтобы на весь дом, даже на весь поселок городского типа заорать от радости. Арья-Аскания жестом его остановила.

— Идем в степь, — тихо и просто сказала она, — я место затишное знаю. Ни мира там, ни войны. Одна любовь, одна ласка. Идем... А девочка приемная пусть поспит немного.

* * *

С кургана было хорошо видно: идет впереди Арья, за ней — Павлуха, вслед им машет рукой проснувшаяся, но не решившаяся побежать за взрослыми девочка Мишка, а чуть позади разгоняется, взлетает, опережает идущих и летит, не слишком их обгоняя, бело-красно-серая асканийская дрофа.

Егор ФЕТИСОВ

РАССКАЗЫ

БЕГСТВО

Весна началась в этом году позже обычного, но все же началась. В кронах деревьев по всему городу суетятся черные дрозды, тенькают большие синицы и лазоревки. Зацвела сирень. Листва еще не загрубела, ее светло-салатная ткань просвечивает на солнце, придавая всему вокруг изумрудный оттенок. Я открываю дверь на балкон, ставлю на столик чашку крепкого кофе и блюдце с круассаном. Это настоящий французский круассан, хозяйка кафе через дорогу иногда угощает меня, если я вдруг поднимаюсь чуть свет и выхожу на балкон. Моя старшая дочка работает в ее гостинице — маленьком частном заведении, в котором вместо шведского стола каждому постояльцу подают завтрак, в том числе круассаны из самого Парижа. У них и правда другой вкус. Наверное, все дело в рецептуре теста. Я готов есть эти круассаны просто так, даже не намазав маслом. Небо настолько голубое, словно за ним не скрывается бесконечная чернота. Оно совсем как на детском рисунке — немного примитивное, но предвещающее счастье.

В полдень у меня важная встреча с автором детективов. Это последняя оставшаяся у меня работа, остальные проекты приостановлены: местные издатели не хотят продавать копирайт в Россию. И только Эрик продолжает со мной сотрудничать. Права на его книги принадлежат ему самому, агента у него нет, издается он у своего школьного товарища, так что бумажной волокиты никакой. Эрик датчанин, но живет в пригороде Мальмё, почти каждые выходные приезжает в Копенгаген на поезде подышать местным воздухом. Посидеть на террасе кафе с бокалом белого вина. Хоть и маленькое, но путешествие, говорит он. Иначе жизнь протекает слишком уныло. Сегодняшний день похож на вчерашний. А вчерашний на позавчерашний. Преподавание в университете, новые студенты учатся по неизменной программе. Наверное, отсюда и тяга к детективам — чтобы разогнать кровь в жилах, говорит он.

Я приезжаю на Строет, главную пешеходную улицу города. Эрик сидит в привычном кафе напротив фонтана с аистами. Местные жители одно время сомневались, не цапли ли это, и созвали комиссию орнитологов, подтвердившую, что нет, не цапли. Аисты. Можно не сомневаться, факты говорят сами за себя. Эрик тоже похож на аиста, такой же долговязый и худой, с цепким взглядом и острым, красноватым носом.

Егор Фетисов родился в 1977 году в Ленинграде. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Нева» и др. Автор романов «Ковчег» (2017) (лонглист премий «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна») и «Пустота Волопаса» (2021) (лонглист премии «Национальный бестселлер»), сборника рассказов «Жизнь, занесенная песком» (2022), детских книг «Мадс и Митя» (2018) и «Пиратский отпуск без мамы» (2020). Дипломант Международного Волошинского конкурса в номинации короткого рассказа (2018). Финалист Международного литературного конкурса им. К. Паустовского (2017). С 2015-го по 2024 год редактор литературного журнала «Новый берег» (Копенгаген). Живет в Дании.

Он привстает из-за столика, чтобы обнять меня. Я тоже привстаю — на цыпочки: у нас большая разница в росте.

— Я заказал нам рислинг, — говорит Эрик и добавляет без всякого перехода: — Жаль, что сгорела Биржа. Такие были драконы. Нигде таких нет.

— Разве что в Китае, — предполагаю я, но он качает головой. — В Китае не такие.

Я говорю, что это символично: драконы — стихия огня. Огнедышащие звери, в общем-то. Извергающие пламя. Вот и сожгли сами себя.

Эрик согласно кивает. Извергающий пламя всегда рано или поздно сгорает в нем сам.

Девушка приносит рислинг. Мы чокаемся.

— Сколь, — говорит Эрик, соприкасаясь краем своего бокала с моим.

— За аистов, — отзываюсь я.

Он смеется.

— В прошлый раз ты тоже пил за аистов, — говорит Эрик.

Тогда было холодно, шел дождь, и мы сидели внутри на втором этаже и смотрели на фонтан в большое панорамное окно.

В древности считалось, что аисты кормят своих родителей, когда те уже не способны добывать пищу. Они полная противоположность мне, но это слишком долгая история, чтобы рассказывать ее здесь и сейчас. В каком-то смысле, когда я пью за аистов, я пью за родителей, оставшихся далеко-далеко.

— Я уезжаю, — вдруг говорит Эрик, и лицо его искажается эмоциями, которые мне трудно прочесть.

— Куда? — спрашиваю я.

— В Корею, — говорит он и запивает эти слова вином.

— В Северную? — спрашиваю я.

Эрик качает головой.

— В Южную. Университет Хангук. Иностранные языки. Буду преподавать датский.

— Почему не шведский?

— Потому что я датчанин, — отвечает он просто и жмурится на солнце, как кошка, потом достает из нагрудного кармана солнцезащитные очки и надевает их. Теперь его глаза прячутся за черным стеклом, смотрят на меня оттуда, изучают мое лицо, следят за реакцией. Реакция, впрочем, предсказуема — крайнее удивление.

— Как же Мария, дети? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня, как гигантское насекомое, глаза которого занимают половину лица.

— Они останутся в Швеции. Мальчикам нужно закончить школу, Мария о них позаботится.

— И... надолго ты?

— Пять лет. Подписал контракт на прошлой неделе.

— А как же твой роман? «Смерть после матча»? Я обещал издательству начать работать над ним в сентябре.

Он протягивает руку и обнимает меня за плечи.

— Не знаю, когда я его закончу. И закончу ли. Сейчас все перевернулось с ног на голову.

— Не понимаю, — говорю я. — Как ты решился. Оставить семью на пять лет. Ради преподавания?

Он поднимает руку, с улыбкой подзывает обслуживающую столики девушку, заказывает еще два рислинга. Потом снимает очки, цепляет их дужкой за нагрудный карман и смотрит мне в глаза своим серым невозмутимым взглядом.

— Послушай. Я расскажу тебе, как все вышло. Тут целый сюжет.

Я показываю взглядом, что внимательно слушаю.

Однако он не начинает историю, ждет, пока девушка подойдет с небольшим овальным подносом к нашему столику и поставит на него запотевшие от холода бокалы.

— Нигде не делают больше такого рислинга, как на Мозеле, — мечтательно произносит он. — Хотя, возможно, во мне просто говорит юность: когда-то я учился в тех краях...

Я беру бокал, жду, не предложит ли он чокнуться, но он отпивает вино и начинает рассказывать так, словно продолжает уже начатую историю.

— Я не против приезжих, отнюдь, — говорит он. — Вот ты, например. — Он протягивает свою длинную руку, которой позавидовал бы и орангутан, и легко касается моего бокала своим. — За аистов!

— За аистов! — отзываюсь я.

Мне нечего ответить на его реплику, да он и не ждет ответа.

— Просто важно... — продолжает он, — чтобы все находились в каком-то едином поле... Культурном и ментальном. Страна не может функционировать только географически. Страна, нация — это больше, чем просто карта местности, набор территорий. И в Дании это есть, национальный дух... Ты понимаешь, о чем я?

Я киваю.

— В Швеции тоже есть. Но здесь все немного сложнее. Так что вот, я угодил в сложную историю.

— Из-за романа? — спрашиваю я, чтобы хоть что-то сказать.

Он качает головой.

— Из-за Руне. Ну и национального духа.

Руне — его старший, ему тринадцать лет. Приятный интеллигентный паренек с серьгой в ухе. Улыбчивый и доброжелательный к людям и животным. Собственно, Руне — сын Марии, Эрик — приемный отец, хотя относится он к нему как к родному.

— Он что-то натворил? — спрашиваю я, и легкое беспокойство за паренька закрадывается мне в душу.

Эрик опять качает головой.

— Это я что-то натворил, — говорит он.

Я делаю глоток и смотрю на него вопрошающе.

— Знаешь, что такое Стокгольмская кровавая баня? — спрашивает Эрик.

Я отвечаю, что знаю. Кристиан Второй вероломным образом истребил шведскую знать. В 1520 году.

— Всё более-менее так, — согласно кивает Эрик. — Кальмарская уния переживала упадок, как ваш Советский Союз в свое время. Были люди, цеплявшиеся за рушащуюся империю, главный из которых архиепископ Тролле. Густав Тролле. А оппозицию, как бы мы выразились сейчас, возглавлял Стен Стуре, регент Швеции. Он продержался без малого три года, выиграл несколько сражений, но все-таки проиграл решающее — на озере Осунден. Ледовое побоище, — усмехнулся он. — Стуре был смертельно ранен и скончался. А Кристиан провозгласил себя шведским королем. И как водится, пригласил шведскую знать на коронацию.

— Инаугурацию, — шучу я.

— Нет, — поправляет меня Эрик. — На коронацию. — Шутку про инаугурацию он не понял. — И Тролле начинает ему нашептывать про неугодных, которые, дескать, со всей ненавистью к датской короне поддерживали Стуре, и прочее и прочее... В итоге три дня казней, убито почти сто знатных горожан, включая члена риксрода Эрика Васу, чей сын, Густав Васа, тяжелораненый, бежал, возглавил сопротивление и в итоге стал шведским королем...

— И как это... — начинаю я, но Эрик не дает мне закончить фразу.

— Погоди, дослушай, — говорит он. — Руне с одноклассниками смотрели новый фильм об этих событиях. Его снял Ян Хофстрём. Там еще наш Клас Банг играет, который только что снялся в вашем «Мастере и Маргарите»... Не помню режиссера, прости.

Иногда мне кажется, что Эрик смотрел все современное кино, выходившее на экраны в последние лет двадцать. По крайней мере, фестивальное.

— Он там играет Понтиуса Пилатуса.

— Понтия Пилата, — говорю я по-русски.

— Да-да, его, — подтверждает Эрик.

— И при чем тут Руне?

— У них в классе есть такой Салли, иранец. Папа, во всяком случае, у него иранец, держит велосипедную мастерскую и готов срубить лишние полсотни на любом, кто не сведущ в этом двухколесном транспорте. Но это сейчас неважно... Короче, этот Салли притащил в школу на следующий день деревянный меч и треснул Руне по голове после уроков. Типа он такой Густав Васа, а мой, значит, датское отродье, которому надо дать надлежащий отпор... Руне пришел домой с головной болью, я едва дознался, в чем, собственно, дело.

— И... — я уже забыл о своем бокале и напряженно ожидаю развязки. Руне мне очень симпатичен, и его история мне небезразлична.

— И тут я сглупил, признаюсь, — говорит Эрик, понижая голос.

— Сглупил? — бессмысленным эхом отзываюсь я.

— Сказал при нем за ужином, что этот Салли вообще хрен огородный с Ближнего Востока и что датчане со шведами без его сраного участия разберутся. Пусть катится к себе в Иран и воюет с иракцами, если ему некуда девать агрессию.

— Да, не стоило так говорить при мальчиках, — соглашаюсь я.

— Вообще не стоило так говорить, — вздыхает Эрик. — Но дальше больше. Я поехал к этому Салли домой, поговорить с его отцом.

— Почему домой? Не в мастерскую?

— Вечер уже был. Это случилось на следующий день, ситуация повторилась, там и другие дети подключились, началась какая-то ерунда, насмешки, в общем, Руне пришел домой чуть ли не в слезах, и я сорвался. Поехал поговорить, чтобы пресечь это раз и навсегда.

— С Руне? — спрашиваю я.

— Вот то-то и оно, что без. Лучше бы с Руне, — отвечает Эрик. — Короче, пятница, вечер, этого велосипедного дел мастера нет дома, мне открывает сестра Салли, бог его знает, как ее там зовут, я прошу позвать Салли, а она мне нагло так, вали, дескать, отсюда, это наш дом, родителей нет, и ты не имеешь права здесь находиться. Я ей отвечаю, чтобы шла надела свою паранджу или что они там носят, короче, я конкретно разозлился, хотя это меня не оправдывает, ты меня знаешь, я не расист, мне нравятся многие приезжие, взять хотя бы тебя... Но тут представляю себе Руне со слезами на глазах и просто не могу сдержаться. Думаю, поговорю с этим Салли. Скажу ему, чтобы больше такого не было. Оттолкнул девицу, прошел к дому, но этот засранец уже заперся внутри. Я подергал дверь, потом просто проорал ему все, что думаю, чтобы он усвоил раз и навсегда, почему трогать моего сына себе дороже. Сел в машину и уехал.

— Соседи все слышали? — предполагаю я.

— Да, ты правильно мыслишь. Эта Саллина сестра потом дала показания, что я вломился на участок, якобы ударил ее, у нее якобы синяки там какие-то, хотя я-то знаю, откуда синяки, Руне мне рассказывал, что отец лупит Салли за плохую учебу, да ком-

муне и дела до этого нет. А теперь они на меня это все решили повесить. И соседи подтвердили, все, дескать, верно, орал, угрожал, кажется.

— Грустно. Дело завели?

Эрик кивает.

— И из университета вежливо так попросили. Хорошо, хоть корейцам плевать на эту историю. Буду учить их теперь датскому.

— Как Руне? — спрашиваю я.

— Переживает, — говорит Эрик. — Хотел ехать со мной, но это не дело. Нужно доучиться здесь. Не в его возрасте так круто менять жизнь.

— А Мария что говорит?

— Говорит, что я идиот.

Я киваю.

— Я ее понимаю.

— Я тоже, — отвечает Эрик.

Он делает знак официантке, что хочет расплатиться.

— Тут вот еще что... Хотел тебе помочь сюжетом.

— Сюжетом? — удивляюсь я.

— Да. Ты же пишешь. Мне нравятся рассказы, которые ты мне показывал. Только в них мало... сюжета, да. В Дании, да и в Швеции такое не издают. Нужна история, и лучше, если в ней будет социальная подоплека... Короче, слушай. Я сам хотел об этом писать следующую книгу, но тебе сейчас нужнее.

Я киваю.

— Умирает старик, который был очень известным писателем. Неизлечимый рак. И у него от лекарств и терапии в буквальном смысле мутится сознание. Он переселяется в один из своих романов, в качестве героя. А один из его друзей, молодой человек, твоего, кстати, примерно возраста, прикидывается другим персонажем и поддерживает в старике эту иллюзию. До самого конца... Из этого можно сделать хорошую пьесу. Ты когда-нибудь писал пьесы? — спрашивает он, поднимаясь из-за столика.

— Нет.

— И я не писал, — признается Эрик. — Я бы назвал ее «Бегство».

— Пришли мне открытку из Кореи, — говорю я, пожимая ему руку.

— Я лучше пришлю тебе роман, если рано или поздно закончу его, — говорит он. Потом вдруг смотрит на меня пристально и спрашивает: — Может, сам закончишь?

— В смысле?

Он улыбается.

— Да это я так. Мысли вслух. Не бери в голову.

— Слушай, — мне в голову вдруг приходит мысль. — А можно я напишу про это все... То, что с тобой случилось?

— Валяй. Только это не напечатают. Или хотя бы выкинь паранджу. Это плохая шутка. В Иране женщин за хиджабы камнями забивают.

Я киваю.

— А как назвать?

— Я же сказал: «Бегство».

Он ободряюще кивает мне, забрасывает на плечо сумку и через несколько секунд сливается с толпой туристов, наводнившей площадь. На опустевший столик торжествующе приземляется чайка и издает призывный и пронзительный вопль.

ВЕЧЕР ПАСХИ

Сирена коротко и застенчиво всхлипывает во дворе, проходит несколько секунд, и раздается звонок домофона.

Тяжелые шаги на лестнице, жена уже открыла дверь и ждет в прихожей.

Они заходят, трогательно заботливые, осторожно минорные, предупредительные.

Сразу приходит в голову, что они похожи на пасхальных зайчиков. Они не совсем всамделишные, и от этого сразу становится легче.

— Вы помните, как вас зовут? — спрашивает один из них, молодой, впрочем, другой молодой тоже, стало быть, я уже дожил до тех лет, когда за мной приезжают врачи моложе меня.

— С Пасхой. — Я стараюсь улыбаться со всей приветливостью, на которую способен.

— И вас, и вас, — кивает молодой. — И все-таки не могли бы вы ответить на мой вопрос?

— Разумеется, помню, — говорю я.

— И?

Пасхальный зайчик мне не доверяет. Видимо, ему часто приходится иметь дело с людьми, не помнящими, как их зовут.

Я называю свое имя.

Прекрасно, Виктор, просто отлично, говорит он и просит назвать сегодняшнее число.

Я говорю, что сегодня Пасха, но Пасха — это не совсем число. Он ждет от меня дату. Я помню, что завтра первое апреля, поэтому подсчеты не занимают много времени.

— Итак, вам сорок восемь... — вмешивается второй, разматывая провода какого-то прибора.

— Сорок восемь... чего?

— Лет, — подхватывает первый с готовностью служащего отеля, подхватывающего тяжелый чемодан гостя.

— Нет... почему... сорок шесть... тогда... если лет...

Я сбит с толку, но это просто был очередной подвох, видимо, последний и наитруднейший, потому что оба вздыхают с облегчением, и первый спрашивает меня, что случилось.

Он нависает надо мной, как ангел, только без крыльев.

Я говорю, что все началось в парке аттракционов...

— Значит, вы катались на аттракционах, — полуутвердительно произносит он, быстро записывая что-то на планшете.

— Нет. Я не катался. Я смотрел.

— Смотрели, как катаются другие люди? — спрашивает второй. Он уже все размотал и лепит мне на грудь и бока резиновые кружочки.

— Как катаются мои дети.

— У вас есть дети? — одобрительно спрашивает молодой, по которому видно, что у него детей нет.

— Четверо.

— Так-так, прекрасно. И где они?

— Они наверху, на втором этаже.

— Большая семья.

— Да, большая семья, — соглашаюсь я.

В голову лезет Некрасов: семья-то большая, да два человека всего мужиков-то — отец мой да я. Хотя мой отец совсем не здесь, он в другой стране, в двадцати километрах от места, в котором родился. Немного за целую жизнь, но ему так комфортно. Он говорит, что люди поделились на уезжающих и провожающих, и он провожающий. Пусть так.

— И что произошло, пока вы стояли и смотрели на детей? — спрашивает второй, подхватывая ленту, ползущую из аппарата.

Я молчу, потому что не знаю, как это толком объяснить. Ну... чтобы было понятно. А то они опять начнут спрашивать, как меня зовут.

Но второй, взглянув на ленту, удивленно поднимает брови и шепотом что-то бормочет первому. Его слова явно не предназначены для моих ушей, и я делаю вид, что поправляю на себе одеяло, хотя мне не холодно, потому что я лежу под ним в одежде: в джинсах и водолазке, под которой теперь прилеплены резиновые кружочки.

Не работает, говорит первый. Техника не безупречна, бывают сбои. Попробуй еще. И снова поворачивается ко мне, демонстрируя всем своим видом, что готов слушать.

Я объясняю, что вдруг... в один прекрасный момент... в общем, я почувствовал, что у меня нет сердца.

Молодой перестает писать в планшете.

— Можете описать подробнее? — осторожно переспрашивает он.

— Попытаюсь, — обещаю я.

Ну то есть это вдруг наступившее ощущение пустоты: отсутствие пульса, ничего больше не бьется внутри. Все как будто остановилось.

— Это... как бы сказать, — запинаясь, произносит молодой, — несколько мистическая история. Однако... — он смотрит на второго, тот кивает на ленту, ползущую из чемоданчика белой бумажной змеей.

— Мы настоятельно рекомендуем вам поехать с нами, — говорит второй и начинает сматывать провода. — Разрешите, — обращается он ко мне, засовывая пару коротких проводков мне в карман джинсов.

— Случай нестандартный, согласитесь, и нам трудно помочь вам на месте. В больнице вам сделают все необходимые анализы, — подтверждает первый. — И на их основании уже будем принимать решения...

Жена спрашивает, может ли она поехать с нами.

— Разумеется, — улыбается первый. — Можем взять еще двоих детей, если хотите.

— Но у нас четверо, — говорю я.

Он разводит руками. Четверо в машину «скорой помощи» не влезут.

— Тогда старшие присмотрят за младшими, — говорю я, и он кивает.

И это правда, внутри «скорая» оказывается довольно маленькой, большую часть занимает кушетка, на которую они укладывают меня и пристегивают ремнями.

Мы едем очень медленно. На велосипеде я доехал бы быстрее. Но на велосипеде нельзя, когда за тобой уже прислали машину.

Второй сидит за рулем, первый кое-как примостился возле меня и что-то пишет в планшете. Или играет в какую-то игру, непонятно. Он дал мне две таблетки, предупредив, чтобы я глотал их не раскусывая.

— Они горькие, — говорит он.

Я раскусываю одну из них. И правда горькая, но терпимо горькая, запиваю водой из пластикового стаканчика, и горечь проходит.

Молодой поднимает голову от планшета и успокаивающим тоном говорит мне, что наука уже научилась пересаживать внутренние органы от очеловеченных свиней.

— Каких свиней? — я не в силах скрыть удивление.

— Очеловеченных. Им прививают гены человека, пока они еще крошечные поросята, а потом их органы можно пересадить, и человеческий организм их не отторгает.

Это напоминает «Собачье сердце». Я спрашиваю его, знает ли он, кто такой Булгаков.

Нет, он впервые слышит это имя.

Я объясняю.

— Мог бы догадаться, — бодро произносит он. — Все русские — или писатели, или музыканты.

— Я тоже раньше так думал... — говорю я.

Машина останавливается перед нужным флигелем.

Они предлагают отвезти меня внутрь на каталке, но я выбираю пройти эти тридцать шагов своими ногами. В конце концов, ноги-то на месте, просто сердце куда-то пропало. Жена поддерживает меня под локоть, так положено.

Мы идем по коридору. Свет приглушен. Пасха заканчивается. По обе стороны много пустых палат. Меня кладут в одной из них на кушетку, как две капли воды похожую на ту, что была в машине «скорой».

Молодой протягивает мне тонкую ладонь, обтянутую резиновой перчаткой, прохладной на ощупь.

— С Пасхой, — говорит он. — И поправляйтесь.

— Спасибо, — отвечаем мы с женой хором.

Второй просто кивает.

Они уходят по коридору и исчезают в промозглой темноте улицы. Пасхальные зайчики. Бескрылые ангелы.

Медсестра берет у меня кровь и снимает кардиограмму.

— Врач подойдет к вам через какое-то время, — говорит она. — Если будет что-то нужно, вот шнурок на стене.

Я благодарю. Плед не нужен, спасибо. Джинсы и водолазка прекрасно согревают.

Прямо напротив меня, над дверным проемом, висят большие круглые часы. Секундная стрелка неторопливо переползает с черты на черту. Ей некуда торопиться. Пасха заканчивается. Светлый праздник торжества духа над смертью. История о воскресении и великом жертвоприношении. Принесении себя в жертву. Ради...

В палату заходит молодая врач с отчетливым шведским акцентом.

— Ваши анализы в порядке, — говорит она. — Расскажите, что вас беспокоит.

Я завожу шарманку про аттракционы и дохожу до пустоты на месте сердца.

В ее кармане звонит мобильный.

— Ясно. Ясно, хорошо, — говорит она отрывисто, выключает телефон и поворачивается ко мне: — Простите...

— Ничего страшного, — говорю я, — так вот...

— Вы меня не поняли, — продолжает шведка. — Я вынуждена извиниться, привезли срочную пациентку, и там необходимо присутствие врача-женщины. Сегодня я единственная женщина на дежурстве. Но к вам подойдет другой специалист. Поправляйтесь.

Секундная стрелка ползет еще медленнее, чем ползла. Вот и первое апреля, день дурака. Жене завтра утром на работу, я беспокоюсь, что она не выспится.

Еще я беспокоюсь, что они расценят мой случай как первоапрельский розыгрыш.

Через час приходит врач без шведского акцента. Говорит, что анализы в порядке. Просто сердце у меня ссохлось, как... увядший бутон цветка. То есть оно как бы есть, но крошечное, едва заметное.

— Вообще-то, поразительный случай, — говорит он. — Но ваши показатели в норме, организм прекрасно справляется и без сердца. Пока что, — добавляет он.

— Это, наверное, потому что я им не пользовался... — говорю я. — Ну то есть по назначению. Оно же для чувств, страданий, разных эмоций... А я... Окуклился, старался не переживать, не видеть, не слышать, знаете, как три восточные обезьяны.

Он не в курсе про обезьян.

— Все может быть, — соглашается он. — Мы исследуем вашу проблему. Сейчас праздники, но во вторник больница заработает в штатном режиме. Приходите, дорогу знаете.

— Мне позвонить предварительно в «Скорую»?

— Не надо. Просто приходите. Я сделаю отметку о вас в системе.

Обратно мы идем через парк, потом проходим в туннеле под железной дорогой. Над нами проносится поезд. Кажется, это хорошая примета. Несмотря на два часа ночи, многие окна в окрестных домах все еще горят.

— Дай проверю твой пульс, — предлагает жена и сжимает мне запястье пальцами.

Мы молча стоим секунд десять.

Я вопросительно смотрю на нее.

— Ничего?

Она отрицательно качает головой.

— Но это же не мешает тебя любить меня и детей? — спрашивает она.

Теперь моя очередь качать головой.

— Конечно, нет. Просто...

Но это совсем не просто. Это сложно. Сложно понять, что же произошло. Вот так вдруг, посреди веселья, когда все было хорошо. И в то же время не вдруг. Все дело в этом «ради»...

Я расстегиваю куртку и нащупываю под водолазкой резиновые кружочки, которые медсестра забыла с меня снять. Отлепляю их и несу в руке в ожидании урны.

— Анализы в норме, это главное, — говорит жена.

Да, все, в общем-то, в порядке.

Впереди весна.

Она уже началась.

Вадим ПУГАЧ

* * *

Мы стареем, стареем: гастрит, артрит,
В висок стучится мигрень,
Небо к вечеру съеживается в овчинку.
И жена между делом мне говорит:
— Если верить в завтрашний день,
Надо сдать сапоги в починку.

Если завтра не явится Параклет,
Мы утешимся малым, как пара клеток.
Я живу с этой женщиной сорок лет,
Я люблю эту женщину сорок лет,
Мы прошли пустыню за сорок лет
И умрем в оазисе напоследок.

* * *

Ну, погнали: страдая, блаженствуй,
Оборудуй плацдарм для резни.
Что нам делать с истерикой женской?
Эту силу пойди тормозни.

Бог мой, что за манеры задиры,
Лучше ты расскажи про Ватто,
Чем во мне проковыривать дыры
Несравненной своей правотой.

Вскрыла жилы под темной вуалью,
Нарядилась, как будто к венцу,
То глазами сверкает, как сталью,
То билет возвращает творцу.

Беглецу отомстила за Будду,
Остающемуся — за быт.
Я тебе никогда не забуду —
Все в огранку, никто не забыт.

Вадим Пугач родился в Ленинграде в 1963 году. По профессии — учитель словесности; кандидат педагогических наук; сейчас преподает в СПбГУ разные дисциплины, так или иначе связанные с педагогикой. Автор нескольких поэтических книг и одного романа, а также нескольких десятков публикаций в России и за рубежом. Председатель секции поэзии СП СПб. Живет в Санкт-Петербурге.

Я тебе никогда не прощу, пол
Не помою, ты слышишь, родной?
Скольких девушек ты перещупал...
Как признаешься, что ни одной?

Расплатись за пюре ли, за щи ты,
Снова слезы, и тут же металл,
Ты ей не дал опоры, защиты,
Не дал, не дал, не дал, недодал.

Может, воздуху ей не хватает,
Разве трудно меня уходить?
Но спасибо, что нож не хватает,
Да и некуда мне уходить.

* * *

И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

О. Мандельштам

Я убит подо Ржевом...

А. Твардовский

Обнаружь меня в Нижнем Тагиле,
Нижнем Новгороде или в нижнем
Мире, в общей могиле,
Как в Помпеях, в обнимку с ближним.

Мы в иллюзиях zoom'а, teams'а
Приглашаем единство на дом,
И с тобою во всем разнимся,
Но в могилу ложимся рядом,

Как в Помпеях, в обнимку с ближним,
В нижнем мире, общей могиле,
Где мы хлеба любви не выжнем,
Да и выжать его могли ли?

Мы с тобой умираем втайне.
Кто нас видел? Не палачи ли?
И теперь наконец в офлайне
Это право мы получили —

Это пропуск к единству в гнили —
Без постылых марша и гимна
Обниматься в общей могиле
Не смиренно, так анонимно.

Я не ведал бороться, браться
За оружье, я строчка в смете.
Не дано мне другого братства,
Кроме этого братства в смерти.

* * *

Хочешь издеваться — издевайся.
Жизнь моя! Иль ты проснулась мной?
Нечто излучает из девайса
Звероватость музыки земной.

Хочешь раздаваться — раздавайся
Поровну, но остается слизь;
Звуковой вселенной раздувайся,
Лопайся и в пену воплотись.

Вот подросток. Он родился бритым
Розовым придатком калаша,
И не в рай — не попадает в ритм
Недомузыкальная душа.

Что ему такое выпадает,
Если он из ритма выпадает?
Или это только я так думаю,
Темпа не осилив, на беду мою?

Я стою, по-старчески покашливая,
Он мусолит прыщик над губой.
Может, эта дребедень неряшливая
По́длинне́е музыки любой?

Может, он услышал в шуме время,
Вот оно — заревано ревмя —
Машет, точно зверь над нами всеми,
Головами бритыми тремя.

Я же, ничего не понимая,
Музыки чужой не разберу,
Гость случайный, тварь глухонемая
На кровавом радостном пиру.

Пусть не за границей, но за гранью,
За чертой оконной и дверной
Пролечу весенней гулкой ранью,
Что твоя фанера над страной.

* * *

Вот и отпустили Вар-раввана,
Ухмылялась сумрачная чудь,
И Мария, точно воровала,
Воздух урывала по чуть-чуть.

Плачь, Мария, но не трать глагола,
Глотка перекручена, как жгут.
Нас насквозь прожег Савонарола,
И его, как водится, сожгут.

Ухмылялась сумрачная меря,
И рыдали в голос буржуа.
Кто сказал, что каждому — по вере?
Эта хохма до сих пор жива.

Плачь, Мария. Ты еще живая.
И в толпу юродивых не лезь.
Помнишь, как, ладони обжигая,
Ухмылялась сумрачная весь?

Мы привыкли к холоду и зною,
Нам опасно волю даровать.
Я другой такой страны не знаю,
Где так сладко воздух воровать.

МОРСКОЙ ПРОСПЕКТ

Во дворе на траву налетели шмели,
Зеленеет по-вешнему липа,
Мужики в продуктовом все пиво смели
И сидят, расслабляются типа.

И смолят под пивко, забивают козла —
Все матерые, с опытом шконок.
А меня сюда мама сейчас привезла,
Я ребенок, я даже не школьник.

Здесь был дом, и его аскетичный фасон
Отвечал коридорной системе,
Но теперь он снесен. Вообще это сон,
Это сон оккупирует темя.

Да, я все еще там, точно кто-то сковал,
И проклятью служу родовому.
Может быть, оттого я всю жизнь тосковал,
Что сословию чужд трудовому.

Это сон — так и думал, что я глюкану,
Как еще бы собой понимался?
Я спускаюсь в метро, ухожу в глубину
Там, где раньше наверх поднимался.

Настоящее детство лови задарма:
Плюс болезненность, минус плешивость.
Это мама еще не свернула с ума,
Не уехала, ног не лишилась.

Будто кто в электричке рванул рукоять:
Стоп-машина, и где же охрана?
И в пропавшем дворе продолжаю стоять,
Вот и детство не сходит с экрана.

А теперь на Морском почитают Коран,
Жизнь иная, но тоже чужая.
Я стою и смотрю, как во сне, на экран,
Не въезжая и не уезжая.

Виктор ПЕРЕГУДОВ

РАССКАЗЫ

ЛЕС

Был аллергический, но все равно сладостный полдень середины апреля, когда я открыл дверь на балкон и, опершись на холодные алюминиевые перила, стал жадно вглядываться в бледно-зеленый (но зеленее, чем он был накануне) подмосковный лес. Поляны и опушки уже освободились от снега, и на черной земле был четко виден ветвистый беловато-серый рисунок тропинок и дорожек. Графика смены времен года. Утоптанный до плотности льда снег на тропах все еще не сдавался солнцу и теплому атлантическому ветру, позавчера достигшему Центральной России. Я жадно дышал полной грудью старого курильщика.

В прежние времена Лиза, жена, обязательно крикнула бы мне: «Не простудись, Митя! Не кури там!» Но уже давно ее голос не доносится из теплых недр моей квартиры. Так давно, что и подумать страшно. Хотя это страх, конечно, условный. Развод был еще в прошлом веке, ближе к его концу. Кончился век, кончился брак. Кончился даже Советский Союз нерушимый. Прочного мало чего в этом мире. Ну, а Лиза, она теперь далеко, но все-таки, выходя на балкон, я всякий раз вспоминаю об этом ее восклицании. Оно мешает мне насладиться сигаретой, и это вызывает легкую досаду.

На расстоянии досаждаешь, Елизавета.

Тем апрельским днем я, любуясь лесом, не только не простудился, но даже не успел вдоволь надышаться, когда в комнате ожил компьютер. Меня вызывал по скайпу мой старинный, с невинных детских лет, друг Николай. Я перешел к рабочему столу и отозвался на вызов. Николай сидел у себя дома, то близоруко приближая лицо к компьютеру, то откачиваясь от него. Тогда мне становилось видно, что он никак не может сплести в замок пальцы трясущихся, в коричневых пятнах, с рельефными темными венами, рук. Мне почудилось, что я слышу потрескивание сухой пергаментной кожи. Я посмотрел на свои привычно лежащие на клавиатуре руки. Они тоже были в пятнах и перевиты сосудами, но сейчас не тряслись.

В лучшей, и долгой, поре Николая я помнил его свежим, вальяжным и едва заметно полноватым. Думаю, женщины, глядя на него, чувствовали волнующее удовольствие от его видной на глаз здоровой силы. Предполагаю, что они отмечали и лаковый блеск его прекрасно ухоженных ногтей. Драматург, по праву вхожий в артистическую среду, он перенял от театральных эту подчеркнутую заботу о внешнем впечатлении.

Меня это несколько раздражало.

Виктор Перегудов родился в 1949 году в городе Лиски Воронежской области. Окончил филологический факультет Воронежского университета, работал в воронежских, а с 1980 года в центральных изданиях, издательствах, на госслужбе. Автор книг «Великие сосны», «Сад золотой», «Окна и зеркала», «День и ночь любви» и других. Живет в Москве.

За спиной Николая я видел его кабинет с вросшими в пол книжными шкафами и приветливым диваном белорусской постройки. На стене висели выцветшие от времени афиши его спектаклей.

Прежде я всегда ждал, когда на экране появится Верочка, его жена. Она легко приобнимала Николая и, как бы отрицая возраст и болезни, грациозно махала мне раскрытой ладонью. Иногда, если хорошо ложился свет, на ее пальчике вспыхивал красной винной искрой рубин. Перстень, мой тайный подарок. Одно время я был, в качестве известного писателя, при хороших деньгах. Перстень не был банально куплен, нет, я его «достал» через серьезные связи. Он стоил очень даже много, но в деньгах ли счастье. Николаю она объяснила, что перстень прислал ей некий анонимный поклонник. Вроде бы, по ее догадкам, член неофициального, но зато элитарного клуба директоров лучших магазинов Москвы. Кажется, меценат.

С актрисами это случается. Не возвращать же! Да еще неизвестно кому.

Об этом я коротко вспоминал, пока Николай, приветственно кивнув мне головой, попросил подождать и вышел из кабинета. Вернулся он примерно через пять минут и показал мне тонкую красную пластиковую папку.

— Я, Митя, приготовил эту папку для тебя. И только для тебя. Сам решишь, что с ней делать. Здесь несколько фотографий и разрозненные страницы текста. Как бы письмо тебе. Некоторые размышления. Немного воспоминаний. Еще кое-что. Про нашу жизнь, про наше творчество. Про жен, про женщин, про любовь. Про лес и море. Про Верочку, царствие ей небесное, голубке моей. В общем, как подумать, пустяки. А думать мне осталось немного. Подожди, помолчи. Не дергайся даром. Ты меня зря не раздражай.

Мы немного помолчали, и он продолжил:

— Я тебе скажу, что так ничего в жизни и не понял. Вряд ли поймешь и ты. Поэтому давай выпьем коньяка. Есть у тебя?

Он поднял на меня глаза под лохматыми седыми бровями и, скажу так, вперил в меня свой взор. Это был тревожный, мучительный, безотрывный взгляд, который трудно описать. До сих пор его помню. В этом взгляде был вопрос без надежды на ответ. И я подумал, что Николай надумал выпить, чтобы заглушить боль в укушенном онкологией теле. Хотя какое это обезболивание. Так, ритуал.

Я взял бутылку коньяка, она у меня всегда на столе, наполнил серебряную рюмку, приподнял ее перед экраном. Николай усмехнулся:

— Так я тебя и не приучил, что коньяк добрые люди пьют из тюльпановидных сосудов. Ну, да ладно. Чокнемся, Митя.

Мы протянули, я рюмку, он бокал, к экранам наших компьютеров. Чокнулись и выпили. Он снова уставился на меня и сказал:

— Все про нее думаю. Ты Верочку не забыл? Я твою Елизавету хорошо помню.

— Верочку я не забыл, Николай, — ответил я.

В последний раз мы с Верочкой увиделись в их доме, когда узким кругом друзей обмывали, через три дня после официального банкета, ее Государственную премию. Николай, я это ясно видел, испытывал не слишком комфортное чувство то ли зависти, то ли ревности в связи с этой премией. Он-то не был лауреатом. Ему выпало всего лишь гордиться женой. Подвыпив, он даже высказался в том роде, что не в премиях счастье художника, а в его богоданном даровании.

Да, да, с тончайшей, едва уловимой иронией воскликнул тогда Костя Сумароков. Он сказал, что, являясь другом семьи и ценителем театрального искусства, именно так и соотносит премию и талант. Он действительно был другом их семьи и всей нашей

компании, но еще и отличным терапевтом, присматривающим за безалаберными творческими растратчиками здоровья.

Помню, в ту пору он по старой памяти, один на один, все еще полунасмешливо и по-мужски солидарно называл меня мобильным старым чертом. Терапевт, будто тонкий психолог, насквозь видел всех нас.

Но видел все-таки не все.

У меня, никакого теперь не мобильного, давным-давно была щедрая на ласку и любовь жена Елизавета Воскресенская. Звезда экрана и сцены. Творческая соперница талантливой Верочки. Они, впрочем, как будто даже дружили. Лиза, подстегнутая горем, вся «ушла в кино», где и прожила по-своему, наверное, счастливую, без меня, жизнь. Детей у нас не было, вот в чем дело. Два ребеночка собирались родиться, но не смогли. У Лизы, при страстном желании, не получилось их родить. Она замкнулась и возненавидела меня. Психологи с психиатрами ничем ей не помогли. Кино ее спасло. Она стала играть с какой-то очевидной безуминкой в огромных глазах, на тонком нерве, с женским отчаянием, со стервозинкой. Это нравилось режиссерам, зрителям, критикам и ведущим идиотских телешоу, где норовили довести ее до истерики и до ликующего крика ведущей «Врача в студию!».

И вызывали ведь, потому что она бешеную истерику не играла.

Лиза часто изменяла мне еще до сломавшей ее мучительной, страшной неудачи с не добравшимися до рождения детьми, но тогда эти мимолетные забавы ее красивого тела меня хотя и ранили, и даже пару раз ей от меня хорошо доставалось, но до развода дело не доходило. Отчасти потому, что и я не был ей верен, и не только в отместку за ее вспышки страсти в актерских вагончиках на киносъемке или в гостинице после гастрольной премьеры, а на той понятной и лестной мужчинам основе, что мы, дескать, полигамны, а женщины должны быть моногамными. И значит, джентльмену и погулять не в укор, не то что замужней леди. Да к тому же я чувствовал хотя и оскорбленное, но все же утешительное для меня моральное превосходство над порочной Лизой. Я ведь ее прощал. Привилегия прощать — из ценных в ряду привилегий.

Измены такого темперамента актрис случаются как бы на сцене, и, подозреваю, они тем подсознательно искусительнее, чем больше людей о них знают. Это как пройтись в сногсшибательном платье по красной фестивальной дорожке. Или прогуляться по многолюдной аллее летнего парка, когда на тебя оглядываются, радостно тебя узнают и горячо просят о селфи с тобой. А измены писателей, к сословию которых я принадлежу, происходят как бы в темном лесу, под сенью древ, в сокровенном уединении. Да ведь и творчество наше есть дело уединенное. Не каждый из нас, как Хемингуэй, пишет в баре, попивая кубинский ром, после чего для прилива вдохновения доводит до сладкого неистовства младую мулатку.

На развод подала Елизавета. Я за нее не боролся, потому что нас ничто уже не связывало. И как ни странно, я не грустил об этом.

Я скорбел.

У меня не было, нет и не будет ни одного ребенка. Никто не продолжит мой род. Когда я умру, на земле не останется ни одного атома меня, ни одной паутинки, которая бы тянулась в живой мир из моей загробной вечности.

Сейчас мы, одинокие старик и старуха, даже не созваниваемся. Говорят, у супругов в старости срастаются биополя. Муж и жена одинаково болеют, в унисон мыслят, смотрят одни передачи. Разве что она любит сладкое, а он соленое. У нас ничего этого не случилось. Наш брак не дожил до старости.

Николаю, который смотрел на меня, когда я коротко обо всем этом задумался, повезло больше: у него была от Верочки дочь. Прекрасная Серафима. Но Верочка рано ушла из жизни.

— Ты о чем там молчишь, Митька? — спросил Николай.

Я врать не стал:

— Да вспомнил, как мы Верочкину премию у вас обмывали. Наших жен вспомнил. Как Костя Сумароков с ними танцевал по очереди. Как они ему в водевильной манере в любви объяснялись, а он не мог выбрать единственную. Как звонил знакомому генералу, чтобы тот прислал ему точный пистолет, надо срочно застрелиться. Выбрать женщину себе не может, в этом трагедия.

— Помню. Ходок он, наш веселый Сумароков. Как и все мы.

И то правда, хотя все не так просто. У меня после облегчившего душу развода и долго, пока кровь играла, были два прерывистых романа с красивыми незамужними творческими женщинами. Они не претендовали на меня как на гипотетического мужа. Терапевт Сумароков мне завидовал, потому что ему актрисы, эти очаровательные нервные создания, были недоступны, равно как и благородные сердцем, и (он так почему-то считал) физически порочные поэтессы. Я любил (а ему нравилось слушать) цитировать строфу его однофамильца старинного поэта Александра Сумарокова:

Сколько на небе звезд ясных,
Столько девок есть прекрасных.
Вить не впрямь об вас вздыхают,
Все один обман.

Мне тогда хотелось подтрунить над его якобы романтическим сластолюбием, потому что он, опираясь на романтику, был все-таки настойчивый практик, если не сказать коллекционер.

Я говорил ему, мол, Костя, ты любить не можешь. Он отвечал в том роде, что я, якобы типа известный писатель, написал рассказов и повестей примерно в сорок раз меньше, чем он реализовал романов, увлечений и внезапных вспышек страсти. Костя, убеждал я его, это тот случай, когда количество уничтожает качество.

— Ты, Митя, вижу, по-стариковски провалился в воспоминания, — сказал Николай, и я вернулся в реальность нашей беседы. — Вспомнить, правда, есть что. Поэтому давай, прозаический друг мой, повторно накатим коньячку. Только подожди минуту, я шоколадку возьму.

Трясущимися руками он распечатал плитку шоколада. Мы чокнулись и выпили.

— А ты, мой драматург, ночами сейчас спишь? — спросил я.

— По-разному бывает.

Он надолго замолчал. Тоже, как я только что, удалился в себя. Я ждал.

— Если Серафима ночует у меня, — снова заговорил Николай, — то я сплю до утра беспросыпно и без снов. А когда она остается у себя, я мало сплю. Да мне много и не надо. Да, чуть не забыл. Не показывай ничего Сумарокову из этой папки. Не хочу. Обещай.

Я обещал. Николай сказал, что Бог троицу любит, поэтому мы выпили еще раз, но каждый из нас только пригубил — он тюльпанный бокал, а я серебряную рюмку.

Потом Николай сказал мне, что уже устал, ему надо прилечь и что он курьером пришлет мне свою рукопись, а я прочитаю ее после его смерти. И только после смерти, потом, и лучше попозже. А потом я могу ее выбросить, что, подчеркнул он, скорее все-

го и случится. В загробном мире он жалеть об этом не станет. Или сделай с ней вообще что хочешь — вот что он сказал. Без аффектации. Он говорил долго, отвлекаясь, часто замолкая, а напоследок помахал мне рукой и вышел из скайпа.

Через два часа приехал курьер с красной папкой, в которой был запечатанный конверт формата А4. Я дал курьеру сто рублей на чай и положил конверт, не заглянув в него, в нижний ящик левой тумбы письменного стола.

Торопиться было бы грех и обман. Даже, может быть, подлость, потому что мало ли что там было написано. Да еще я подумал, что если я сейчас прочитаю рукопись, то Николай раньше срока... ну, понятно.

Мы были ровесники, я осеннего, он зимнего, одного года, призыва в жизнь. Мы учились в одном классе школы-восьмилетки, единственной в нашем довольно большом поселке. Считалось, что мы друзья не разлей вода.

Он был талантливее меня. Я это всегда знал, и я ему не завидовал. Я уверил себя в этом, потому что догадался, что любой человек должен иногда запираться в невидимой умозрительной клетке, чтобы не броситься на лучшего друга с кулаками. Я мог бы броситься на Николая, и не раз. Мог, но не мог.

А он не только мог, но и бросался. Я до сих пор считаю, что дружба — это не согласный союз, а взаимозаинтересованный духовный конфликт сторон. Но тут хочу отдельно заметить, что подлинную причину нашей однажды случившейся, на людях, стычки в ресторане, когда он меня ударил по лицу, я понял гораздо позднее. А тогда все списалось на излишнее коньячное усердие Николая, а моя постепенно поблекшая обида прикрылась кратким обобщающим «Все бывает».

Бывает.

Дело не в том, что я был флегма, а он, иногда, реактивный холерик. Все это в итоговой фазе уравновешивается до неразличимости.

Когда я закрыл дверь за курьером, то, еще раз подчеркну это, отложил рукопись Николая в долгий ящик. Не колеблясь. Весной я болен, как писал Пушкин. Стихи пишу, не смейтесь. Папка должна тихо лежать до назначенного рубежа, подумал я, проводив быстрокрылого курьера.

Каждый писатель сам себе редактор и даже цензор, в том числе и по жизни. У нас есть дар контроля над собой. Без этого, кстати, невозможно работать в прозе. Есть чувство меры, стиля и такта по отношению к жизни — нашей главной героине. Но кое-что из реальности не монтируется в логику этого вот моего текста, поэтому я не напишу подробно о причинах сильнейшего на самом деле желания сразу же открыть красную папку. Я этого не сделал.

А когда мы проводили Николая на Троекуровское кладбище, когда над его могилой был поставлен, ближе к Верочкиному надгробию, временный деревянный крест, когда помянули Николая в хорошем ресторане на первом этаже их сталинского лауреатского дома, вот тогда только, и не сразу, а через три дня, я открыл красную папку.

В ней были старые и недавние фотографии и тоненькая стопка листов, исписанных дрожащей рукой. На каждом листе помещался небольшой фрагмент текста, фрагменты были пронумерованы классическими римскими цифрами. Что ж, краткость — сестра драматурга, а римская нумерация придавала тексту академичность.

Что там было написано, на последнем листе, мы, любезный читатель, узнаем ближе к концу этого моего повествования. Я тогда как молотком по голове получил, я даже за сердце схватился, и я отупел, и я плакал, и смеялся сквозь слезы. И я, мне кажется, немного все же понял то, в непонимании чего мне признался Николай.

Жизнь. Понимаете ли вы, например, ее? Нет?

Что ж, так даже интереснее и жизнь жить, и вспоминать о жизни. В двух этих занятиях не надо торопиться, хочу я сказать, отступая в моем рассказе назад по шкале времени и погружаясь в некоторые подробности.

Когда мы говорили по скайпу, мне вспомнился пылкий терапевт Сумароков. Костя. Все реже мы видимся. Он, как я и как до самого конца Николай, много уже лет холостяк. Жена от него давным-давно ушла. К мускулистому окулисту. И мужские обороты он давно уже и навсегда сбросил. Но подозреваю, хочет еще раз жениться. Это понятно без лишних слов и у женщин, и у мужчин. Не понимаю только зачем. Воды подать на старости. Не знаю. Ко мне через день заходит, хотя не обязана посещать так часто, женщина из социальной службы. Галя. На ней, добровольно, аптека и магазин, иногда она что-то готовит, хотя я обычно заказываю еду из сетевого магазина, а иной раз стряпаю сам, как умею. Гале только что сровнялось сорок, и она все еще довольно привлекательна, но это оружие против меня не использует. Правда, однажды взялась, переломившись в талии, мыть полы. При мне. Ни о чем таком она беседы не заводит. Я ей приплачиваю, берет, деньги нужны, у нее двое, сын и дочь, ипотека. Она не жалуется, в душу не лезет, душу не открывает. Она ждет, терпеливо, упорно, молча, когда я подпишу ей квартиру. Больше некому ведь, как она считает.

А мне есть кому ее оставить. Дочь Верочки Серафима живет на свете.

Верочка. Я, превозмогая старческое бессилие, которое для себя называю обычной усталостью, смог проводить ее в последний путь на Троекуровское кладбище, где прах ее был упокоен на аллее актерских могил. Диагноз не назову, скажу лишь, что она до конца оставалась красивой. Я после прощания вышел на воздух, стоял с непокрытой головой. Когда гроб выносили из театра, раздались трагические аплодисменты. Шел снег пополам с ледяным дождем, но люди у театрального подъезда в Камергерском переулке ждали и не расходились. Театральная старушка, хорошо, как вчера виделись, помнившая Раневскую, плакала и прятала напудренное добела лицо в лысеющую лису воротника. Жалко было Николая и Серафиму. На моем лице смешивались слезы и влага растаявших снежинок.

Вдоль Камергерского переулка, от Тверской на Большую Дмитровку, низко и тяжело пролетела стая мокрых черных голубей.

Кем была для меня Верочка когда-то давно, в замужестве, Николай не знал. Не думаю, что даже догадывался. Она ему не сказала, не говорил, уж конечно, и я. Обрушить на старика ревность к прошлому — это выше моих сил. Да и зачем? Все это окончательно отгорело.

На свете у него осталась Серафима. В свои уже не юные, но даже не начально бальзаковские годы она прекрасна. При ней и красота лица, и головокружительная стать, и особая женская способность замечательно уютно налаживать вокруг себя обстоятельства и материал жизни. Этот талант ни одному мужчине по-настоящему не свойствен. Среди нас встречаются, и нередко, педанты, у которых «все на месте», но педантизм сковывает их по рукам и ногам. По сердцу и по разуму. А Серафима ласкала окружающую житейскую среду. И среда благодарно мурлыкала от удовольствия. Но это был, так сказать, первый слой. Глубже — ждущая счастья душа. Пишу об этом высоким штилем, чтобы не допустить даже тени двусмысленности. Чтобы никто не догадался, что я в нее влюблен.

А я в нее возвышенно влюблен. Платонически. Так мужчина любит ту женщину, которая похожа на его любимую музыку. У меня это барокко.

Она в разводе уже больше трех лет. Проворный муж погнался на длинной, черной, как катафалк, машине за барышней моложе Серафимы. Юница держала его в незавидном статусе «папика». Николай говорил мне об этом, едко насмехаясь над бывшим

зятем. Николай звал разлучницу нимфеткой, я про себя называл Серафиму феей. Нимфетка — это нисходящее прозвание нимфы, а у феи никакого такого нисходящего определения нет. И быть не может.

Всего два раза за все наши прежде частые встречи у отца о ветреном предателе упомянула и Серафима.

Она подала на развод, не найдя ни сил, ни малейшего желания вторично заполучить своего недоолигарха, и вернулась под отчий отцовский кров. Было у нее и свое благоприобретенное небольшое гнездышко. Но Серафима, надо заметить, одна не была, хотя никогда нам таинственного «его» не показывала.

О том, что он есть, я догадался, не имея к тому ни единого доказательства. Уверенно почувствовал. Мужская интуиция в таких случаях столь же обостренно проницательна, как и женская. Не знаю, голос изменился у нее, наверное. И она стала держать себя внешне более собранно и исподволь, неспециально же она это делала, подсознательно маняще. Не передо мной, ха-ха. Для себя, которую видят и которая знает, что на нее смотрят мужчины. При таком понимании у старушек спины распрямляются.

Старики — это самые утонченные ценители женской красоты. Лишенные возможности ею непосредственно наслаждаться, мы ею восхищаемся даже до тайного восторга.

На круг получается, что в то время у меня, Николая, Серафимы и Кости Сумарокова не было законной второй половины. Может быть, что именно по этой причине мы все были по-разному, но крепко привязаны друг к другу. Лиза держалась от нашей компании крайне далеко.

Больше всего я раньше, застольно или просто под чай, общался с Николаем. Наши разговоры были продолжительными по той дополнительной и едва ли не комической на первый взгляд причине, что между нами несколько лет шел один довольнотаки странный спор. Мы в нем завязли, то сближая позиции, то расходясь для передышки. Мы о нем, не сговариваясь, своим не говорили. Не хотелось порождать мысли о диковатом стариковском чудачестве испытанных друзей.

А как иначе обозначить суть спора, если мы отстаивали два, так сказать, постулата о любви. Я был до фанатического даже возбуждения убежден в том, что суть любви лучше всего метафорически воплощает лес. Николай всеми силами доказывал мне, что гораздо лучше это делают море и горы.

Не дураки ли, не маразматики? Нет. Это ведь был литературный спор. У нас в России, замечу, вся жизнь литературная. О каждом человеке можно написать роман, пьесу, повесть, не говоря уж о сильном рассказе, и в любом произведении, если у автора есть талант, будет и красота жизни, и про любовь, и про грехи. В некоторых и про Бога. Да и просто совсем даже заурядная, блеклых тонов, жизнь любого русского человека имеет, как минимум, замысловато закрученный внутренний сюжет. Государство, что ли, у нас такое или климат, не пойму даже.

Возможно, это относится к любому жизненно неяркому человеку любого народа. Этого не знаю. Не эксперт. Я родину люблю, хотя, может быть, странною любовью. Какой умею. На развод не подам.

Наш спор по обозначенным причинам оснащался, естественно и неизбежно, литературными реминисценциями и опорой на прямые цитаты. Опровергая морскую теорию Николая, я сочинил ироническое стихотворение с явным намеком на зряшность его потуг считать море метафорой любви. Я написал вот что:

В глубинах мрачных океана умело плавает акула.
Когда-то, поздно или рано, ты, Коля, упадешь со стула.

Орел крылом озон волнует и пенит облако сырое.
Устойчивость твоя на стуле да пусть пребудет век с тобою.
Вот альбатрос ветрами движим,
Вот дым пускает пароход.
На стуле сидя, ясно ль видишь
Ты гад морских любовный ход?

А помимо стихов я говорил Николаю, что море соленое. А что такое соленая вода? Да, слезы. Но любовь, хотя и прибегает иногда к слезам, не состоит из слез.

На самом деле, помимо споров забавы ради, окрестный и дальний мир был для нас все еще таинственно прелестен и нежно и остро любим. Увы, невзаимно. Как если бы он был красивой молодой женщиной. Сусанной. А мы понятно кем, не хочется даже писать.

О, господа, вы не знаете, как хочет любить старость. И лучше вам не знать. Но это к слову.

В мире все еще было много лесов, морей и гор — вот что нас крайне радовало. Ну, в каждой избушке свои игрушки. Мы наслаждались лесами и борами, ласково снисходили до опушек и перелесков, восхищались корабельными рощами, уважительно отзывались о лесополосах, радостно примечали цветущие кустарники, млели над купами и кущами, не забывали умилиться видом на холме среди равнины четы белеющих берез. Я уж молчу о джунглях, о секвойях, кипарисах, кофейных, пробковых и хлебных деревьях и о прочей лесной экзотике. Из излюбленного у меня войлочная и, в особенности, дикая вишня. Вкус! Вы не знаете вкуса дикой вишни! А я знаю.

А есть еще Альба Плена! Каково?

Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!

Бунин воспринимал природу чувственно, почему и был изощренным певцом лесной палитры, что особенно ярко проявлено в его «Листопаде». Перечитывая бунинский перевод поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате», я увидел эту желтую кору. Рассматривая ее зорким внутренним взглядом, я обнаружил, что она не совсем бело-желтая, а отливает розовым тоном. Желтой, вернее, едва заметно просвечивающей старым золотом она бывает ближе к вечеру, когда солнце, оставляя бездонный лазурный зенит, движется к западу неба.

Увы, я ни разу в жизни не видел бамбук диких лесов Сахалина, хотя и шел однажды мимо Сахалина на судне «Байкал» послевоенной немецкой постройки. Мне мечталось сойти на некогда каторжный берег, под его черные утесы, и просто постоять у кромки прибоя и подумать о Чехове. Чехов любил сады...

А бамбук диких лесов Сахалина есть второе по редкостности дерево России, наиболее же редкое дерево нашей земли — это фисташка.

Бамбук Сахалина всего девять лет живет в суровых условиях.

Я, однако, увлекся. Под сень лесов ушел.

Спор-то был хороший, из редких, но на самом деле это была интересная для нас модель конфликта, лучше сказать, сменяемый модуль, который можно насыщать разным содержанием. По поводу нашей обоюдной упертости в предпочтениях метафор любви я сочинил нечто в рифму.

Николай прочитал и подтвердил, что так именно оно и есть.

Желая щегольнуть старинным словом,
Поэт мне заявил, что нынче хлад.
Нет, нынче мраз, поправил я сурово,
Но он моей поправке не был рад.
Красавица тут проходила мимо,
Рукой с перстнями придержав вуаль.
Взглянув ей вслед, воскликнул я: Фемина!
Поэт же дико взвизгнул: Этуаль!
Года бегут вперед неудержимо,
Мы десять раз сменили календарь.
Как встретимся, бросаю я: Фемина.
А он шипит в ответ мне: Этуаль!

Смех смехом, а дело в том, полагаю, что мы, писатель и драматург, в связи с возрастом утратили живые связи с реальностью. Ушли в литературно-растительно-горно-морской спор. Оторвались от жизни. Вернее, это она, быстроногая, летящая, стремительная, трагическая, смешная и божественно прелестная, оторвалась от нас, у которых руки тряслись от старости. Оставалась нам, значит, безответная природа.

Горы вот взять. Мое знакомство с большими горами ограничилось лицезрением с далекого равнинного расстояния розовой на утренней заре пирамидки Эльбруса.

Зачем на земле горы? Прихожу к выводу, что для вулканов, селей, камнепадов и снежных лавин. Это все вещи неприятные. Но все сущее необходимо, нужны, значит, и горы. Эверест, например, стал самым высокогорным на земле местом гибели не то безумных, не то героических альпинистов. Они лежат там, как льдинки, и их никто не может оттуда забрать. Они навек со своей огромной холодной любовью.

Надо ли говорить о нашей, кроме споров, шуток и иронии, любви к океанам и морям, большим и малым рекам, озерам, водохранилищам, ручьям и веселым лужицам? К водопадам тоже. Полагаю, что не надо, это все всякий любит.

Любили ли мы говорить о политике?

Лишний вопрос. Да, говорили и спорили, доходя всякий раз до точки кипения, но ни разу не опустившись до взаимных оскорблений. Разве что мысленно. Мысленно я один раз хотел Колю к стенке поставить. Ужаснулся даже тому, что эта идея тенью мелькнула в подсознании. Подсознание нас, значит, предостерегает, а от чего, это каждый о себе знает.

Я умолчал о женщинах, потому что эта тема очень редко и скупо нами затрагивалась.

Мы не успели в этой жизни договорить. Ни о чем мы с тобой не доспорили, Николай.

Когда его не стало, я понял, что наши разговоры были творчеством. А творчество — это восхищение жизнью.

Теперь, после его смерти, у меня есть возможность ответить Николаю. Я живой.

I. Николай

Митя, ты читаешь мою рукопись, когда меня уже нет. Письмо, так сказать, из прошлого. Все происходящее с тобой тоже станет прошлым. У тебя, друг мой Дмитрий Михайлович, есть возможность еще сколько-то лет наблюдать этот процесс. Ты никогда не был, жердина, румяным толстячком. И правильно, дольше проживешь. Завидую тебе, Митька! Больше полжизни мы с тобой трудились по кабинетам, я потяжелел до того, что сердцу стало плохо, а ты бодрячком.

Митя, прости меня.

И за то, что обременил тебя этой писаниной, и за что-то гораздо более серьезное, о чем скоро узнаешь. Только прошу, Бога ради, не бросайся торопливо перелистывать эти мои листочки, чтобы понять, что кроется за моими словами. Успеется.

Если бы я писал тебе из загробного мира, то я написал бы, что здесь тишина. Может, я устал жить. Не знаю. Тишина. Тишина. Тишина.

Митя, прости меня. Прости. Прости.

Не заглядывай в конец рукописи. Всему свое время.

Почему это вот, что ты сейчас читаешь, я начал писать? Наверняка хочешь спросить. Но ведь тебе известна эта тяга. Все, что мы пишем, есть нужное нам самооправдание перед Богом или совестью, что в определенном смысле одно и то же. Славим мы или проклинаем, мы в любом случае выгораживаем себя: вот, Господи, видишь, я заклеймил порок. Я, запомни. Господи, хороший, моральный человек.

А по жизни, Митя, мы часто грешники. И даже иной раз подлецы. Ну, ты знаешь, каков наш брат в жизни. Впрочем, о чем я. Я драматург, ты писатель. Звучит пышно, но пусто. И не нам с тобой корить друг друга.

Ладно. Не в этом дело. Я пишу от бессонницы. Начал писать только по этой причине. Вернее, записывать свои мысли. Что им пропадать, а так хоть ты вот прочитаешь.

Я постепенно расписался. Вошел во вкус. Я расчехлился.

При этом я уверен, что ни один писатель в мире никогда честно о себе не писал. Честность — это все до конца написать. А у каждого есть то, что он хочет спрятать от Бога.

Показывать или нет эту рукопись одному хорошо тебе известному человеку, это ты сам решай. Про какого человека речь, понять тебе будет нетрудно.

А может, мучительно трудно.

На этом пока ставлю точку. Точка!

Я прочитал это и задумался. Я был убежден, что ничего такого нового я о Николае все равно не узнаю, когда дочитаю рукопись до конца. Он прожил жизнь как порядочный человек, какие уж там тайны. Не было лишь понимания у меня, кто этот «один человек», которому я буду или не буду показывать рукопись. Что ж, Николай умел удивлять, интриговать, озадачивать и ставить в тупик. Драматург, что ни говори. Завязка, кульминация, финал. Но тут, как говаривали в старину, «пришло въ тупикъ, что некуда ступить».

Я очень хорошо знаю, что старики о себе и вообще о жизни пишут двумя способами: либо неуклонно следуя хронологии, где зарубки дат мерно отмечают главные события прожитого, либо воспаряя в уксусное, с высших позиций, обличение всего и вся.

Что выбрал для себя Николай?

Коля, Николай, Николай Сергеевич. Кто ты на самом деле для меня, ты, сын Сергея и Насти, муж Верочки, отец Серафимы прекрасной. Ты друг? Ты друг. Но друг — это и суть человека по отношению к другому человеку, и социальная функция, и иногда зеркало. Друг — это редкость. Настоящих друзей не бывает больше, чем любимых, за всю жизнь, женщин.

Почему ты сразу не написал о главном?

Тебе легко там, в тишине, а как мне быть?

Я сейчас подойду к окну и посмотрю на лес. Он внизу. Ты, Николай, в нем не раз бывал. Сейчас апрель. Лес совсем недавно, дни назад, был коричневым, земля под ним черной, напитанной талой водой, а сейчас она покрыта молодой, молоденькой травой, а лес тоже начинает быстро, с радостью, зеленеть.

И вот что. Я пишу этот мой комментарий тебе, Николай. Ты поклонник теории ноосферы и учения философа-космиста Федорова. Значит, ты ТАМ читаешь все это. А пом-

нишь, как взъярился Севрук из ЦК партии, когда в восемьдесят втором году, при жизни Брежнева, вдруг издали книгу сочинений Николая Федорова. Чуть издательство не разогнали.

Так получается, что и Севрук, согласно учению русского космиста, читает онлайн твой текст и мои комментарии.

II. Николай

Вот что я, Митя, вспомнил: библиотеку! Помню осень, день, обдуваемый свежим, но еще теплым ветерком. Мама сказала, что мы пойдем в библиотеку через лес.

— Настя! Через лес?

Она улыбнулась, потому что ей очень нравилось, когда я называл ее Настя. Как мой папа Сергей. Я себя помню лет так с пяти. Вот как раз в июле пятого года моей жизни отец с матерью ездили в совхоз в гости к друзьям их студенческой эпохи. Там, в молодом саду рачительных агронома и зоотехника, я впервые увидел на ветках деревьев яблоки и груши. Я не знал, что это сад, я думал, что это лес. И я ярко представлял себе лес как изобильный сад. Я настоящего леса тогда не видел. Я думал, что сейчас приду с Настей именно в такой, только очень большой сад. Мы прошли через весь поселок и по полевой тропе двинулись к лесу. Ты ведь помнишь ее, Митя.

Я закрыл красную папку. Я отлично помню эту тропу, Николай. Но я раньше тебя увидел настоящий лес. Мы с отцом шли вдоль реки, и лес приближался и делался выше. Когда мы очутились под его сенью, меня поразил чудесный состав видов, красок, звуков и запахов, которые я различал куда тоньше и в гораздо большем количестве, чем отец. Я раз и навсегда полюбил и порхающих бабочек, и зависающих в трепетном полете, искристо посверкивающих крыльями стрекоз, и кропотливых, в черно-желтую полоску, пчел.

Мы любили наши леса. Один из них был сосновый бор. Второй был смешанный лес. Третий лес был на правом берегу Дона. Тоже смешанный, там обильно росла черемуха. Любовь к лесу насыщала мою жизнь чем-то вроде видений наяву и едва ли не галлюцинациями, сопровождающими плавный, но быстрый переход ко сну после того, как из моих рук падала книга. Постепенно настало, после «Лесной газеты» Виталия Бианки, время Тургенева. «Темные аллеи» Бунина библиотекарша мне не давала. Эту книгу я сам выбрал на полке, по названию.

Да, забыл. У нас между поселком и районным центром была настоящая полупустыня. Огромных размеров территория серо-желтого песка, поросшая редким ивняком, колючками перекати-поля и в ветреную погоду подернутая небольшими, но совершенно настоящими барханчиками. Помнишь, как мы, когда начинался ветер, бежали в эту пустыню и, втыкая в песок розово-зеленые ивовые палочки, смотрели, как движутся барханчики. За ними, воображали мы, сине-зеленое море. А в море, у берега, плавают красивые смелые девушки. Помнишь?

Но стоп. Тут стоп. Про смелых девушек я присочинил. Восьмилетний мальчик так думать не мог. Речь ведь об особой смелости.

Ладно, увлекся. Мы еще вернемся в пустыню нашего детства.

III. Николай

«Как о воде протекшей будешь вспоминать...» Это из Книги Иова. Вот, Митя, я пишу тебе и думаю, что непременно ты будешь вспоминать, напрямую или по ассоциации, многое из того, что мы переживали вместе или параллельно. Как о воде протекшей...

Митька! Я изрядно коньяка принял. С мысли сбился. Сидел на диване и смотрел на свои афиши. Хмель усиливает оптику души. Я вспоминал. Нет, разве я не был хорошим драматургом? Ты прочитай последнюю страницу. Разрешаю. Может, мне на том свете легче станет. Но ты, Митя, гордый, ты этого не сделаешь. Но наигранная гордость, только без обид, Митя, выглядит глуповатой. Замещающей что-то гораздо более важное...

Знай, Митя, что я самый счастливый и самый несчастный человек на свете. Такое редко, но бывает.

Николай, ты самый счастливый и самый несчастный человек... Кто знает, кто знает. Я, вспоминая свою жизнь, тоже могу назвать тебя самым счастливым и самым несчастным. Но я хочу предварить мой тебе ответ одним воспоминанием. Если бы мы разговаривали вживую, ты бы удивился, почему я об этом вспоминаю. Сейчас объясню. Помнишь, Коля, как нас принимали в комсомол, когда нам исполнилось четырнадцать? Комсомольские билеты нашему классу вручали в райцентре. В райкоме. Из окон комсомольского секретаря виден был ближний, темно-зеленый лес, почти черный, по случаю нагона сильным северным ветром непроницаемых ливневых туч.

Секретарь предложил нам организовать общешкольную инициативу сажать сосны на диких песках! В те времена такие полезные затеи были популярны. Я, юный энтузиаст, тогда воскликнул: лучше яблоневый сад!

А секретарь усмехнулся: скажи еще, вишневый. Зачем, он сказал, сад выращивать, за ним круглый год профессионально ухаживать надо. Зимой зайцы кору сгрызут. А сосны сами растут по сто лет. Картину Шишкина знаете? — он спросил. А песок наш надо закрепить, чтобы он не расползался на половину района. Сады садоводам, леса комсомольцам!

Я, Николай, хочу поехать туда, домой, я там ведь сто лет не был. Хочу увидеть эти сосны. Им теперь за шестьдесят. У них на закате медные стволы, как пишут плохие писатели. Но у сосновой коры на закате, во-первых, быстро меняется цвет, а во-вторых, он не красно-медный, а куда многокрасочнее. Там и золотцем тронуто, и бронзочкой, и латунью, и есть еще на молодой коре и даже на старой зеленые и даже не слишком бледные крапины и пятна.

Сейчас, Николай, на Москву весенний снег идет — снежинки большие, как вишневый цвет. И падают они быстро, почти отвесно. Грустная картина, но все же — хорошо это — снег с неба. Белый он. Поднять к небу лицо и не закрывать глаза. И пойдет влага по лицу, а она соленая, знай смаргивай. Это я про нынешнюю мою прогулку. На набережной был, под Китай-городом.

Так вот, лес. Николай, я, когда читаю твои странички и когда, как сейчас, что-то пишу в связи с прочитанным, то я очень тревожусь. Бесконтрольно волнуюсь. Ты невольно меня привел в душевное возбуждение. Вот руки у меня трясутся, пальцы мимо букв попадают. Есть, конечно, одно средство. Запретное, но я пренебрегу запретом. Я ведь сейчас полечу поверх барьеров. Только вот рюмку приму.

Вот. Отпустило. Пишу.

Николай, давно, много лет назад ко мне, предварительно позвонив, пришла Верочка. Она знала, что Лиза на гастролях в Красноярске, далеко. Она знала, женщины это всегда знают, что я в нее влюблен самой настоящей, тяжелой, безысходной, мучающей любовью. Она не давала мне знать, что догадывается об этой моей любви. Но я что-то чувствовал, перехватывая иногда ее быстрый тайный взгляд.

Она позвонила, сказала, что зайдет ко мне. Сказать, что это было неожиданно, это ничего не сказать. Я сначала застыл, потом забегал по квартире, заглянул в хо-

лодильник, там была водка, а в баре красное вино, коньяк. Конфеты у меня были. Сок какой-то.

Она пришла, я помог снять плащик, повесил его заботливо в шкаф. Она была как бы немного сонная, как будто крайне сосредоточенная на чем-то своем. Я подумал, что она хочет что-то рассказать мне о тебе, Николай. Может быть, о твоей измене, мало ли. А может, даже о разводе. Но это были ошибочные мысли. Верочка долго молчала, потом сказала:

— Иди в ванную, набери ванну, я хочу принять ванну, что тут странного. Я пойду принимать ванну, а ты, ты, Митя, ты, дорогой мой, хороший, ты раздевайся и приходи ко мне в ванную. Но сначала постель расстели.

Я не могу описать, что я почувствовал. Я сидел, ничего не говоря, потом пошел и приготовил ванну. Вернулся в комнату. Сказал, что ванна готова. Верочка встала и ушла в ванную.

Я пошел в спальню. Постелил новую простыню.

Разделся и вошел в ванную горячую комнату.

Все у нас было до безумия горячо и в ванной, и в спальне, куда я на руках принес Верочку. Это было так, как не может быть. Но это было.

Когда мы прощались (я вызвал ей такси, проводить ее она не разрешила), она сказала мне, что будет приходить ко мне. Потому что я вижу, что ты меня любишь, а любовь — такой груз, который может сердце раздавить, так она сказала.

И она приходила ко мне. Это было одиннадцать раз.

Потом она сделала большой перерыв, я уже и не надеялся на новое свидание, и она по телефону сказала, что забеременела от мужа, от тебя, Николай, а наша любовь пусть будет в глубине души и мы никогда больше не ляжем вместе.

Я вот я ее люблю, но ее нет, и вот я тебе пишу, но тебя нет.

У тебя осталась на земле Серафима.

Прости меня.

...Я написал все это, выключил компьютер, подошел к окну. Было полнолуние, но небо затянуло облаками. «Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные глядела...» — лучше, конечно, не скажешь.

Я лег в постель, смотрел через высокое окно на неясно светлеющий круг на облачном поле и потом понял, что смотрю долго, потому что этот круг сместился в раме большого окна с правого края на левый. Он как будто протопил тучи, и луна засияла освобожденным серебряным светом, и в этом свете нежился мой город. Мои города. И Москва, и наш райцентр, вобравший в себя поселок моего детства, и, наверное, Красноярск, где была когда-то на гастролях моя жена Елизавета Вознесенская.

Под лунным светом фосфоресцировала и та полупустыня, которую мы в юности засадили тысячами сосен. Они теперь выросли и стали, все вместе, сосновым бором.

Под луной он черный как уголь.

Я не знал, в окно какого из жилищ Серафимы светит серебряная луна. Это не мое дело думать об этом. Не мое.

...После этой записи я стал каменно спокоен и даже ко всему равнодушен. Листочки Николая я не тревожил, фотографии просмотрел только через неделю, и они ничего для моей памяти не прибавили, многие из них были и у меня.

Я съездил на Троекуровское, положил два букета на две могилы, смахнул рукой без перчатки капли холодной воды с гранитных памятников Верочки и Николая.

Простился.

Дома открыл красную папку, взял, миновав предыдущие, последний лист рукописи Николая. Он был обозначен римской семеркой.

VII. Николай

Вот, Митя, ты и дошел до седьмой страницы моего послания. Сломал седьмую печать. Поскольку тихой тенью только что прошел намек на Библию, то скажу тебе, что утешения моему горю я, перечитав ее, не нашел. Но подумал, что, может, что-то пропустил. Пошел в церковь на Ярославском шоссе, мы с Верочкой ездили мимо нее на дачу, вернее, возвращаясь с дачи. Она на нечетной стороне Ярославки. Потом мы эту тебе известную дачу продали, потому что у самих сил ездить не стало, надоело, а Верочке она была не нужна. Деньги пригодились, когда мы ей двушку покупали. Вот я пошел в эту церковь, причастился, исповедовался. Не отпустило, видно, в вере я слаб. На другой день попросил священника помочь мне в моем желании обрести духовное облегчение. Рассказал ему о моей беде. И он, представь себе, нашел помощь. Хотя в Библии много сказано о женском бесплодии и ничего не сказано о мужском, то я как особое откровение воспринял указанное им мне одно благословение, которым Второзаконие благословляет Путь Божий. «Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в стаде твоем». Я в богословии не силен, об этом и говорить не стоит, но я тогда зацепился за эти слова: не будет бесплодного.

А потом я понял, что это не про меня, потому что я абсолютно, стерильно, генетически бесплоден. Три лаборатории подтвердили независимо друг от друга. Мой случай был случаем абсолютного, неизлечимого бесплодия. А ведь сначала Верочка насчет себя сомневалась, но потом все о себе узнала, и ей сказали, что ее лоно ждет мужского семени.

Иногда мы плакали вместе, иногда порознь.

Я видел, что ты любил мою Верочку, мою жену, видел, что ты ничем не давал ей это понять. Но бешенство к тебе во мне иногда чуть не взрывалось. Мелькала злая мысль, что и ты выхолощенный от природы, но однажды я подслушал разговор Верочки и твоей Елизаветы. Она, Елизавета, несколько раз беременела от тебя и тайком делала аборты. А когда надумала родить, то... но ты сам все знаешь.

И вот однажды мы сидели, трудно молчали, и я сказал:

— Верочка, иди к Дмитрию, я знаю, что ты знаешь, что он тебя любит. Ложись с ним. И не раз. Ложись, потому что мне не его жалко, а тебя, потому что ты родить хочешь. Ложись, пока не понесешь. Я тебе клянусь жизнью моей, что никогда ни словом, ни взглядом, ни даже тайной мыслью не укорю тебя.

Она пошла к тебе, она потом ходила к тебе.

Ты ей перстень с рубином подарил, я промолчал.

Потом родилась Серафима. Мы были счастливы.

Мы помнили, конечно, что у тебя не было детей. Верочка, я видел, я понимал, страдала, сохраняя от тебя тайну отцовства.

Я простил себя, готовясь к прощанию с миром. Верочка в моем прощении не нуждалась, а от тебя его получить не могла.

Твою дочь, твою и Верочки, я считаю своей. Вот как будто и я не бесплоден, Господь дело знает. Ты теперь знаешь, что она твоя дочь. Как тебе поступить, что тебе посоветовать, я не знаю. Прости меня. Верочка — святая.

В лесу деревья стоят порознь, но их корни тайно переплетаются.

Все один обман, как писал старинный поэт Александр Сумароков.

Прощай, Дмитрий.

...По прочтении седьмой страницы я сидел оглушенный. Трудно было собрать мысли, смятение чувств сминало меня, как рука сминает лист бумаги. Сердце трепетало. Я метался. Я принял нитроглицерин. Лег. Никакого решения у меня не было, и я не мог понять себя. Не мог не то что решиться что-то сделать теперь же, но понимал, что и никогда ничего не сделаю.

Краем сознания мелькнула мысль, что куда-то исчез из моей жизни Сумароков, но это меня совсем не тронуло.

Совсем... куда-то... сума... сумаро... сумерки.

Утром я вспоминал, чтобы сохранить его, ночной сон. Как я медленно иду по бывшей полупустыне детства, где теперь не беззащитные, маленькие ростом саженцы сосен с трогательными детскими иголочками, а могучий и все еще растущий сосновый бор. На обращенной к востоку солнечной и теплой стороне светящихся сосновых стволов видно медовое мерцание больших, сливающихся в гроздочки и слиточки капель янтарной смолы. Я рассматриваю их и вижу внутри слиточков длинноногих черноглазых комариков с тончайшими слюдяными крылышками. Девочку-стрекозочку вижу.

За сосновым бором лес с черемуховыми большими деревьями. На тяжело согнутых ветвях изобильно висят черемуховые кисти. Каждая крупная черемушинка, а они все крупные, влажно блестит фиолетово-черным матовым отливом. Кто-то дикий собирал здесь черемуху и, ленясь дотягиваться до кисточек, обламывал большие ветви. И они, надломленные и ободранные, обреченно висят теперь, покрытые заснувшими листьями, которые уже опадают.

В моем сне мелькнуло море... мокрый песок пляжа, под сияющим солнцем накатываются один за другим зеленоватые, нет, там есть и синий, и фиолетовый тон, полупрозрачные на просвет, как на картинах Айвазовского, штормовые, вздымающиеся и прогибающиеся, перед тем, как обрушиться на берег, морские валы с белопенными чубами и гладкими долгими загривками.

Такой, Николай, был мне сон, про любовь.

Около одиннадцати часов утра мне позвонила Серафима, сказала, что хочет угостить меня чем-то вкусненьким, если я заварю крепкий чай.

Она приехала, поцеловала меня в щеку, я чинно, церемонно помог ей снять пальто и, взяв за руку, как ребенка, привел в гостиную. Здесь на скатерти стола расположились электрический, но все-таки латунный, с медалями, под старину, самовар, а посередине стола красовался белоснежный, расписанный фиолетовыми крупными цветами и резными листьями, с тонкой золотой отделкой, кузнецовский чайный фарфор.

Серафима выложила на круглое блюдо черемуховый торт.

Она стала с милой деликатной улыбкой разливать чай, и я увидел на ее руке перстень с красным винным рубином.

Мы встретились глазами.

САПСАН

Сапсан гнездился на утесе Московского университета; жил безбедно. Яростно, чисто охотился, но жил тишайше. Что сапсану шуметь, что кричать: такой густой, от города, шум в небе стоял — летать тесно. Город не только мутил дымами небесный над собой воздух, но еще и мял его, и корежил, и морщил, и раздирал всякими своими воплями, свистами, хрипами, щелчками, стонами, шорохом, визгами и, в особенности, музыкой. Ой, музыка ли это, музыка ли это — сапсан не ведал. И никто не ведал, кого ни спроси в громаднейшей башне под гнездом сапсана на ученом утесе.

Я достоверно знал о его гнезде, потому что прочитал в правдивой газете, что мало сапсанов в Москве, и, помню, удивился: есть, оказывается, даже сапсан в городе — и не в зоопарке, где птицы, может, с ума сходят. Думаю, и звери — тоже. С ума они сходят там, в зоопарке — непривычно все же, гадко от людей. Что за жизнь, поймите, в зоо-

парке. На сытость зверью если и не наплевать, то все равно свобода лучше сытости. Это человеку сытость важней важного, но не зверю, нет, но не птице, нет, не птице.

Человек за сытость убьет.

Сапсану она не нужна, тяжелит, ему — сила нужна, простая ярость от крови. Человек-то не летает, нечем махать, крыльев нет у бедного, а сапсан — вот слушайте, слушайте Брема: «При преследовании добычи он летит с такой быстротой, что слышен только свист и виден летящий по воздуху предмет, в котором нет никакой возможности различить сокола».

Сказал Альфред Брем, а не в журнале для молодежи. Но продолжу мысль, газета точно писала: сапсан живет на МГУ — и может навсегда покинуть столицу, потому как — экология больная, метастазы цивилизации лижут, знаете, даже такие отвесные, уступчивые башенные утесы, как имени Михаила Ломоносова главный университет, и вот дотянулись до сапсанова гнезда. Улетит он, улетит, и не увижу сапсана, если улетит он — а куда ему деться от грязи городской жизни, от мусора звуков — только лететь, лететь.

Думаю, так бы он поступил: взлетел бы над разлапистой звездой над храмом науки (размах ее, вообразите себе — девять метров), посмотрел бы хоть на Новодевичий монастырь — всегда там пернатые плавают на воздухе, высмотрел бы голубя позобастей, зоб чтоб был с переливами — и стукнул бы его! Вот и силы на дорожку! Но что там голубь, в нем крови мало.

Мяса теплого мало!

Но хотя бы голубя, хотя бы голубя...

А гуся, допустим, где изыщешь в московском небесном поле, где? Перелетные когда еще соберутся перелетать, а деревенские — ну какие тут деревенские: если есть где, то не летают, ходят, как поросята с крыльями, а для чего им крылья — неясно. Рудимент.

Да их и нет, деревенских гусей, и сапсан хоть и быстрый летун, а как-то не рвался на подмосковные деревни падать. Сапсан, знаете, падает в атаке под углом в сорок пять градусов. А деревень не стало. Тяпнуть бы сапсану самолет, но — излишне высоко летают самолеты. Вкус их птицам неизвестен, и вроде бы самолет может сам птицу сожрать, если наскочит на нее в прямом ревущем полете.

Вот я пришел к университету, я хотел увидеть сапсана в Москве, и я стал ходить, задрав голову, а вы попробуйте походить вокруг храма науки, громаднейшего здания, задрав голову.

Не закружится ли голова?

На свое счастье, встретил гринписовца (вот слово-то, извините), ну, «зеленого» (а «зеленый», чтоб знали вы, это тот, кто был в Гражданскую войну, что в прошлом веке, ни за «белых», ни за «красных», нынешний же «зеленый» не значит, например, молодой, но означает — ходит на демонстрации защищать природу. Отчего многие смеются. Я не из таковских, что смешного в издевательствах над природой — но, правда, смешно протестуют!), — вот гринписовец мне и подтвердил: есть сапсан, есть тут сапсан. И заорал: «Вон летит!»

А я в очках. Я в очках. Ничего не увидел, только глаза заслезились. Зря он орал.

Может быть, и есть тут сапсан, мне-то что за дело?

Дело в том, что я женщину разлюбил.

И вот меня потащило к университету на Ленинские, тысяча извинений — на Воробьевы горы. (Все с птицами связано почему-то, с птицами. Не крылышки ли режутся? Если они, то ангельских мне, пожалуйста, не надо. Не надо, я грешный, в портмоне у меня есть маленькая бумажная иконка — икона Божией Матери «Споручница грешных». Это, наверное, значит, что она грешных оберегает. Я не знаю.)

Я женщину якобы разлюбил.

Меня потащило аж на Ленинские горы, тянуло повыше забраться. И вот я в метро прочитал газету, а там как раз про сапсана, и я подумал: есть ли что-то общее между сапсаном и мной? Сапсан — это мужского рода, это — сокол. Имя его — калмыцкое, а я даром что в правильных очках, но все ж таки чуть косоглазый. И еще: у меня плохо растет борода. Это признак, что во мне капля татарской крови, а где татарин, там и калмык.

Все люди, к сожалению, одна большая семья, потому что женщины всегда изменяют, что теперь, что в глубине веков, поэтому все люди родственники.

Все смешивается в женской тесной глубине.

Ты полюбишь женщину и станешь сохнуть, а она с тобой, только не волнуйся, в родстве.

Вот прочитав в метро газетку про сапсана, я понял, что надо делать: надо думать про него, про сапсана, но не про мою с... милую. Там, в университете, продаются разнообразные книги, есть и Брем, но мне зачем покупать — я открыл том на развале, прочитал, запомнил, все понимаю про сапсана.

Ты только, говорил я себе, не думай про нее, если якобы разлюбишь, не думай изо всех сил, не то — в дурдом, дружок, в дурдомчик, там таких принимают. Хотя сейчас есть могучие, лютые таблетки — махнешь парочку, запьешь водкой и...

И будешь думать про нее.

Но ты лучше думай про сапсана, он ведь брат тебе.

Брем по томам отдельно не продавался, да мне и денег жалко, я их лучше на бинокль потрачу.

Бинокль мне пригодится для наблюдения за птицами.

Сейчас нет дефицита никаких товаров, поэтому я быстро купил зеленый пятнистый бинокль. Как бы армейский — что значит надежный. На правом окуляре там рубчатое колесико — кроме того, что между трубками, и это колесико вот зачем: если у кого глаза разные по зоркости, тот себе может поднастроить под каждый глаз свою зоркость.

Слепые оптику уважают. Благоговеют.

Сапсан различает голубя с восьми километров.

Я залезу на университет повыше, налажу бинокль — вся Москва перед глазами. Гляну, само собой, в ее окно, но поскольку суббота, то дома она точно не сидит, а мотается — и я знаю точно, где она мотается.

Полагаю, я рассмотрю, и с кем она мотается.

Моя!

Я довольно прекрасно знаю, где она мотается, когда одна и что ест. Где она бывает, когда захочет поесть. Какие она магазины смертельно любит, и уж если начнет мотаться, то обязательно там окажется.

Большую часть их мне неплохо видно.

Москва, конечно, большой город, но я особо не тороплюсь. Все равно я ее разлюбил.

Спешить теперь особо некуда.

Я поднялся на лифте на двадцать восьмой этаж, там аудитория столов на восемь. Пробрался к окну, смотрю. Наверное, стекла бинокля блестят, так что если она случайно бросит свой взор на здание университета откуда-нибудь снизу, из Москвы, то, не исключаю, заметит острый блеск оптики.

Немало времени я там убил, на университете, а ничего не разглядел. Но кое-что видел. Я там ведь ночь просидел, и я прятался. Невольно видел любовь студентов. Я прятался под столом. И так далее, неинтересно.

А днем я видел тоже любовь, там много вокруг университета мест, где наскоро кое-что и сверху видно, но неинтересно.

Вот я думаю: вот бедный сапсан с его зрением — чего он только не видит из поднебесья, летая над Москвой.

Я не думаю, что он приглядывается, например, к голым пляжам в Серебряном Бору. Сапсан не так чтобы часто смотрит на землю, его ярость — вся в небе, он себе крови ищет в небе, хотя гуся, стукнув, добивает на сырой земле.

Сапсан ищет себе крови в небе.

Я свою женщину ищу на земле.

К ночи ничего уж мне не видно, но я все шарю и шарю по светлым местам, по нарядной архитектуре, и, знаете, даже увлекся: ну до чего же хорош, ой, до чего же красив наш город.

Снова туда, где море огней.

Москва, Москва, люблю тебя как сын.

Город моей женщины. Горжусь. Невольно.

Я проспал там ночь, утром пораньше приладился на свой наблюдательный пункт. Я ничего не ем двое суток, как ее разлюбил, и не пью.

И не хочу.

Мне бы сожрать голубя!

Его кровь ведь красная, яростная и соленая!

Утром в оптическом радужном воздухе пронеслась стремительная тень — не сапсан ли? Не к ней ли — рассказать обо мне?

Утро в Москве прозрачное, только толстый, мутный блин смога висит над центром — ветра нет, к сожалению, чтоб сдул подушку дыма с любимого города.

Тень пронеслась быстро, а бинокль — прибор дрожащий, за птицей следить трудно. За сапсаном не уследишь, точно.

«При преследовании добычи он летит с такой скоростью, что слышен только свист и виден летящий по небу предмет, в котором нет никакой возможности различить сокола».

Знаете ли вы, приматы, какую скорость развивает сапсан в боевом падении на жертву? Вы не поверите. До трехсот пятидесяти километров.

Наступило воскресенье. Воскресенье — день весенний, песни слышатся кругом...

Посмотрим. Посмотрим.

Воскресенье, а явились студенты со студентками — и началось. Я не стал под стол прятаться. Они тут думали потискаться, но увидели меня и поняли: место занято. Ушли куда-то. Университет огромный, мест много в нем.

По кустам я уж и не смотрю. И так все ясно.

Дымы из труб начало гнуть на запад — ветер, ветер, ветер, ветер, ветер налетел.

Что ж ты наделала!

Ты любишь ходить по набережным, а набережную Лужниковскую отсюда замечательно видно.

Если она придет не одна? Если не одна!

Устали мои глаза, и сколько же женщин ходит по набережным, и сколько их бродит вокруг университета.

И скольких берут по кустам! И неужели по любви?

Но неужели без любви.

Всякую платную грязь, да и любовную студенческую дружбу я не принимаю в расчет.

Неужели...

Я мало что вижу, мало вижу. Все двоится. Слезы набегают на глаза от напряжения, и как ни крути рубчатые колесики, а все нет резкости.

Как же я ее разгляжу в бескрайней Москве?

Надо спускаться на землю. Пойду и буду ее искать, и, может быть, я ее найду. Стер глаза, теперь сотру ноги — и ладно. Найду ее и убью. Убью!

Я спустился на землю, поднял напоследок глаза к небу и явственно, четко, резко увидел сапсана на ученом утесе. У него была мощная грудь, а под глазами черные пятна, похожие на усы.

Сапсан смотрел на меня сверху и думал горько: вот человек. Этот человек, думал сапсан, стоял у окна, не исключено, что собирался полетать. Жуткое зрелище, когда человек летит. Разбивается всмятку.

Я пошел на книжный развал, нашел там Брема и вложил в том вырванную страницу. Я не хотел сперва признаваться, что я ее вырвал из книги, но — лучше признаться. «Споручница грешных» не позволяет мне лгать. Я признался книгопродавцу.

Совершенно случайно я встретил внизу гринписовца. Ему подарил бинокль, рассудив, что мне теперь, когда я окончательно посадил глаза, бинокль не скоро понадобится. Гринписовец опешил от приятности. Ладно, зеленый, охраняй мировую природу, не ленись ходить на демонстрации. Нам угрожает экологическая катастрофа, слыхал, нет?

Протестуй!

Я пошел пешком по Москве, мимо свадеб на смотровой площадке, мимо каких-то магазинов ненавистных, ездил целый день в метро, слепнул на улицах до ночи.

Я звонил ей — и никто мне не ответил вечером. А ночью я провалился в звериный сон, спасаясь от близости дурдома.

Потом пошли таблетки, прогулки, врачи. Ну и таблетки, конечно. Я на самом деле здоров. Мы бодры, веселы! А что, что таблетки? От простуды...

Мне бы сожрать голубя! Кровь у него красная, яростная, соленая, мясо теплое. Но как мне его ударить в небе?

Эту историю я потом рассказал моей милой, моей любимой, моей единственной женщине.

Солнышку моему!

Ей, моей птичке, рассказал через два года. Не удержался, дурак, рассказал. Она была в зале на защите моей диссертации, в МГУ, посылала мне свою энергию, чтоб я защитился. Потом, перед бедняцким научным банкетом, мы вышли погулять, передохнуть, и я все рассказал.

Кроме того, что видел, что делается в кустах вокруг университета.

Она быстро потемнела лицом.

— Пойдем в кусты! — сказала она вдруг. Хрипло.

На этом заканчиваю. Для полноты сведений есть одно дополнение. Чтобы вы поняли кое-что про сапсана. Сапсан гнездится по всему миру, но очень редко встречается. Нет таких краев, где сапсан во множестве. В Москве сейчас вроде бы есть сапсан. Точно это никому не известно.

Мне, выходит, крупно повезло: я видел сапсана!

Но и он видел меня — в ту минуту, когда я в смертном ужасе отшатнулся от распахнутого окна.

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ВЕЗУВИЙ ЗЕВ ОТКРЫЛ

Рассказ

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем, под воспаленным прахом,
Толпами, стар и млад, бежит из града вон.

А. Пушкин на картину «Последний день Помпеи»

Ей приснилось извержение вулкана. Представить мощный природный катаклизм в наше неустойчивое и чреватое катастрофой время было легко. И Оля представила. Вот масса густой тягучей лавы катится с горы, еще немного — и она окажется у самых ее ног, нужно бежать — иначе... иначе гибель. Но она, Оля, стоит — и не может сдвинуться. Не может бежать. Просто не может. Ноги не бегут...

Страшный сон вызвал мгновенное пробуждение. Она понемногу приходила в себя и осознавала то, что уже во время сна бессознательно понимала. После прошлогоднего падения, когда, задумавшись, она пропустила ледяную горку на асфальте и получила за это двойной перелом левой ноги со смещением, после того, как кость срослась, бегать она не могла. Это обнаружилось не сразу. Сначала нужно было просто научиться ходить. После долгого лежания с загипсованной ногой пришел черед освоения костылей, потом коляски, после — палочки. Очень хотелось, чтобы хромота прошла, не сказывалась на походке и не делала Олю «инвалидом». Больше всего на свете она боялась этого слова в применении к себе. И Господь помог, со временем походка выровнялась, и палочку Оля хотя и не выбросила, но поставила в самый дальний угол, чтобы не бросалась в глаза и не напоминала про время хромоты.

Она читала, что один большой российский поэт, в ранней юности упавший с лошади, всю жизнь должен был маскировать хромоту и даже придумал для себя какую-то специальную походку. Ей это не понадобилось. Видно, врач-хирург, молодой высокий американец с несколько высокомерным и отстраненным выражением лица, к которому ее направили и который лечил ее ногу много месяцев, был настоящий ас.

Ирина Чайковская — прозаик, критик, преподаватель-славист. Главный редактор американского русскоязычного журнала «Чайка». Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат наук. С 1992 года на Западе. Семь лет жила в Италии, с 2000 года — в США. Автор 18 книг и многочисленных публикаций в российских и зарубежных изданиях. Автор статей и докладов о жизни и творчестве И. С. Тургенева, А. Я. Панаевой, Н. А. Некрасова и других представителей русской литературы второй половины XIX века. Участница международных тургеневских конференций и конференций по связям русской и зарубежной литературы. Член редколлегии американского русскоязычного журнала «Слово/Word» и поэтического альманаха «Связь времен». Лауреат премии журнала «Нева» за 2015 год в номинации «Критика». Живет в Большом Вашингтоне.

Правда, поначалу ей так не казалось. Она приходила к нему на перевязку — он снимал с ее ноги сначала гипс, потом марлевую повязку — и уходил. Начиналась такая жуткая «костяная» боль, что она не могла удержаться от крика. Звала врача, молила сделать ей хоть какое-то обезболивание. Но хирург, скорее всего, был в одной из соседних комнат у другого больного и приходил к ней не раньше, чем заканчивал осмотр пациента. Она к этому времени уже не кричала, а только подвывала слабым голосом и молилась той молитвой, которую знала с детства: «Господи, помилуй!» Муж, находившийся тут же, морально мучился вместе с нею и тщетно пытался успокоить и притушить ее крики.

Вернувшись, молодой врач быстро и ловко заворачивал ее ногу в кусок марли, она вдевала получившееся сооружение в специальный черный сапог и об руку с мужем покидала холодный кабинет и «бездушного» хирурга, в кабинете которого не было никаких обезболивающих средств.

В общем, Оля хорошо отделалась. Когда муж привез ее в отделение «Скорой помощи», по-здешнему, «Эмерджанси», дежурный хирург-поляк, немного говоривший по-русски, рассматривая ее ногу, огорчительно покачал головой и проводил ее фразой: «Болче ни надо упадку».

Упала она в конце февраля не так далеко от их улицы, когда, задумавшись, перестала следить за дорогой. Потом ей говорили, что нужно было записать номер дома, рядом с которым произошло падение, и что по американским законам хозяева участка обязаны чистить снег и лед, в противном же случае они должны выплачивать штраф поскользнувшимся на их территории.

Но ей-богу, Оле тогда было не до хозяев и не до номера дома. Она упала прямо на ледяную горку, нога громко хрустнула, началась сильная боль, и единственное, что могло ее спасти, это айфон в кармане куртки, на экране которого она нажала на имя мужа. Шел дневной час, Алеша мог быть на «митинге» — так назывались у них совещания, — мог отлучиться в соседнюю лабораторию, но — на ее счастье, он оказался на месте и приехал очень быстро.

Идти она не могла, и он подхватил ее на руки и посадил на заднее сиденье. А в отделение «Эмерджанси» ее доставили на носилках.

А потом начались долгие месяцы борьбы с болью и медленного, очень медленного излечения...

После заживления кости Оле назначили занятия с физиотерапевтом, опытной, уже немолодой американкой. Где-то в самом начале их занятий Оля спросила: «А бегать я когда-нибудь смогу?» Та решительно отрезала: «Нет, что вы, даже и не думайте, никогда».

И другая бы примирилась. Тем более что к бегу у Оли была природная нелюбовь. На обязательных кроссах и эстафетах в школе очень быстро переходила на шаг — главным образом из-за какого-то внутреннего протеста: вот не хочу заниматься этим нелюбимым делом, не хочу — и не буду. И их молодой симпатичный физкультурник, мало отличавшийся по виду от них, взрослых десятиклассников, и, как ей казалось, «положивший на нее глаз», легко прощал ей эту вольность... Отмечал время «прибытия» — и отпускал с богом.

С тайным неодобрением провожала Оля взглядом молодых и старых бегунов трусцой. В Бостоне, где они с Алешей обосновались, она могла ежедневно наблюдать цепочку их размахивающих руками фигур, бегущую вдоль оживленной трассы Commonwealth. Оля пожимала плечами: ей было невдомек, почему путь бегунов пролегал вдоль шумного, заполненного машинами шоссе, а не где-нибудь в парке...

С другой стороны, были в ее жизни и встречи с бегунами, внушавшими уважение. Одно время, когда они жили в небольшом городке в доме неподалеку от большой ле-

систой горы, летом во время вечерних прогулок они с мужем часто встречали раздетого по пояс бегуна. На вид было ему далеко за семьдесят. При этом был он худ и жилист, в его теле не было ни одной лишней жиринки. Старичком назвать его было трудно — разве что немолодым мужчиной. Обычно он обгонял Олю с мужем, не спеша поднимавшихся в гору, со всего разбега, решительным приступом беря крутизну. А после, когда Оля с Алешей все так же неторопливо спускались с горки, они вновь могли видеть бегуна, в энный раз все с таким же азартом взбегавшего на гору. Оля восхищалась «упрямым бойцом», по-видимому не желавшим ни пяди уступать старости. Увидев его, она неизменно поднимала руку вверх и громко его приветствовала: «Hello champion!»

И вот теперь... Приснившаяся лава стала ее наваждением и одновременно стимулом: она должна суметь убежать от густой тягучей массы, заполняющей вокруг себя все пространство. Той самой, что на картине великого русского художника и в стихах великого русского поэта, ей посвященных, несет гибель обезумевшим от ужаса людям. И пусть рядом не было ни Везувия, ни еще каких-нибудь вулканов или даже просто гор (они давно жили далеко от лесистой горы, в другом городе и даже штате), страх однажды стать жертвой ужасного природного катаклизма поселился в ее душе и не оставлял.

Она, впрочем, знала, как его побороть. Нужно научиться бегать. Теперь каждое утро Оля начинала с попыток по-новому освоить составляющие бега. Ноги не слушались, возвращалась хромота, вместо бега получалось смешное неуклюжее подпрыгивание. Наблюдавший за ее упражнениями сын, приехавший из другого города в командировку, над ней посмеивался. «Ты, маманя, прежде крепче встань на ноги, не дай бог, снова упадешь...» Оба хорошо помнили, как всего несколько месяцев назад Гена катал Олю в инвалидной коляске по их улице и в парке, куда они втроем приезжали на уик-энд. Коляску вынимали из машины, Алеша ее складывал, помогал Оле в черном лечебном сапоге до нее доковылять, а Гена становился сзади и катил коляску с «маманей». Для Оли эти воспоминания были мучительны...

Сейчас Гена, при всей ее материнской к нему любви, также доставлял ей некоторый дискомфорт. Главным образом, своими рассказами. Приехав, за семейным обедом он сразу завел речь о только что прокатившемся по Америке землетрясении. В момент трясучки был он у себя дома, в Нью-Йорке, и на него чуть не свалилась полка в ванной. От этого случая он перешел к злоключениям своего приятеля из Флориды, который, путешествуя на суперлайнере на Багамы, попал в дикий шторм, а вернувшись в родную гавань, узнал, что его дом провалился в какую-то образовавшуюся в земле расщелину...

Гена рассказывал оживленно, как какой-то смешной анекдот, и совсем не замечал знаков, подаваемых через стол отцом, и того, в каком она, Оля, состоянии. А она, наскоро извинившись, выбежала из-за стола под недоуменным взглядом сына.

В конце концов Оля победила: она таки начала бегать и стала совершать ежеутренний моцион — десять кругов по их небольшому одноэтажному дому — из спальни до кухни и назад. Бег доставлял ей неописуемую радость, так хорошо, как во время этих забегов, ей никогда не было.

Бегать на природе она не решалась, но однажды, когда на знакомой аллее никого не было, она решилась — и побежала. В этот момент сзади кто-то громко крикнул: «Не убежишь!» Оля в ужасе обернулась — аллея была пуста, скорее всего, крик ей померещился. Может, это голос Судьбы? Оля не была суеверна, но в Судьбу верила. В последующие дни она бегала только по дому... Одолевал страх: а вдруг снова услышит тот голос? И все же одним летним днем, придя на знакомую пустынную аллею, она побежала. И бежала довольно долго, пока хватало дыхания, радуясь, что в этот раз победа была за ней.

Дмитрий КАНТОВ

Впервые увидев Дмитрия Кантова, я подумал, что где-то уже видел этого человека. И сразу понял где: на фото Николая Заболоцкого, того еще, находящегося в заключении, пишущего домой «и пришли мне немного жиров». Этакий смиренный бухгалтер или инженер по технике безопасности, который совсем скоро напишет «Некрасивую девочку», «Старую актрису», «Можжевеловый куст» и в котором, кажется, уже ничего не осталось от «Столбцов» и «Лодейникова». Узнал в Заболоцком Кантова. Я не о внешнем сходстве. Хотя оно имеется в достаточной степени. Я о сходстве нутряном. И даже не о душе, а о Духе, который, как известно, сам выбирает, на ком Ему почивать. Я слушал и читал глазами стихи Дмитрия Кантова и, возможно, воспринимал их совсем не так, как видит их сам автор. Я и сейчас хочу видеть нечто большее, нежели то, что в них читается. Я чувствую: в них есть нечто недостижимое для человека, нечто непостижимое человеком, и это недостижимое и непостижимое обращено к Богу. Не знаю как, но Дмитрий Кантов нашел способ говорить с Богом на Его языке. Потому-то Кантов всегда невозмутим и спокоен. Да, невозмутим и спокоен, потому что знает цену, нет, не себе, но Слову вообще и поэзии в частности. И еще, я уверен, он знает, что Слово вообще и поэзия в частности не смогли в этом веке обойтись без него. А то, что стихи Дмитрия Кантова, в которых живет нечто важное для человека, как «хлеб наш насущный», мало кто читал, совсем неудивительно. Далеко не всякий способен вместить и удержать в себе Слово, не всякий способен Его понести. Стихи Дмитрия Кантова не столько для нашего времени, сколько на все времена, как «Некрасивая девочка», «Старая актриса» и «Можжевеловый куст» Заболоцкого. Да, на все времена, но не для всех. И уж, конечно, не для стадионов. Поскольку то малое стадо, которому они предназначены и духовную жажду которого способны утолить, пожалуй, уместится на полутора стульях районной библиотеки.

Евгений КАМИНСКИЙ

ИЗ ДИЛАНА ТОМАСА

И смерть не будет властью обладать:
У мертвых будет и живых одна
Под ветром заходящая луна.
Но праведные встанут в полный рост
Из рак и просияют ярче звезд.
Ждет берег милый утонувших в море
И разум — обезумевших от горя,
В любви не будет повода страдать.
И смерть не будет властью обладать.

Дмитрий Владимирович Кантов родился в 1965 году. Поэт, церковный писатель, православный гимнограф. Автор нескольких поэтических сборников. Публиковался в толстых литературных журналах. Лауреат премии журнала «Звезда». Живет во Владимире.

И смерть не будет властью обладать:
Тем, кто на дно морское угодили,
Не вечно пребывать в подводном штиле,
И в их подует ветер паруса.
А снятых с дыбы или с колеса
В те дни, когда под видом веры в Бога
Зло высилось, как рог единорога,
Их, мучеников, не убить опять.
И смерть не будет властью обладать.

И смерть не будет властью обладать.
Да, им ни крики чаек не слышны,
Ни рокот набегающей волны;
Они (цветы, что венчики свои
Под капли подставляли дождевые)
Сейчас — как гвозди: с головой, да неживые.
Но вдруг, покуда солнце не зашло,
Они пробьются сквозь ромашки на тепло?
И смерть не будет властью обладать.

ПАМЯТИ МАМЫ

1

Она твердила: «Это ж не работа!
Стихи, они поделье, а не дело».
И сокрушалась: «Ох, сынок, на что ты
Себя обрек!» Она меня жалела.

Потом смирилась: «Не стяжал ни чести,
Ни денег. Пусть! Зато живем, как жили.
А ловкачи, с кем ты учился вместе,
Тот спился, тот в тюрьме, а те в могиле».

А под конец: «Когда меня не будет, —
Сказала, — не оставит Бог, не сетуй.
Поэты все равно что Божьи люди...»
Теплеет на душе от мысли этой.
.....

4

Знала мама три строки всего:
«Ходит Богородица средь рая,
Яблочки златые собирая
Для Христа, Младенца Своего...» —

«Где слыхала эту песню ты?» —
«Да у нас, в Неклюдове, певали

На Успеньев день, как выпивали...»
Кто ее сложил? Скопцы? Хлысты?..

Был не рай, а коллективный сад.
С первого ручья до снегопада
Что ни день, то на участок надо
Маме — восемь месяцев подряд.

Кроме вишен войлочных и слив,
Рос там штрифель, и пепин шафранный,
И предмет заботы постоянной,
Гордость мамы — золотой налив.

Яблоки с кислинкой были злой.
Почва нрав кислотный не теряла,
Сколько бы ее ни удобряла
Мама доломиткой и золой.

Битых яблок приперев рюкзак,
Проклинал я эти «витамины».
Сразу на помойку половину,
А вторую — отдавал за так.

«Никаких ни грядок, ни лопат! —
Маме врач сказал. — Избави, Боже!»
Вслух она при мне мечтала, лежа:
«Вот поправлюсь — погляжу на сад».

Нет, не поглядела на него...
Ходит мама средь Христова рая,
Яблочки златые собирая
В ожиданье сына своего.

КУСТ СИРЕНИ

Учись у них — у дуба, у березы...
А. Фет

Наше... жительство — на небесах...
Флп. III, 20

Проявил человек свою власть
И урезал природу.
Потому что сирень разрослась
И мешала проходу.

И ушла от земли она ввысь.
Вновь цветенье такое,
Что дивишься! Но как ни тянись,
Не достанешь рукою.

По зиме у дубов, у берез —
Нам советует гений —
Брать урок. Дополненье б я внес:
А весной — у сиреней.

Куст стоит — головой в небесах —
И внушает, как Павел:
«Кто на боль нас обрек и на страх,
Нам и выход оставил».

* * *

Летняя ночь, восхитительный мрак
И — после зноя — прохлада.
«Господи, пусть все останется так! —
Шепчешь ты. — Что еще надо!»

Трещины сверху вдоль неба пошли
Белые и голубые.
Сам не хочу (громыхнуло вдали)
Жизни другой и судьбы я.

Дождь барабанит, и хмыкаешь ты,
Вспомнив о чем-то смешном. А,
Днем полила ты из шланга кусты,
Грядки, лужайку у дома.

«Пусть все останется так, как сейчас, —
Снова мне шепчешь в плечо ты, —
Боже!..» И странно представить, что нас
Видит и слушает кто-то.

ОТКРЫТКА «С ДНЕМ АНГЕЛА!»

Ирине

Мальчик с девочкой, два ангелка,
Вдоль по полю бегут друг за дружкой.
А пшеница густа, высока:
Укрывает обоих с макушкой.

Взрослых нет, совершенно одни —
Полыхают румянцем счастливым
И несутся: не знают они,
Что кончается поле обрывом.

Но за спинами — Ангел. Какой
К ним приставлен хранитель могучий!
Их обоих одною рукой
Он подхватит над самою кручей.

Одного нам такого же — да? —
На двоих бы хватило, как детям.
Только б вместе мы были всегда...
Ангел мой, ты согласна ли с этим?

ЭПИЗОД ИЗ ЖИТИЯ ПРЕСВИТЕРА ПЕТРА

Отца Петра (он с чашей на иконе),
Когда в конце сороковых у нас,
В Заколпье, в Гусь-Хрустальном он районе
Служил, арестовали в третий раз.

Был возраст у него уже солидный,
За шестьдесят. Не на лесоповал
И не на шахту — в лагерь инвалидный,
В поселок Абезь батюшка попал.

И умереть не дали человеку —
На вещевой определили склад.
Нехитрая работа — выдать зэку
Ушанку, скажем, там, или бушлат.

В санчасть тогда же был религиозный
Философ Лев Карсавин помещен.

Шел в легких у него туберкулезный
Процесс, необратим уже. И он

Решил, что исповедаться бы кстати.
«А то без покаяния умру».
И младшего соседа по палате,
Ванеева, послал к отцу Петру.

Петр обещал Ванееву: приду, мол, —
И не пришел. Возможно, потому
Что «Это провокация!» — подумал,
Что стукнут и накинут срок ему.

Дня через два пришел Ванеев снова.
«Пока в сознанье он, а не в бреду,
Придите, исповедуйте больного...»
И Петр опять пообещал: «Приду».

Ни во второй — тут ясно без вопросов, —
Ни в третий раз он не явился, нет.
«Что ж, Петр на то и Петр», — сказал философ.
Такой, почти евангельский, сюжет.

И, составляя житие святого
Петра, включил и случай этот я.
Но мне велел епископ острослова
Карсавина убрать из жития.

Как будто нет чудесного рассказа:
Христос воскресший — ночью у костра
Сидит с Петром, отрекшимся три раза,
И спрашивает трижды у Петра:

«Ты любишь ли Меня?» Тот отвечает:
«Да, Господи!» — расстроенный вконец.
И трижды Иисус его прощает
И говорит: «Паси Моих овец».

Едва ль винил отца Петра Карсавин:
Что на сучок смотреть в чужом глазу?
Он, хоть и был всецело православен,
Пред смертью исповедался ксендзу.

А Петр пресвитер, выйдя на свободу,
В глухой был послан Пятницкий приход.
Но сколько шло туда к нему народу!
И до сих пор (к мощам уже) идет.

Советские чиновники хотели
Его «в заштат почислить», и не раз.
Вот кто овец Христовых в самом деле
Апостольски, до дня кончины пас.

Не возразил епископу тогда я,
Урезал житие Петра. И вот
Вину сегодня искупил, считаю,
Вам показав изъятый эпизод.

НАЧАЛО ЛЕТА

В июне, помню, первого числа
Нас, школьников, свозили спозаранку
На площадь городскую. Та была
Расчерчена. Поставив на делянку,

Мел выдавали каждому из нас.
Зеленым, красным, голубым и белым,
Присев или нагнувшись, целый час
Асфальт мы штриховали этим мелом.

«Я вижу мир» — так звался конкурс тот.
В нем побеждали те, кто рисовали
Солдата, что под знаменем идет,
Иль вздыбившийся танк на пьедестале.

И как-то раз внимание мое
Привлек один рисунок — справа, рядом:
Спит девочка, а кукла на нее
Сидит и смотрит любопытным взглядом...

Я поразился: «Как он так сумел!
Малец вот этот, словно из детсада».
И отложил я в сторону свой мел.
Понятно, не мальца ждала награда.

Я рисовал жирафа. Без стыда
Я вспомнить не могу его, уродца.
«Я не художник! — понял я тогда. —
Стихи писать — одно мне остается!»

И ощущал я до исхода дня,
Что мир несправедлив, судьба сурова...
И лето наступило для меня
Не первого июня, а второго.

Ахат МУШИНСКИЙ

ХОЛОДНО, ГОРЯЧО И ОПЯТЬ ХОЛОДНО

Рассказ

Казань — один из самых заметных городов современной России, расположенный на левом берегу великой и длинной реки Волги, что зримо пересекает всю европейскую часть огромной страны и впадает, как известно из жизни и литературы, в Каспийское море, находящееся на стыке Европы и Азии.

Писатель и художник Ахат Мушинский — один из самых заметных граждан современной Казани, где он родился, жил и живет, дай ему Всевышний здоровья и дальнейших успехов в сочинительстве нежных и добрых произведений, написанных не только для интеллектуалов, но и для того народа, который сдуру иногда именуют простым, не подозревая или не желая понимать, как сложны люди, какими явными или тайными страстями они обуреваемы.

Мушинский — автор множества книг, которые просто необходимо читать, чтобы убедиться: слухи о том, что весь мир окончательно сошел с ума, погряз в негодяйстве и распаде, явно преувеличены. Его герои влюбляются, тоскуют, мечтают, заводят и воспитывают детей, чтят предков — то есть существуют так, как и завещано было всем нам упомянутыми предками. Мир не рушится, а укрепляется — таков мой главный вывод после чтения прозы Ахата Мушинского, достойной того, чтобы ее знала вся Россия, а не только Казань или я.

Евгений ПОПОВ

Было это давно, еще в Советском Союзе. Тогда я только вернулся из армии. Ну как «только»? Уже год работал в многотиражке. В те времена каждое крупное предприятие — завод ли, фабрика, вуз... — имело свою многотиражную газету, то есть многотиражку. Моя, под названием «Рабочее слово», представляла производственное объединение по выпуску радиокомпонентов. Весомое было предприятие, и весьма заметная в городе и отрасли была его многотиражка.

Поначалу, однако, устроиться куда-либо оказалось не так-то просто. Отделение журналистики Казанского университета тиражировало кадры, как печатный станок главного нашего издательства, и городские редакции в кадрах не нуждались. Но мне повезло, и я после некоторых мытарств в поисках намеченной еще в армии цели заступил на должность литсотрудника (так это называлось) «Рабочего слова».

Редактор хороший, все вокруг доброжелательны, и я начал строчить статьи, очерки... Особенно тянуло писать об интересных людях, нестандартных, с судьбой... Редактор давал полную свободу действий, и я старался.

Ахат Мушинский — прозаик, директор Татарского ПЕН-центра, главный редактор «Казанского альманаха». Родился в 1951 году в Казани. Окончил энерготехникум, Казанский университет (отделение журналистики). Автор романов «Шейх и Звездочет», «Записки горбатого человека», «Белые Волки», повестей, рассказов, публицистики. Лауреат литературных премий им. Г. Державина, «Заветная мечта», им. Ф. Искандера.

И вот однажды является к нам в редакцию девица с синими глазами и голубыми, как у сердечников, тенями под ними. И сразу — к столу редактора. Поговорили они. Редактор кивнул на подшивку малоформатной нашей газеты, она ее под мышку и цокцок каблучками мимо меня, как мимо пустого места, — к двери.

— Может, помочь надо было? — спрашиваю редактора запоздало. Замечу, я всегда реагирую, когда уже проехали.

— Да нет, — ответил он холодно. — Она с водителем.

Оказывается, нашу газету взяли на проверку. Такое в те времена практиковалось. Партия должна была знать, о чем мы пишем. На сей раз оценить наш труд поручили республиканской молодежной газете. До меня задним числом дошла причина холодности шефа в общении с симпатичной гостьей — кому понравится, когда тебя проверяют!

Спустя время и после непонятного однажды мычания редактора в ответ на телефонный звонок говорит он мне:

— Тобой интересуются.

— Кто? — спрашиваю.

— Двое с носилками, один с топором. — Так он шутил порой.

Я не реагирую, но глаз с него не спускаю.

Он нервно стряхивает перхоть с плеч своего черного пиджака и сквозь зубы:

— Кто, кто... Та фифочка из молодежки, которая взяла наше изделие на пробу, — и, помолчав, добавляет: — Твои очерки о наших заводчанах понравились там у них, проверяющих.

Через день мне позвонили и попросили приехать в редакцию молодежной газеты. Признаюсь, я очень любил это издание и считал его самым ярким на газетно-журнальном небосклоне города. И кто, скажите, из молодых журналистов тех лет не желал бы попасть на этот местный олимп!

Я радостно отпросился у шефа, и он безрадостно отпустил уже вставшего на задние копыта и готового пуститься с места в карьер сотрудника.

Меня приняла у себя в кабинете исполняющая обязанности главного редактора Надежда Рассадина, статная женщина, волосы которой пронизывали первые нити седины. Рядом сидела та самая, прошу прощения, «фифочка», она, оказывается, заведовала отделом рабочей молодежи и студентов. Вид у нее был строгий, и совсем не подходила она под уничижительное определение шефа. Но его тоже можно было понять: он предчувствовал, вернее, заранее знал, что его правую руку как пить дать отнимут.

На мое «здравствуйте» Рассадина кинула «привет», будто мы с ней были сто лет знакомы. И начала с вопроса, глянув на мои красные носки, обнаружившиеся меж брючинами и туфлями, когда я присел на предложенный стул напротив нее:

— По последней моде?

— Подарили, — ответил я и покраснел.

— Это хо-ро-шо, — произнесла она, и через паузу: — Что краснеть умеешь.

Она сразу повела наше первое общение на «ты», и это было совершенно естественно в ее исполнении и даже как-то тепло. В редакции отсутствовала всяческая официальность. Я сразу заметил это. Народ общался, здоровался запросто, по-свойски. В коридоре у лифта стоял теннисный стол, и белый шарик метался из стороны в сторону, точно шаровая молния.

Рассадина неспешно расспрашивала, я отвечал. Наше собеседование походило на необязательную беседу с множеством отвлечений от моей конкретной персоны. Заведующая отделом рабочей молодежи и студентов большей частью помалкивала, вставляя лишь короткие реплики и разглядывая своими синими глазами, точно ребенок в магазине игрушек, новое приобретение.

Словом, на той встрече меня пригласили на работу в мою любимую газету и даже, признаюсь, мечту — на должность ответственного секретаря. Листая днями раньше нашу подшивку, сотрудники молодежки, то бишь проверяющие, обратили внимание на мои обширные публикации. Но главное, им нужен был человек, умеющий верстать газету. А все сотрудники многотиражек это умели, там не было касты исключительно пишущих перьев. Таким образом, и стал я ответсеком, если говорить армейским языком — начальником штаба одного из журналистских подразделений республики.

После кабинета исполняющей обязанности мы зашли к Полине Елиной — так звали заведующую молодыми рабочими и студентами. Она спросила, не захвачу ли я с собой подшивку на их редакционной машине, заметив, что газете нашей дана положительная оценка. Я, естественно, согласился. В те времена у меня еще не было своего авто. В тот день я толком ее не разглядел, волновался, не до разглядываний было. Это уж позже узнал ее до последней родинки.

* * *

Отдел рабочей молодежи и студентов был через стенку с моим кабинетом. Кроме нее, там давали стране угля еще два сотрудника двух других отделов. И по всей редакции так, в каждой комнате по три человека, кроме кабинетов главного редактора и моего. Но в одиночестве я не томился. У меня был проходной двор, поскольку все свои статьи, очерки, интервью, заметки, фотографии авторы сдавали мне, обсуждали их со мной, уносили порой обратно к себе на доработку, вновь приносили. Кроме того, коллеги, внештатные авторы оставались пообсуждать дальнейшие планы или просто поболтать.

Заходила и Елина. Первоначально говорили с ней только о ее материалах, посвященных стройкам, школам, институтам... Началось же наше взаимопонимание, сближение, не знаю, как сказать, с репортажа из университета о вечере, посвященного юбилею Лобачевского. Она цитировала в своем материале стихи великого математика.

Помню, я удивился:

— Не знал, что он еще и стихи писал!

— Сама не знала, к стыду своему, — ответила заведующая студентами и образованием.

— С другой стороны, ничего удивительного! — не смог остановить я свой заведенный новым познанием мозг. — Лишь настоящий поэт может доказать, что параллельные, как и судьбы, пересекаются.

— Если прямые пересекаются, то они не параллельные, — парировала Елина.

— Конечно, у меня и в школе было не фонтан с арифметикой, но я читал, что речь идет о пересечении в искривленном пространстве. Ну да ладно... Мне понравился «Разлив Волги при Казани», и я предлагаю вынести его из рамок репортажа в шпигель.

То есть было мое предложение поставить стихотворение на верхотуру первой страницы, сбоку названия газеты, с продолжением глубоко вниз, будто это передовица.

— А так можно? — вскинула Елина подковки своих черных бровей под светло-русую челку.

— Попробуем, юбилей же!.. — был я делано невозмутим.

На летучке по выходе номера дежурный обозреватель похвалил нас. Ее за текст, меня — за смелую верстку.

Рассадина поддержала оценку обозревателя. Она, лично знавшая и печатавшая в годы «оттепели» Василия Аксенова, Евгению Гинзбург, Евгения Евтушенко, сказала, заправляя упавшую прядь с нитями серебряной седины за ухо:

— Мы же молодежная газета, и не надо нам бояться экспериментировать.

Напомню, повествование мое идет о временах, когда в шпигеле, то есть в самом видном месте газеты, ее «красном уголке» давали исключительно цитаты из речей лидеров партии и правительства или поздравления с государственными праздниками.

После той летучки, не сразу, но постепенно Елина стала постоянной гостьей в моем кабинете. Понятно уж, что в разговорах с ней мы говорили не только о проблемах ее подшефной молодежи. Она была интересной собеседницей. Но тон ее слов был несколько снисходителен: все-таки я был самый молодой в редакции. В армии таких называли салагами. Хотя и сама она была всего лишь на пару лет старше меня. Полина, признаюсь, немало сделала для моего становления в новом коллективе, профессионально сильном, в творческих порывах даже дерзком.

Редакцию здорово поддерживал вскоре назначенный на пустовавшее место новый главный редактор Анатолий Будилов. Он говорил: «Если меня ругают в различных обкомах, значит, наш коллектив хорошо работает». Это означало, что мы умели задать трепака кое-каким зарвавшимся воротилам. Одно жаль: главред не сработался с Рассадиной, и она ушла из редакции.

Редакционный народ как-то спокойно относился к нашим с Полиной Елиной «творческо-дружеским» отношениям. Что с них взять! — все-таки молодежная газета. А может, это только казалось мне, влюбленному по уши в нее и в свою новую работу?

Оставаясь наедине в моем кабинете, я заслушивался всегда негромким, переливистым голосом Полины. Иногда так, что уже не слышал словесных волн, а только видел ее синие глаза и больше ничего. Особенно по субботам, когда вся редакция била баклуши, а я готовил воскресный номер, а ей выпадало дежурить по выпуску.

Это были дивные субботы, когда все нормальные люди отдыхали, это был рай в огромной полупустой высотке на берегу реки Казанки. Летом мы умудрялись с ней выйти на пляж и понежиться в прохладной воде, погреться на солнышке, подбирая себе под грудь горячий песок.

Смешно сказать, но у начштаба редакции уже на первом году службы появились ученики — два юнца, два преданных журналистике молодых бойца, один из которых по его протекции был взят в штат курьером. Он-то и бегал между типографией и пляжем с упакованными в пневмопатрон, как в тубус, полосами верстки и правки. Потом, кстати, мой верный курьер стал видным газетчиком.

* * *

Но вернемся в рай, где Ева все спрашивала Адама: почему он со временем совсем перестал писать в газету?

Адам отвечал, что не хочет опускаться в мирскую суету и поденщину. Предназначен он для другого. Для чего? История пока умалчивает.

И в самом деле, не хотелось мне растрачивать свои чернила на прозу жизни, поскольку я писал прозу художественную. Дома, после работы, по ночам. Благо, что мое утро не начиналось с фабричного гудка. Мне позволялось планировать свой рабочий день самому. И за огромным старинным столом ответсека я не смешивал чернила газетчика с божественной влагой сочинителя, создателя далеко не прозаической жизни возвышенных, красивых людей, далеких от замшелой обывательщины. Но я стеснялся признаться в этом.

Удобна была мне полутехническая работа в редакции, не связанная с письмом, комфортно было жонглировать строкомером в кабинете на солнечной стороне здания, считать строки, читать, болтать, а под лунным светом жить совсем другой жизнью. Дань прилежного газетчика я сполна заплатил в многотиражке. И при этом не изменил своей мечте, любимой молодежке — просто из газетного каменщика и ква-

лифицированного строителя превратился в прораба и счетовода. На первых порах мне пришлось, конечно, показать, что я лаптем щей не хлебаю — написать кое-что, в том числе цикл очерков об экспедиции со сборной альпинистов республики на Тянь-Шань (за переработки мне раз в год предусматривалась творческая командировка), доказать, что имею полное право редактировать и править других. Тем и ограничился в письме для газеты.

И каждый раз, когда она касалась темы этой моей странной немоты, я старался увести разговор в сторону. Спрашивал, например:

— Почему тебя так назвали?

— Как? — недоуменно переспрашивала она.

— Специально или просто совпало?

— Что совпало? — Она моргала бахромой своих загнутых ресниц, ничего не понимая.

— Ну вот прислушайся: По-лина Е-лина. Вторая часть имени-фамилии одна и та же, получается и там, и тут имя «Лина».

— Интересно... Ты меня просто поражаешь! Недаром тебя прозвали Микроскопом.

— Отец твой не поэт, случайно? — продолжал я гнуть отвлеченную тему.

— Почему это?

— Имя с фамилией, получается, в рифму.

— Нет, отец мой — орнитолог, — и добавила: — Кстати, рифмы тут никакой нет, ударения не совпадают.

— Все равно — и поля тут, и ели...

Отвлечения отвлечениями, но я честно признался тогда, что такой красивой фамилии с именем я не встречал.

— Только ли? — шутила она в ответ.

— Не только, конечно, — еще честнее признавался я.

Но однажды все-таки раскололся. Зимой дело было, когда мои родители уехали в портовый Калининград, к родственнику, штурману траулера «Казань», который был в отпуске, и мы с ней решили завернуть ко мне погреться. Я пошел ставить чайник на газовую плиту, а она по-свойски прошла в хоромы нашей «хрущевки» и на моем письменном столе обнаружила рукопись с названием во главе и с пояснительным жанром под ним.

— «Холодно, горячо и опять холодно. Роман», — прочитала она с выражением.

— Ой-ой-ой! — заверещал я, бросая кухонные заботы.

— Это что ж такое?! — воскликнула Елина начальственным тоном. — Подпольный писатель у нас завелся?

— Почему подпольный?

— А потому, что в нашей редакции уже работали писатели, и все они свои художества не скрывали, наоборот, активно печатали и потом... — регистр ее голоса понизился, — долго у нас не задерживались.

— Но я еще не закончил, чтобы публиковать! — воскликнул я, не дослушав тираду до конца.

— Понятно...

— Что понятно?

— Понятно, почему ты ни строчки в газету не пишешь! — опять пошла она в атаку.

— Это не входит в мои обязанности. Для этого есть ты и твои коллеги в отделах со своими внештатными авторами.

— А ведь начинал с прекрасных очерков! — качала она укоризненно головой. — Мы думали, так и продолжишь.

— Я выполняю всю возложенную на меня секретарскую работу, — разводил я руками. — Какие могут быть ко мне претензии?

— Как какие? Я тебя нашла прежде всего как интересного очеркиста, а уж техническая твоя оснащенность — это попутно.

— Спасибо, конечно, без тебя я так и сидел бы в многотиражке. Но мне надо идти дальше.

— Куда это еще? — Ее большие синие глаза расширились и потемнели.

Я ответил, опустив голову, как школяр учительнице:

— От очерка к прозе... к художественным текстам.

Уже за чашкой чая начальственный пыл моей неотразимой гостьи поубавился, и она спросила:

— О чем же твой роман с таким интригующим названием? — и заметила по этому поводу: — У нас в детстве игра была «Холодно, горячо», когда кто-то прятал какую-нибудь свою вещицу, а другой искал ее. Если ищущий отдалялся от «клада», прячущий подсказывал словами «Холодно, еще холоднее»; и наоборот, при приближении к тайнику: «Теплее, еще теплее». И наконец восклицал: «Горячо!», когда искатель набредал на укромное место со спрятанным предметом.

— Эта игра у меня в рукописи не упоминается, — промолвил я, — хотя мы тоже так играли. Может, в подсознании она и была, как теперь мне уже кажется после твоих слов. Не знаю, но я писал совсем о другом...

Елина пила чай с блюдечка, как барыня с картины Кустодиева, только совсем не толстая и не такая важная она была. С моей гостьи можно было писать живописные полотна и пополнять галереи с идеальными фигурами дев эпохи Возрождения. Не преувеличиваю.

К чаепитию Елина относилась как к священнодействию, изящно перебирая пальчиками под горячим блюдцем, и казалось, что тема моей «подпольной» рукописи исчерпана. Но не тут-то было. Наполнив блюдце второй порцией чая, она подняла на меня свои синие озера и кратко сказала, как выстрелила:

— Дай почитать.

Я чуть не поперхнулся.

— Это плохая примета — давать читать кому-либо незаконченные вещи.

— Я тебе — «не кому-либо»! — урезонила она меня полушепотом.

— Прости, — так же тихо ответил я.

Конечно, под ее натиском устоять я не смог и стал главу за главой давать ей на прочтение. Надо сказать, такого тонкого ценителя прозы до этого встречать мне не приходилось. Она судила с точки зрения взыскательного читателя: «здесь совершенно не понятно, куда свернуло повествование», «тут нет логики, перехода от одного к другому»... Мой Белинский в юбке осуществляла обратную связь писателя с читателем до выхода рукописи в свет. И это оказалось очень важно. Я научился в некоторой мере смотреть на свое письмо глазами читателя. И главное в моих потугах было заставить его поверить в мои измышления. Для этого всю выдумку свою я сажал на реальную основу, до самых мелочей, до крохотных деталей... Так что берегись, доверчивый книгочей!

Да, я начал с крупных форм. И продолжал в том же ключе. Мне даже говорили: «Кому нужны в наш динамичный век твои громоздкие пароходы с трубами и дымом на весь фарватер? Теперь в ходу небольшие глиссирующие катера». С возрастом капитан дальнего плавания то ли обмельчал в своих масштабных притязаниях, то ли просто пыл адмирала Нельсона в нем угомонился, и как-то само собою он пересел на маленькие лодочки с веслами. Но об этом позже.

* * *

Наши отношения с Полиной давно уже были очевидны для всего коллектива редакции, но это никого не раздражало, и никто даже не подшучивал над нами. К лету,

не помню уж, какого года, я обзавелся машиной, и мы в жаркие дни пропадали где-нибудь на берегу Волги, сбежав с работы. Одного из своих учеников к тому времени я так натаскал, что он стал замещать меня в мое отсутствие. Не имей ста рублей, а имей достойных учеников, и тебе, наставник, воздастся, если они на каком-нибудь крутом повороте не предадут тебя. Но это еще когда! Пока оперятся, пока встанут на ноги... пользуйся моментом!

В один из таких дней лежим как-то на бархатной травке волжского берега, недалеко от города. Солнце ласкает нас своими животворными лучами, чайки голосят в такт легкому прибою, и совсем рядом ее небесные глаза — без облачка, без тени беспокойства.

Я спрашиваю:

— Как дразнили в детстве тебя мальчишки?

— Ёлкиной, — отвечает.

— Елина — Ёлкина, да, остроумно!

В голове ни размышлений о будущем, ничего вообще серьезного — сплошное счастье и безоблачность, как в безбрежном синем небе над нами.

Она спрашивает:

— А стихи ты писал?

— Конечно, — отвечаю. — Мой наставник говорил: «Кто в юности стихов не пишет, того надо доктору показывать».

— Почитай что-нибудь.

Я стряхиваю с ее загорелой руки муравья, встаю на колени и, барабаня себя по груди кулаком, начинаю:

Не променяю никогда
рубаху белую на черную...

Она внимательно слушает. И по окончании привязывается к фразе «Я парень чисто городской».

— А что тут такого? — удивляюсь я. — Если это на самом деле?..

— Да нет, все так. — Она садится, убирает с груди травинки. — Я ведь тоже городская, но всю жизнь вот мечтаю жить где-нибудь в лесу, чтоб просыпаться под веселый птичий щебет поутру, собирать днем ягоды к чаю, еловые лапы для аромата в моей избушке, кормить белок с руки, а ночью засыпать под соловьиные трели. А когда не спится, смотреть в окно на звезды и чувствовать, что между мной и звездной бесконечностью нет никаких преград. Знаешь ли, чем зимнее морозное утро отличается от летнего? Зимой солнце поднимается неспешно, и оно такое светло-персиковое, а сугробы, удивительное дело, и снега на крышах и ветвях деревьев принимают первоначально сказочно голубой цвет.

— В тени.

— Да, с теневой стороны. Красота неописуемая! Летом же, ранним погожим утром солнышко бодрее, оно бело своим ликом и сразу с появлением из-за горизонта пробуждает жизнь, все вокруг начинает разом чирикать, петь, жужжать, веселиться. Когда жила у бабушки в Залесном, старалась вставать еще затемно, до утренней звезды. Пусть и соники из глаз еще не улетели, но я всякий раз, как впервые, готовилась встретить рассвет и поприветствовать лучезарного бога Гелиоса на золотой колеснице. Разве в городе возможно такое? Хочу настоящий бревенчатый дом на краю деревни у густого леса, и чтоб озеро было с плывущими по нему белыми облаками.

Кто знал, что мечта ее сбудется!

* * *

Не всегда бывало солнечно и синело чистое небо над нами. Разок попали под дождь, лило как из ведра. Мы спрятались под навесом автобусной остановки. Как там очутились, где машина, не помню. Мы сидели бесприютно на реечной лавке в ожидании конца светопреставления. Полина была необычно тиха и задумчива, облачными были в тот день не только небеса, но и ее бездонные глаза.

Когда дождь кончился и мы пошли по лужам, она тихо произнесла, подняв на меня рассеянный взгляд:

— Давай поженимся.

Не скажу, что я обомлел, но пауза была продолжительной.

— А как же Сережа, законный твой?..— промолвил я. — Сын, наконец?

Она опустила глаза над посеревшими тенями. Это означало, что она все понимает, что узел этот по щучьему велению, по нашему с ней хотению не разрубить. Просто вырвалось вот само собою из груди то, что сидело в ней безысходным томлением, несказанным словом. И быть может, душа тем самым облегчилась.

И все продолжилось, как раньше, и не задавались больше мы вопросом законности нашей незаконной связи.

У читателя может сложиться впечатление, что за любовными отношениями забыли мы все редакционные обязательства, газету любимую и совесть. Не совсем. Когда я пришел в редакцию, тираж молодежки был тридцать тысяч экземпляров, через несколько лет он достиг ста двадцати пяти тысяч. Не говорю, что, мол, это я вытащил издание. Сыграли здесь немало факторов, в том числе наш крепкий с главным редактором тандем, взаимопонимание, поиск и открытия в буреломе неизменного и заасфальтированного всего и вся.

Долго ли, коротко ли рукопись моего романа пробыла в подполье, но приспело время, и книга со странным для многих названием «Холодно, горячо и опять холодно» увидела свет. Напрасно редактор госиздательства привязывался, отстоял я имя своего первенца. Больше всех, наверное, не считая родителей, радовался мой первый читатель — Полина Елина. Она прочла мой труд вдоль и поперек, с начала до конца и, казалось, с конца до начала. Нередко вспоминала цитаты. Например: «Настоящая любовь — это бесконечность». Или: «Любовь — это познание. Кончилось познание — кончилась любовь». И тут же вопрошала:

— Как же это — то бесконечность, то беспощадная предопределенность? Не понимаю!

— Жизнь противоречива, — замечал я. — Порой она тишь да благодать и вдруг такой фортель выкинет, что волосы дыбом. Не раз сталкивался с подобным.

— А сам испытывал такое?

— Пока, откровенно говоря, нет.

Но все впереди было. Не дано простому смертному заглянуть в будущее, если только вещий сон случайно не подскажет. Но я ни гадалкам не верил, ни звездным прогнозам, ни сонникам — этим толкователям снов на все случаи жизни.

* * *

А время летело вперед, как пара гнедых, — не остановить, не притормозить даже. Мне предложили новую работу, и я поднялся ступенькой выше в табеле о рангах служителей стального пера и пишущей машинки. Полина приступила осуществлять свою мечту — строить с мужем где-то за городом бревенчатый дом на краю деревни у густого леса, недалеко от озера с плывущими по нему белыми облаками.

Эти новшества не повлияли на наши с ней отношения, мы продолжали встречаться, вторая жизнь продолжалась, неизменно и параллельно, не пересекаясь с официальной, парадной, законной...

Она рассказывала, как поднимался сруб от венца к венцу, как покрылся он крышей, как заиграли солнечными зайчиками окна. А вот и первая ночь без преград между ней и звездной бесконечностью, и рассветное солнце над воротами нового дома; вот и банька, и гараж, и даже, нате вам, курятник с курами и петушиной одой новому дню!

— Приезжай как-нибудь — посмотришь!

Выбрали с ней время, подъехал к усадьбе на краю деревни у леса, недалеко от озера, по глади которого плыли белые облака. Ворота знатные, забор высокий. Звоню, стучу — тишина. Потянул на себя дверь воротную — она не заперта. Захожу, а Полина, смотрю, навстречу идет. Улыбается приветливо, а в руке топор. И обгоняет ее петух без головы, хлещет кровью, как из пулемета. И прямо мне в лицо. Заволокло глаза мутью багровой, плохо мне стало, тут разом выпорхнуло из меня сознание — погрузился, стало быть, я в беспамятство, в тишину беспросветную.

Не знаю, сколько пробыл в небытии. Лежу, глаз не открывая. Вдруг рядом — мужской голос:

— Слышь, дорогая, давай вырежем ему почку. Сейчас, знаешь, сколько она стоит?! Ему и одной хватит.

Вскочил я, как ошалелый. Озираюсь — никого. По стенам вокруг родные картины висят, фотографии... Надо же, дома я, приснилось все!

К чему это? Поверишь тут черт знает во что! Шторы посветлели, за ними новый день начинается. Вперед-вперед, к новым вершинам, жизнь продолжается! Но что-то, даже не осадок, а нечто тяжелое, нехорошее осталось на душе.

И опять все продолжилось с ней. Она говорила:

— Несмотря ни на что, мы должны видеться, чувствовать дыхание друг друга.

Тем не менее встречаться стали реже. Казалось бы, для любви нет преград, но служебная разобщенность, расстояния да эта еще пресловутая новостройка делали свое дело.

Для судьбы-злодейки этого, однако, оказалось маловато. В мае, перед обыкновенно бурным нашим летом, заведующая отделом рабочей молодежи и студентов молодежки сломала ногу. Полезла куда-то по приставной лестнице и сорвалась с высоты оконной притолоки своей бревенчатой мечты.

И наши свидания закончились. Нет, не прервались на время — полностью аннулировались из жизни, ушли в небытие. Она вышла на длительный больничный, потом уволилась... Ее выходил муж. Носил обезноженную буквально на руках.

Напомню, что тогда никаких мобильников, смартфонов, Интернета и в помине не было. Первое время я чувствовал себя словно петух, потерявший голову. Нет, неточно сказано, даже смешно. Как петух с отрубленной головой, все продолжавший бегать по каким-то неотложным делам. Постепенно успокоился. Женился, развелся. Но несмотря на безжалостные выверты судьбы, продолжал писать прозу, как уже сообщал раньше, пересев на лодочку с веслами.

Прошли годы, по шевелюре брюнета побежали серебряные нити, его любимую когда-то газету закрыли, он пересел с пишмашинки за ноутбук. Ненароком тут накатил первый его юбилей, который отмечали в ресторане, на крыше большого дома, на свежем воздухе конца мая.

В разгар празднества у юбиляра зазвонил в кармане телефон. Кто это еще?

Это была она.

Полина поздравила меня со знаменательным днем, пожелала, как положено, здоровья, успехов в творчестве и сообщила, что муж ее умер.

— Как, когда?! — не ожидал я такой концовки поздравления.

— В прошлом году, — сообщила она дрожащим голосом.

Рой мыслей пробежал в хмельной голове, в груди что-то угловато шевельнулось, но ни на какое действие я не сподвигся — ни в тот день, ни на другой. Надо было собрать воедино душу и рассудок, взвесить свои дальнейшие шаги, а я, как известно, был не скор на подъем.

Позвонил через неделю, поговорили более обстоятельно, не как в час юбилейного застолья. Завязалось телефонное общение. Я выслал ей свои фотографии последнего времени, просил прислать свой портретик, но она этого не сделала. Я предложил ей встретиться, сходить в какую-нибудь кафешку — отказалась. Позже, правда, прислала фото, сделанное на приличном расстоянии от фотокамеры, в полный рост рядом со снежной бабой. Стоит закутанная, в вязаной шапочке с опущенными ушами — формально выполнила просьбу. Думала, наверное, не разгляжу ее в таком одеянии. Но бывший ответсек разглядел. Личико ее с некогда заостренным подбородком округлилось, если не сказать оквадратилось. Да и вся она, с ног до головы, выглядела близкой родственницей той самой снежной бабы, рядом с которой стояла.

Понимаю, долгое время она не могла ходить, быть активной и жизнедеятельной, а человек без движения грузнеет. Но это, я считаю, не повод, чтобы перечеркивать былое, сводить на нет, пусть и небольшое, но еще оставшееся будущее. А может, я не прав вовсе. Может, изменившаяся внешность угнетала ее, и она стеснялась в таком раздавшемся виде показываться человеку, который знавал осиную талию своей принцессы, целовал тонкое с ямочками на щеках и большими синими глазами лицо.

Я сел и написал рассказ, где главными действующими лицами были мы с ней. Иносказательно так, не в лоб, сторонний читатель, да и знакомый, даже близкий нам человек и не заподозрил бы в парочке влюбленных на страницах художественного произведения именно нас, грешных. Но ей-то мое новое объяснение в любви должно было быть, безусловно, понятно.

И не откладывая в долгий ящик, я отправил послание с еще, так сказать, не высохшими чернилами главному моему читателю. Мы продолжали общаться по телефону. С каждым новым звонком я ждал отклика на мой рассказ, но его не было ни через дни, ни через недели. Не принято у писателей выпрашивать у кого-либо прочтения своей писанины, но Полина была «не кто-либо», как она сама о себе когда-то сказала, и я не вытерпел и спросил:

— Елина, — иногда мы называли друг друга по фамилии, как это было принято в молодежке, — ты прочитала мой рассказ?

— Нет еще, — ответила она буднично, словно я прислал ей для интереса рассказ какого-нибудь модного автора. — Но я сразу скинула на флешку. Обязательно прочту.

Минуло еще немало времени, пока она сподобилась...

— Прочитала рассказ, — сообщила как-то, чем от неожиданности даже удивила меня — думал уж, никогда не прочтет. Но большее удивление вызвала последовавшая за этим краткая оценка: — Понравилось.

Так обычно оценивают художественные произведения — будь то литература, живопись, музыка... — далекие от искусства люди, дилетанты и дети. Никакого осмысления, никаких размышлений, сколь-нибудь подобия анализа, хотя бы в двух словах. И это ведь рассказ о нас с ней от начала и до конца. Может быть, Полину подменили? Но голос-то ее. И голос этот с большим вдохновением рассказывал о яйценоскости кур. Целые лекции порой я выслушивал. А в тот день вот она сообщила, что несушка за жизнь свою способна довести яйцекладку до четырех тысяч яиц.

— И что интересно, — произнесла она звонко, — курочка может нести яйца самостоятельно, без помощи петуха, то есть без его участия в процессе...

— А как же любовь? — поинтересовался я. — Не у петуха с курицей, естественно.

— Это чисто физиологическое явление, — ответила дочь орнитолога, — и носит временный характер.

— И наша тоже?

Она хмыкнула:

— А чем мы отличаемся от прочих живых существ, населяющих Землю? Если посмотреть объективно, а?!

— Значит, то, что мы называем любовью, это просто поэтическая, а точнее сказать, человеческая придумка, чтобы заменить понятие обыкновенного полового влечения на что-то якобы высокое и красивое?

— Ты же умный человек, — послышался в трубке краткий вздох, — сними розовые очки и посмотри на мир холодным, трезвым взглядом. Существуют же незыблемые законы природы, которые распространяются на все живое, в том числе и на человека.

— Но мы же говорили с тобой, что, невзирая ни на что, будем любить друг друга бесконечно, — пытался напомнить я наши клятвы.

— Любовь, возвышенные чувства, парение в облаках... — Она глубоко вздохнула и промолвила с высоты своего жизненного опыта: — Всему свое время, дорогой.

Я ничего не ответил. Перевел разговор на бытовое и повседневное. Спросил про сына. Она в который раз поведала, что у него все хорошо, что завел он вторую семью, там и тут дети, что с дочками часто гостит у нее и помогает по хозяйству, точнее даже, ведет его.

— Все-таки без мужских рук в деревне непросто. А он у меня, что называется, с руками.

Что сказать, я согласился, а сам все думал о фразе «всему свое время». Нехорошо легли ее слова на душу. И о чем они? О временности всяких взаимоотношений, о том, что все имеет свой конец, и вообще — о мелкотравчатости человеческой особи?

Но как жить тогда, скажите на милость! Мир-то наш под солнцем, луною и звездами — не курятня, в конце концов, огражденная крышей, догмами и пыльной обыденностью.

Так мы с ней и не встретились. И телефонные свидания наши сократились до поздравлений с днем рождения и с Новым годом.

Я как-то назвал ее дочерью орнитолога, а куры, интересно, входят в науку о птицах? Много других оставалось вопросов и недоумений. Но вывод ко всему был один: курице теперь петух не нужен. И с этим прогрессивным явлением надо было смириться.

А как? Да простят меня читатели, но литераторам в этом отношении легче. У них есть еще другой мир, параллельный, который по законам Евклида с настоящим может и не пересекаться.

И улетел я с друзьями-альпинистами на Тянь-Шань, взобрался опять на пятитысячник Джигит и окинул взглядом заоблачные просторы. Под холодным, не слепящим глаз солнцем, над похожими на сугробы кучевыми облаками возвышаются заснеженные красавцы Хан-Тенгри, пик Победы, виднеется неохватное множество других гор во все стороны до горизонта. Морозно — дубак что надо! Развеваются снежные флаги на вершинах под напором леденящих ветров, а на сердце горячо. Жизнь продолжается, и она кажется вечной и высокой, как эти холодные горные вершины.

Любовь НОВИКОВА

Как вижу: одинокая и, кажется, всеми навеки забытая Любовь Новикова сидит за скрипучим письменным столом над кругом от настольной лампы, в котором покоится ослепительно пустой лист бумаги. Сидит и не знает, что будет с ней завтра, и не вполне понимает, на что ей завтра жить. Но для нее это не важно. Для нее важно лишь то (и так было всегда), что именно к утру появится на этом листе бумаги. Да, лучшее, что могло с ней случиться, наверное, позади. Да, впереди, похоже, ничего, кроме непроглядной ночи и этих безразличных звезд в окне, всю ночь стоящих на одном месте, бесконечно далеких и холодных...

Но я-то знаю, что все не так, что это Вечность привалилась к ее окну с той стороны и, боясь дышать, смотрит на нее во все глаза. Словно еще раз хочет убедиться в том, что не ошиблась в ней, что поэт Любовь Новикова — то подлинное, ради чего она сейчас стоит за ее окном, что они с нею — заодно и делают одно дело. И выходит, что еще при жизни, кажется, всеми забытая Любовь — уже в вечности. И Вечность ждет только одного, когда Любовь вспыхнет, как тот куст на горе Хорив, и запылает синим пламенем. И вот тогда польются на бумагу слова, те, с заглавной буквы, ради которых и является в жизнь поэт и ради которых он умирает всю свою жизнь. Ведь чтобы нечто подлинное появилось у поэта к утру, он должен всю ночь гореть. Только тот, кто честно горит, не умеет лгать.

А Вечности от поэта по большому счету нужна лишь правда.

Евгений КАМИНСКИЙ

* * *

Я говорю от имени травы.
От имени земли седой и древней.
Я говорю от имени листвы.
От имени деревьев.

Я говорю. Но от седой тоски
Уже словами мне не отогреться.
И здравому рассудку вопреки
Слова приобретают форму сердца.

О, как они болят во мне — слова.
Как тяжелы им злые козни века.
И я уже не чувствую родства
С людьми. Мне страшно званье человека.

Любовь Николаевна Новикова родилась в 1959 году. Поэт, член Союза российских писателей и Союза журналистов РФ. Автор девяти стихотворных сборников и публикаций в литературных журналах и альманахах. Живет в Ярославле.

И от суда не пряча головы,
Я ухожу в небесные просторы.
Жалейте мир. Щадите жизнь травы.
Ведь всяк из нас травою станет скоро.

Да будет так. Моих полночных дум
Теперь уже ничем не успокоить.
Я слышу за окном призывный шум.
Я ухожу. Я становлюсь травою.

* * *

Как холодно. И время все темней.
И люди на земле забыли Бога.
И ветер поднимается с полей.
И вдаль идет по вымершим дорогам.

И больше не с кем слова мне сказать.
И больше не с кем поделиться болью.
Как рано стала жизнь оскудевать
Надеждою, и верой, и любовью.

О, сжаться бы в невидимый комок.
Забиться бы в непроходимый угол.
Мир ослабел, затих и занемог
Смертельным неизведанным недугом.

И я стою над черной пустотой,
Над этою непоправимой бездной.
О, кто так посмеялся надо мной?
Чей там оскал сжимается железный?

* * *

Пришло мне время говорить вам так.
Ведь мне иного случая не будет:
Я верности училась у собак.
Предательству меня учили люди.

Нет, вам не затоптать мои следы
И не постичь глубин моей печали.
Я доброте училась у воды.
Уроки зла мне люди преподали.

Уже темнеет время на часах.
И многое уже мне стало поздно.
Я говорю. И на моих словах,
На буквах этих проступают слезы.

Нет, неспроста я здесь была чужой
И не нашла ни отзыва, ни крова.
О, если бы могла я стать травой
Иль чистою водою родниковой!

* * *

О, как холодно здесь. Нам уже не уйти от беды.
Чую, чую беду. Я всегда ее голосу внемлю.
Я гляжу из окна, как с большой одинокой звезды
На усталую землю.

Скоро стают снега, расплывутся тяжелой водой.
А потом все вокруг расцветет, но уже ненадолго.
Чую, чую беду. О, как в воздухе пахнет бедой.
От непролитых слез журавлиное небо заволгло.

Я уже не кричу. Я уже научилась молчать.
Разве криком моим это гиблое дело исправить?!
Лучше в поле пойду и начну обнимать, целовать
И, прощаясь, жалеть обреченные травы.

Мне уже не гулять. Мне уже больше песен не петь.
Мне уже по ночам как-то трудно и страшно не спится.
Одного я боюсь — не успеть
Все деревья обнять, всем цветам до земли поклониться.

* * *

Да что ж ты не подал руки
Последней фее?
О, как заныли позвонки
На сгибе шеи.

Как загляделась я на крюк
Для полотенцев.
Куда девать мне нежность рук
И щедрость сердца?

О чем теперь мне горевать
И что пророчить?
Куда прикажешь мне девать
Бессонность ночи?

Охрипла. В горло не продеть
Строки суровой.
Куда на крыльях мне лететь
На мотыльковых?

Ведь по-другому, чем — дотла,
Я не умею.
Плохи́ последние дела
Последней феи.

* * *

Благодарю судьбу за крест в оконной раме.
Мне без него никак — здесь гиблые места.
Кто для чего рожден, кто чем по жизни ранен.
А я вот — для креста. Оконного креста.

Пока не заживет мой обожженный профиль
На трудной чистоте тетрадного листа,
Я буду утверждать: не только на Голгофе
Стоять крестам. Они — не только для Христа.

Крест — он повсюду крест. Его такое дело.
Хоть руки разведи, так вот тебе и крест.
Была бы лишь Душа, которая б болела
За все что ни на есть, за всех кто ни на есть.

Я каждый день в окне. Полвека я распята.
Давно уж заросли на мне следы гвоздей.
Но воздаяньем мне такая же расплата,
Какую получил воскресший Иудей —

Все так же страшен мир. Злы и жестоки братья.
Все так же, как тогда, глаза у них пусты.
Все меньше у людей надежды на распятья.
И падают в цене оконные кресты.

* * *

Я была почти что на краю.
Мне до края было два шага,
Как на землю черную мою
Повалили белые снега.

И ударил ветер по стеклу.
И разбилось ветхое стекло.
И махнув полою по полу,
Все тепло из дома утекло.

Стоит ли об этом говорить?
Стоит ли об этом горевать?

Ведь уже минуло время жить,
Верить, и надеяться, и ждать.

Я уже не многое скажу.
Задохнулся криком голос мой.
Я свою печаль перевяжу
Белою полою снеговой.

Подойду к разбитому стеклу.
Заслоню разбитое стекло.
Время в сердце прибывать теплу.
Жаль вот только — время утекло.

* * *

Я думала, вправду умерли
Седые стволы берез.
Откуда в мартовском сумраке
Столько пролитых слез?

Пора уже мне одуматься,
Опомниться, откричать.
Блаженной Ксении-дурочки
Сияет на мне печать.

Ни в ком не встречая жалости,
Засохшим давясь куском,
Грожу я в безумной ярости
Всевышнему кулачком.

А небо молчит и хмурится.
И крестит за мной углы.
И плачут с Ксенией-дурочкой
Березовые стволы.

* * *

Всю-то ночь дверями тут хлопали.
Натащили грязи, натопали.
Что искали, то не увидели.
Только мою Душу обидели.

Только сердце мне растревожили.
Разделили то, что не множили.
И прожили то, что не нажили.
И ушли дорожками вражьими.

То-то я наплакалась досыта.
А потом, как омут — без просыпа.
Отдышалась, выжила. Не впервой.
С головою белою снеговой.

* * *

А в общем-то, я на признанья не падка.
Да что в них и проку, в наивных признаньях.
Вот мне б разгадать наконец-то загадку
Любви моей странной к поре увяданья.

Опавшие листья уже почернели.
И голых берез беззащитны вершины.
И помнится, в среду на прошлой неделе
Проплыл за окном моим клин журавлиный.

Дождь еле заметной скользит паутинкой.
Как будто и вправду земли не касаясь.
По мокрой, едва различимой тропинке
Шагает чуть боком ворона седая.

Не в этом же, право, таится причина
Покоя и света, плывущего в Душу.
О, как я покорна холодным равнинам.
О, как я покорна, о, как я послушна.

Как будто сама я и день этот блеклый.
И голых берез беззащитные кроны.
И эта идущая чуточку боком
На мокрой тропинке седая ворона.

Алена ДАЛЬ

РАССКАЗЫ

В рассказах Алены Даль, написанных удивительно легким, ясным и живым языком, всегда сочетаются интересный сюжет, напряженность повествования и наличие свойственной именно лучшим образцам русской литературы сверхзадачи: показать читателю мир под иным углом зрения — в авторском преломлении. Да, этот мир жесток: он пытается человека «расчеловечить», угасить в нем живую душу то рутиной утомительной повседневной несправедливости, то — экстраординарными драматическими ситуациями, то — просто усыпляющим и разрушающим личность эгоизмом. Но если человек в любых обстоятельствах противостоит этой духовной энтропии, то тем самым он доказывает, что существование его не ограничивается бытовыми обстоятельствами и временными рамками, но имеет смысл и некий высокий замысел, который нужно и возможно реализовать наперекор всему. Это и делают герои рассказов Алены Даль, без всякой назидательности и пафоса как-то очень естественно утверждая именно оптимистичность трагедии каждой самой обычной жизни и возможность ее выхода в поистине космическую бесконечность.

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ

ВАРЕЖКА
(цикл «Люди»)

Изабелла Петровна была женщиной умной, образованной, всеми уважаемой. Природа не обошла ее ни красотой, ни талантами. Ей никто не давал больше шестидесяти, хотя она давно переступила порог восьмого десятка. Но до сих пор закрашивала седину, держала гордо спину и не выходила из дому без яркой помады на губах.

Изабеллу Петровну ценили в трудовом коллективе, где она проработала двадцать пять лет, дослужившись до начальника отдела. При выходе на пенсию вручили путев-

Алена Станиславовна Даль родилась и проживает в Воронеже. Прозаик и публицист, член Союза писателей России. Публиковалась в литературных изданиях: «Роман-газета», «Москва», «Литературная газета», «Наш современник», «Подъем», «Север», «Петровский мост», «Бельские просторы», «Нижний Новгород», «Эдита» (Германия) и многих других. Автор книг «Хождение по Млечному Пути», «Живые души», «Жизнь начерно». Участник нескольких литературных сборников и альманахов. Лауреат Германского международного конкурса «Книга года», финалист премий им. Абрамова «Чистая книга», им. Левитова, им. Куранова, конкурса «Яблочный Спас», неоднократный лауреат международного конкурса «Русский Гофман», обладатель приза читательских симпатий конкурса «Есть только музыка одна» и других литературных наград. Автор курса лекций «Книги и социум», программы «Письменные практики». Участник книжных выставок, литературных и культурных фестивалей.

ку в Сочи (между прочим, не каждый пенсионер НИИ удостаивался такого подарка — в ходу были часы да утюги).

Изабеллу Петровну всегда окружали подруги, среди которых были и весьма выдающиеся. Например, оперная певица Регина Калмыкова, с которой они познакомились в санатории. Изабелла Петровна много лет ходила потом в музыкальный театр по контрамарке, сидела на приставном стуле и знала наизусть весь репертуар. Или взять диктора рижского телевидения Эмилию Сергеевну, которая дружила с женой Раймонда Паулса. Однажды Эмилия пригласила Изабеллу к себе в гости, в Ригу на католическое Рождество, пообещав познакомить с маэстро, но некстати прорвало батарею, и поездку пришлось отменить.

Изабелла Петровна прекрасно читала стихи, особенно любила декламировать под рояль. Однажды с поэмой «Мцыри» она выиграла городской конкурс чтецов, была награждена почетной грамотой и билетом в Останкино на запись «Голубого огонька». Видела своими глазами Льва Лещенко и Софию Ротару. Полдня пила шипучку, слушала выступления и по команде ассистента кидала серпантин. После записи в Останкине были Третьяковская галерея и ГУМ. Словом, культурная жизнь Изабеллы Петровны была яркой и насыщенной.

Вот только с дочерью не повезло. И в кого только такая уродилась? Не иначе, в отца, в светлаковскую их породу. Дочь Таня с детства была дерзкой и колючей. Прекрасным не интересовалась. На лицо — так себе, носатая в отца да в тетку Дусю, глаза — дедовы, от Изабеллы только волос густой достался, да и то поседела рано, как и все Светлаковы. Краситься дочь не умела, на просьбы матери замазать прыщи огрызалась. Одевалась как придется. Не было в ней ни женского шарма, ни грамма кокетства. Правда, училась всегда на одни пятерки, а потом важные посты занимала — хоть чем-то можно было гордиться Изабелле Петровне. Зато гонору у Татьяны! Все всегда делала по-своему, наперекор ей. А в последние годы и вовсе отвернулась — не звонит, не заходит, не интересуется ни здоровьем, ни культурной жизнью матери. Как чужая. Впрочем, чужой она стала еще раньше, когда стала заступаться за отца — неотесанного невежу, с которым промаялась Изабелла Петровна без малого полвека. А как помер отец — так и вовсе замкнулась на все замки, будто и нет у нее родной матери.

Изабелла Петровна развернулась в кресле и, не вставая, достала с полки новый сборник кроссвордов. Щелкать кроссворды было ее любимым развлечением. Именно в этом занятии открывалась вся глубина ее эрудиции, вся мощь незаурядной памяти. Ну и о медицинских показаниях она не забывала: ведь известно, что интеллектуальная деятельность вроде разгадывания кроссвордов — отличная профилактика болезни Альцгеймера и прочих проявлений старческого слабоумия. Покойный муж отмахивался от ее советов — и вот результат: на склоне лет стал нелюдимым, как бирюк, не спал по ночам, заговаривал сам с собой да людей в парке пугал своими ужимками. Хоть кол на голове теши! Но теперь тесать кол было не на ком.

Не успела Изабелла Петровна вставить шестым по горизонтали слово «телефон», как аппарат на тумбочке громко затрещал.

— В филармонию пойдешь? — с ходу спросила Нина, ее товарка по культпоходам. — Мне Светлана Игоревна четыре билета обещала.

— Разумеется, — Изабелла Петровна никогда не отказывалась от возможности бесплатно насладиться классической музыкой. — А кто еще идет?

— Марина с мужем, — ответила подруга.

— Так он же у нее глухой на оба уха и после инсульта еле ходит? — удивилась Изабелла Петровна.

— Да, знаю. Но говорит, только с ним или не пойдет вовсе. Слушай, а может, Татьяне своей предложишь?

— Таньке-то? Что ты — ее не дозовешься, она занятая! К матери дорогу совсем забыла, — размотав шнур и уютно устроившись в кресле, Изабелла Петровна оседлала любимую тему. — Начинаю рассказывать ей что-то, а она только «да» или «нет». Все некогда ей. Как про отца заговорю — так и вовсе «кошки в дыбошки». И за что мне такое мучение? Вот уродилась-то дочка — врагу не пожелаешь! У всех дети как дети, а у меня... — она закатывала глаза и переносилась в ту самую весну с бескровным небом и тонкими стебельками бледных тюльпанов, зажатых в руке Толика.

«Белла, Беллочка, рыжая белочка, — бормотал он, узнав о случайной беременности. — Оставь ребеночка, я буду лучшим отцом в мире!» Стоял на коленях, умолял, плакал, обещал звезды с небес, только бы Белла аборт не делала. Уговорил. Оставила. И что? Полюбуйтесь, что получилось! Вся жизнь после этого пошла наперекосяк. Звезд Изабелла Петровна от мужа так и не дождалась — да и что ждать от неудачника? Поспешно расписались, пока не было заметно живота. А летом сыграли свадьбу, в деревне, у Толиковой родни. Ну как свадьбу? Нагнали самогонки, закололи поросенка. Поставили под старыми яблонями столы, настелили лавки да посуду по соседям собрали. Гармонь и бубен. Вот и вся свадьба. Из гостей — Толикова мать, сестра Дуська и Лешка, деревенский сосед, он же свидетель. С Беллиной стороны, кроме дядьки и нескольких институтских подруг, никого не было. Зинаиду Николаевну Белла не пригласила принципиально. Она и матерью-то ее перестала называть, как только узнала, что та ей и не мать вовсе, а так только опекунша. Понятное дело, опеку взяла под напором мужа-фронтовика — родного Беллиного дядьки. Своих детей у них не было. Но паспорт с чужой фамилией, выданный на совершеннолетие, все расставил по местам. Обида на Зинаиду Николаевну, тлевшая долгие годы, получила документальное обоснование, обросла новыми колючками. После выпускного Белла собрала чемодан и уехала учиться в Куйбышев. Не писала — да и с какой стати писать чужим людям? Вернувшись, поставила перед дядькой вопрос ребром: или я — или она (имея в виду мачеху). Дядька долго решал, но так ничего и не решил. Умер от старой фронтовой раны за месяц до родов. Сразу после похорон Зинаида Николаевна молча перебралась к сестре, оставив квартиру молодым. И Белла стала считать себя отныне сиротой.

Ровно в середине зимы родилась Тата. Дурацкое прозвище, данное дочке мужем, выводило Изабеллу из себя. Еще больше злила его внезапная нежность к малышке. «Таня», — поправляла она, туго пеленая крикливую, худосочную девочку с оттопыренными ушами. Но Толик лишь улыбался, стелил в коляску стеганое одеяльце и уходил со своей Татой в парк. Белла дулась, но недолго. Ставила пластинку Вивальди, наряжалась перед зеркалом, утягивая шелками располневшую фигуру, со вкусом красила ресницы и шла с незамужними подругами в «Шоколадницу».

Дочь росла гадким утенком — худой и нескладной. Вечно сутулилась, за что частенько получала от Беллы хлесткие напоминания по острым, торчащим вразнобой лопаткам.

— Девочка должна ходить гордо, нести себя, как хрустальную вазу! — наставляла Изабелла, показывая на себе пример правильной, горделивой осанки.

Но Тата, упрямица, стоило только матери отвернуться, снова вжимала голову в плечи и плелась на полусогнутых ногах во двор, играть в классики. Или запрется у себя в комнате с книжкой и ничего не слышит — не дозовешься! А иной раз глянет исподлобья — чисто тетка Дуся, аж оторопь берет! Если бы Изабелла Петровна только зна-

ла, что в роду у Светлаковых есть психбольные, — ни за что бы не поддалась на уговоры Толика. Но что теперь говорить!

Однажды, когда Татьяна еще училась в институте, Изабелла Петровна взялась както разбирать ее письменный стол. В нижнем ящике среди старых конспектов обнаружила тонкую пачку перехваченных резинкой писем. Все они были адресованы отцу, когда тот лежал в больнице с сердцем. Дрожа от нетерпения, мать вскрыла первое, что попалось под руку, и сразу наткнулась на приторное сюсюканье: «Дорогой папочка, — писала дочь, — ты, главное, ни о чем не волнуйся. Я тебя очень люблю. Тетю Дусю я обязательно навещу...» — и все в таком же духе. Остальные письма полны были тех же слащавых признаний. И это писала Танька, от которой слова доброго не дождешься! К тому же выяснилось, что она знается не только с психической Дуськой, но и с Зинаидой Николаевной, тайком шляясь к той в гости. Выходит, отец со своей родней и чужая бабка ей дороже родной матери?!

Изабелла хотела порвать письма, но взяла себя в руки. Затаила обиду. На дочь за то, что та, оказывается, способна на телячьи нежности. На мужа, которому они достаются. На их общую тайну, существовавшую помимо нее, на подпольное чувство — незаслуженное, неправомерное, неподвластное ее воле. Уж она-то себе цену знала! Но отчего-то эти двое не считались с ее самооценкой. И вообще ни в грош ее не ставили! Следом накатила обида на судьбу за все унижения, предательства, за неоцененную ее жертвенность. Изабелла Петровна почувствовала себя горько и подло обманутой.

Когда вернулся с работы Толик, первым делом потребовала объяснений у него. Но тот лишь привычно махнул рукой и отправился на кухню чистить картошку. Через десять минут на плите зашкварчало, он вышел розовощекий, миролюбивый — видно, где-то уже приложился! — полез обниматься и признаваться в любви.

Танька — та, наоборот, зыркнула зверем и заперлась в комнате. Ни слова не сказала в свое оправдание. Но после этого ни разу Изабелла Петровна не могла отыскать ни листочка личного. А потом и вовсе появились компьютеры, и Татьянина жизнь стала для нее непроницаемым черным ящиком. Впрочем, дочь никогда не отказывала матери в ее просьбах о помощи — отвезти, привезти, купить, забрать — это пожалуйста. Но делала все без огонька, бесчувственно, точно робот. А Изабелле Петровне требовалась любовь. И дочерняя нежность, положенная ей по праву кровного родства.

Несколько раз Татьяна писала матери письма. Но Изабелла Петровна на них не отвечала. «Что толку? Зачем связываться с больными людьми?!» — думала она, читая торопливые, плачущие навзрыд строки. Совершенно же ясно, что подобный бред мог написать лишь человек не в себе. Танька таковой и была. Как и папаша ее на старости лет. Видимо, Дуськины гены как-то передались по кривой в Толиков род. Эх, природа-мать!

Лишь культура, книги и интеллектуальное общение спасали Изабеллу Петровну от скуки и примиряли с несправедливостью судьбы. Да еще сериалы по телевизору, уносящие в дальние дали, да кроссворды, да подруги, которым в любое время можно было рассказать о своем сиротстве, о постылом муже, отнявшем лучшие годы ее жизни, о Танькиной неблагодарности. Тем и утешалась.

В третьем часу ночи зазвонил телефон. Изабелла Петровна убавила звук телевизора и, путаясь в полах халата, поспешила в коридор. Кто бы это мог быть в такой час?

— Не спишь? — спросил глухой, отдаленно знакомый голос.

— Кино смотрю, — механически ответила полуночница. — Кто это? — рука, сжимающая трубку, дрогнула.

— Белла, ты что, не узнаешь меня? — удивился собеседник по ту сторону провода.

— Нет, — пробормотала женщина.

— Беллочка, ну хватит притворяться! Лучше скажи, ты уже придумала имя?

— Какое еще имя?! — вспыхнула Изабелла Петровна. — Что за глупый розыгрыш? Прекратите немедленно! Кто вы? Если сейчас же не представитесь — сообщу в полицию! — приклеенное к трубке ухо уловило издевательский смешок.

— Пожалуйста, если ты забыла — напомню: Анатолий Григорьевич Светлаков! — отрапортовал ночной абонент. — Белла, ну хватит дуться! Лучше скажи — как назовешь нашу дочку? Я уверен — это будет девочка! Такие красивые мамы должны рожать только дочек!

— Никакой дочки не будет! Ты меня обманул! Ты любишь ее больше, чем меня! — взревела Изабелла Петровна. — Сволочь! Предатель!

— Что ты такое говоришь, Беллочка! Как я могу ее любить больше тебя?! Ее же нет! И потом, я никого никогда не смогу полюбить больше, чем тебя!

— Врешь, скотина! Смог! Смог! — вопила в трубку Изабелла Петровна. — Поэтому ее не будет! Никогда!

Телевизор сам собой прибавил громкость, и по квартире разлилась ария Ленского из «Евгения Онегина». В стену заколотили. Изабелла Петровна швырнула трубку и, распаленная, кинулась к висящему в простенке зеркалу. Оттуда на нее смотрела медноволосая красавица с узкими монгольскими глазами. Шелковый халат разметался над круглым животом. Из кромешной тьмы, сгустившейся позади медноволосой, выступил Толик — но не тот молодой, только что говоривший с нею по телефону, а старый — со впалыми щеками, небритый, в больничной пижаме. Он улыбался пустым ртом и тянул к ней узловатые руки: «Белла, Беллочка, рыжая белочка...»

Изабелла Петровна вскрикнула и проснулась. Села, тяжело дыша, выпрастывая из-под себя перекрученный халат. Телевизор работал на полную мощь. Нащупав пульт, она погасила экран и некоторое время сидела в тишине. Потом встала и пошла на кухню, шаркая тапочками.

Часы показывали пять тридцать. Мысли путались. Гудели трубы. Засохшая ветка царапала оконное стекло. Окно было таким мутным, что наступление дня Изабелла Петровна угадывала по звукам. Раньше окна мыл Толик. Еще раньше — Зинаида Николаевна, но очень давно, когда Белла еще в школе училась. Когда ж это было? Десять, двадцать, сорок лет назад? А форточка уже тогда заедала...

Изабелла Петровна вдруг с ужасом поняла, что теряет память. Свою феноменальную память, которой так гордилась. Она давно забыла, сколько ей лет, есть ли у нее дочь, или она так и не родила ее вопреки уговорам Толика? Жив ли муж, лежит ли снова в больнице? В какой? Или она похоронила его? Когда? Где?.. Вопросы беспокойно метались в ее голове, натыкаясь на глыбы выученных наизусть поэм и арий, на словари, либретто, афоризмы, имена греческих богов и памятные даты. Одно она помнила наверняка: жизнь была несправедлива к ней. Судьба не сложилась — и в этом были повинны другие люди. Те, которых она так и не могла ни вспомнить, ни забыть.

Утро прокралось в кухню воробьиным гамом, дребезгом первого трамвая и шарканьем метлы. Серая кухня чуть выцвела и поголубела. Изабелла Петровна поставила чайник, включила радио — по «Маяку» передавали хабанеру из «Кармен». Под финальные аккорды арии в замочной скважине послышался скрежет ключа, на пороге появилась женщина с седой челкой. «Из собеса», — догадалась Изабелла Петровна. Раз в две недели она приходила к ней, приносила лекарства, кроссворды, оплаченные кви-

танции. Изабелла Петровна не помнила, когда и как записывалась на социальное обслуживание, но раз положено по закону — пусть приходит. Правда, она давно собиралась написать заявление, чтобы прислали кого-то еще вместо этой странной, так похожей на Дуську сотрудницы. Только не знала, как это сделать.

Выложив из сумки пакет с лекарствами и свежую стопку кроссвордов, женщина засучила рукава, взяла в кладовке ведро с тряпками и встала перед кухонным окном.

— Мыть собралась? — сурово спросила Изабелла Петровна.

— Помою, — кивнула женщина. — А то совсем света белого не видно.

— Ишь ты, не видно ей, — пробурчала под нос хозяйка, но возражать не стала. Да и кто еще согласится мыть ей окна бесплатно?

Она взяла брошюру с кроссвордами и пошла поближе к телевизору. Там как раз «Час оперетты» по каналу «Культура» должен начаться. А то эта сейчас раскроет окно — сквозняк будет.

Окно было старым, тугим, из окаменевшего дерева, с натеками многолетней краски — сейчас такие редко встретишь. Сползшая с петель узкая форточка так часто смазывалась маслом, что совсем перестала вмещаться в проем и болталась, как ей вздумается. Только загнутый уголком гвоздик мог урезонить ее в ветреную погоду.

Незнакомка спустила на пол буйный куст алоэ с жесткими колючками на увядших листьях, сложила в раковину разнокалиберные чашки с отколотыми ручками, треснутые миски, пустые контейнеры, заполонившие широкий подоконник. Сняла прогорклую штору, смела веником сухие листья, хлопья пыли и паутины. Она попыталась открыть окно, но шпингалет намертво врос в вековой слой краски. Форточка дрожала в ответ на жалкие потуги расшевелить раму. Пришлось воспользоваться молотком. Женщина ударила по шпингалету и стучала до тех пор, пока не выбила его из гнезда. Дернула ручку изо всех сил, еще раз — створка с треском распахнулась, прыснув сухой краской. Между стекол, среди желтой ваты, тополиного пуха, слюдяных крыльев мотыльков и прочей трухи обнаружилась... старая, свалявшаяся варежка. Уборщица отложила ее на край стола и продолжила сражение с окном. Вторая рама подалась легче. Обнажился ржавый отлив в голубином помете.

Женщина энергично вспенила воду и принялась слой за слоем смывать вековую грязь, помогая себе скребком и щеткой. Вода стекала мутными ручьями на предусмотрительно подстеленную клеенку. Ошметки птичьего помета, липкой паутины летели в мусорное ведро. Несколько раз менялись ведра, тряпки. В ход шли газета и нашатырь. Широкий подоконник оттирала пастой в несколько заходов. Наконец осталось лишь вытереть насухо стекла и вернуть створки и шпингалеты в первоначальное положение. Женщина работала неистово, в каком-то обреченном исступлении. Когда работа была почти завершена — оставалось только закрыть окно, — налетел ветер и чуть не сдул худую, нескладную фигуру работницы в оконную пасть, но та успела схватиться за раму. Рама скрипнула, но удержала ее вес.

— Развела тут сквозняки! Простудить меня хочешь? — раздался недовольный голос, и на пороге кухни появилась Изабелла Петровна с карандашом и кроссвордом в руках.

Старуха зажмурилась от яркого до боли света, хлынувшего сквозь вымытое окно. Закрыла лицо руками, а когда отняла ладони, взгляд ее упал на старую варежку, лежавшую на краю стола. Изабелла Петровна хотела было выругаться на то, что работница всякую дрянь на стол кладет, но вместо этого неожиданно всхлипнула. Нахмурила брови, намереваясь предъявить претензии, но не смогла вымолвить ни слова. Подбородок ее задрожал. Карандаш выпал из рук.

«Мама Зина», — выдавила она, и слезы полились из ее глаз. Она вспомнила все об этой варежке с уродливой снежинкой. Как мама потеряла вторую в парке, когда катались с горки. А уцелевшую приспособила под прихватку. Как брала этой варежкой чугунную сковороду и ловко вставляла ее в форточку, чтобы поскорее остудить слишком горячий ужин. Как пришила к варежке петельку для удобства — так можно было вешать ее на крючок. Изабелла Петровна всхлипывала, как в детстве, когда однажды мама долго не забирала ее из садика, и казалось, что она уже никогда не придет за ней. Вспомнила поминутно тот день — пыльный и душный, толстые пальцы паспортистки, документ с чужой фамилией и виноватые глаза матери. Как объявила ей бойкот, промолчав три недели, не проронив ни слова. Только отцу, разжалованному в дядю Сашу, позволяла пару-тройку дежурных фраз. Как придумала называть неродную мать по имени-отчеству — Зинаидой Николаевной. Как вздыхал от этой перемены дядя и хватался за сердце. В памяти всплыли их письма в Куйбышев, ни одно из которых не было удостоено ответа — так велика была обида. Изабелла Петровна видела себя, как в зеркале: вот она вернулась домой, гордая и независимая, с красным дипломом. А спустя полгода познакомилась с Толиком. Вспомнила, как запретила маме появляться на свадьбе. И ее глаза — сухие и обреченные. Долгие-долгие годы она отталкивала мать, находя тысячи причин и объяснений... И еще она вспомнила, что Толик сумел уговорить ее не делать аборт. И что родилась девочка, как и хотел муж.

Изабелла Петровна медленно перевела взгляд с варежки на вжавшуюся в стенку незнакомку.

— Таточка! Дочка! — и упала без чувств.

Когда спустя месяц Изабеллу Петровну выписали из больницы, она не помнила ни одной поэмы, ни даже самого короткого стихотворения, не угадывала названий опер и не могла завершить ни одного афоризма. Кроссворды ушли в прошлое, ибо семьдесят процентов словарного запаса было безвозвратно утрачено. Сериалы перестали интересовать Изабеллу Петровну, потому что каждый раз она сбивалась с сюжетной нити и не помнила имен героев. Подруги, видя такие перемены, сами собой отпали.

Зато Изабелла Петровна теперь помнила главное. Что у нее была мама Зина. Что был муж Толик, который полвека преданно ее любил и, пожалуй, любит до сих пор, раз так часто является во сне. Только теперь он не мучает ее расспросами, а просто улыбается в зеркале. Изабелла Петровна знает наверняка: у нее есть дочь Тата — и совсем неважно, кто она и какая. Главное, что это Тата.

ШТОРМ

Сигнал бедствия капитан Петренко получил без пяти минут шесть. Загрузившись в Буэнос-Айресе зерном до Портленда, балкер прошел без происшествий почти пятьсот миль. Этот контракт получился длинным — девятый месяц без семьи. Пора домой. Хотя где теперь его дом?..

Риторические вопросы никогда не нравились Петренко. Тем более сейчас, когда от него требовалось другое: спасти людей, оказавшихся один на один со стихией. Это был незыблемый долг моряка, морской закон, стоящий выше всех прочих кодексов и правил.

— Вас понял, — ответил капитан по рации бразильской спасательной службе. — Меняю курс. Расчетное время подхода — два часа.

— Поторопитесь, — попросили в трубке. — Судно полностью потеряло управление. На борту восемь человек экипажа и два пассажира.

Петренко бросил взгляд на монитор — до линии шторма тридцать миль.

— Сделаю все возможное.

Он отключил рацию и нажал кнопку судовой связи.

— Внимание! Говорит капитан корабля, — раздалось из динамиков. — Судно экстренно меняет курс. В тридцати милях на юго-восток от нас терпит бедствие парусный катамаран «Немо» под флагом Кипра. Экипажу приготовиться к форсированному ходу и спасательной операции.

Согласно морской практике, капитан обращался к команде на английском: в экипаже помимо русскоязычных моряков были филиппинцы и поляки. Вся команда слаженно, без лишней суеты приступила к ее выполнению.

Вот уже пару лет, уходя в рейс, Андрей Кузьмич Петренко всякий раз думал, что это в последний раз. Морская выслуга позволяла ему в любой момент сойти на берег. Но море не отпускало. Да и переезд семьи в другую страну требовал финансовых вложений.

Одесса, где он отучился в высшей мореходке, за тридцать лет сильно изменилась, превратившись из яркой, шумной, веселой морячки в строгую, сухую старуху с поблекшими, выплаканными глазами. Особенно состарили ее последние годы. Сыновья ее разругались насмерть, брат пошел на брата, и она — мать — ничего не могла с этим поделать...

Когда Петренко был курсантом ОВИМУ, никто даже в самом страшном сне не мог представить, что такое возможно. В роте с ним учились ребята со всего Союза. Белые лайнеры на причалах Морвокзала, украшенные флагами всех стран, белые кители капитанов, белые чайки, одинаково крикливые во всех портах мира... Когда они сидели с другом Фролом (Сергеем Фроловым) у пирса той весной 1991 года, перед защитой диплома, спорили лишь об одном: кто первый станет капитаном. Оба мечтали распределиться в ЧМП. И никто из них не подозревал, что Черноморское пароходство так скоро прекратит свое существование. И что капитанский пост им придется зарабатывать при других обстоятельствах. Да что об этом вспоминать... Где, интересно, сейчас Фрол? Жив ли? — некстати подумал Петренко.

К нему подошел вахтенный штурман.

— Кэп, есть связь с катамараном, — и протянул рацию.

— Говорит капитан балкера «Юнион». Находимся примерно в восьми милях от вас. Идем полным ходом. Уточните ваши координаты.

На том конце трубки назвали цифры. Петренко понял, что катамаран сносит в сторону, в глубь циклона.

— Что с судном?

— Рулевая коробка вышла из строя. «Ухо» отломилось. Судно неуправляемо.

— Ясно. Есть пострадавшие?

— Серьезных — нет.

— Ладно. Держитесь, ребята! Мы идем. На связи.

И только закончив разговор, Петренко понял только, что английский язык, на котором шли переговоры, был для чужого моряка, как и для него самого, иностранным.

Балкер «Юнион» выжимал свой максимум — пятнадцать узлов. Старпом держал связь со спасательной службой Бразилии. Стало ясно, что их судно — ближайшее

к терпящему бедствие катамарану. Несмотря на это, по координатам выдвинулись для подстраховки еще два корабля — греческий танкер и порожний сухогруз под флагом Панамы.

Окончательно рассвело. Петренко продолжал напряженно всматриваться через бинокль в линию горизонта. Вскоре он увидел хорошо знакомую фиолетовую кромку циклона. Зыбь усилилась. Но груженый балкер крепко держал курс.

Снова ожила рация.

— Говорит капитан «Немо», — раздалось в трубке.

— Слушает капитан Грант! — не удержался от шутки Петренко. — Я тоже люблю Жюля Верна.

— Нам не до шуток. У нас еще одна проблема: обнаружена течь, — сообщили с катамарана. — Пытаемся остановить, но трещина большая.

— Извини, дружище, — произнес капитан, — полчаса продержитесь. Входим в зону шторма. Скоро будем.

«Юнион» с разбегу воткнулся в ватную гущу соленого тумана. Однако волны немного сгладились, присмирели. Петренко знал это явление штормовой «передышки», когда между двумя актами бури случается «антракт», резко ухудшающий видимость, но дающий возможность приблизиться к тонущему кораблю. Этот «антракт» мог длиться полчаса или час, но неизменно завершался еще большим штормом.

— «Немо», как слышно меня? — крикнул в трубку Петренко.

— Капитан «Немо» слушает, — голос на том конце был уставшим, но спокойным.

— Видимость очень плохая. Включите все огни. По координатам мы близко.

— Уже включили. Ждем.

— Что у вас с течью?

— Устранили. Справились, слава богу! — последние два слова капитан катамарана произнес на русском.

Услышав родной язык, Петренко с облегчением вздохнул. Он понял, что они успели вовремя и теперь все будет хорошо. В тумане проступили пятна сигнальных прожекторов. Взвыла сирена.

— Вижу ваши огни, — перешел он на русский.

— Я тоже вижу вас, «Юнион».

В этот момент сверху хлынул дождь. Серая стена воды встала между кораблями. Зыбь усилилась. Это означало, что «антракт» скоро закончится и, выплакавшись, буря грянет с новой силой. Оба капитана понимали это.

— «Немо», нас сильно раскачало, — произнес Петренко. — Шлюпки спустить не сможем. Подойдем кормой с подветренной стороны.

— Вас понял, «Юнион». Готовы принять концы.

Балкер медленно развернулся, стал носом к волне и попятился кормой к катамарану. А потом, прикрывая «Немо» от ветра, прижался правым бортом. Среди дождя и тумана проявились, словно на черно-белой фотографии, фигуры людей. На палубах обоих кораблей стояли вымокшие насквозь моряки и глядели друг на друга. Этот взгляд длился одну минуту, а может быть, вечность... Те, кому случалось терпеть бедствие в открытом море, кому хоть раз приходилось прощаться с жизнью среди бушующих волн океана, — тот знает цену этому взгляду. Это взгляд внезапно обретенной надежды. Символ того, что это еще не конец и жизнь дает тебе шанс все исправить.

С палубы балкера полетели концы, их поймали матросы катамарана. Корабли тесно прижались друг к другу. Началась спасательная операция.

Закрепив на стропах ценный груз, быстро перебросили его на «Юнион». Матросы с двух сторон тянули канаты, но волнение усиливалось. Для переброски людей оставалось полчаса, не больше. Сначала к страховочным стропам привязали поочередно двух пассажиров и переместили на палубу балкера. Теперь борта кораблей бились друг о друга сильнее, терлись и скрежетали. Моряки «Немо» один за другим прыгали на трап, ловя подходящий момент. С каждым разом делать это становилось все труднее и опаснее. Один человек сорвался вниз — матросам балкера пришлось буквально выдернуть его из бездны. Минутой позже — и его раздавило бы между бортами.

Капитан катамарана, еле удерживаясь на ногах, поправил крепление буксировочного троса. Он надеялся спасти корабль.

— Эй, капитан, поторопись, — крикнул в мегафон Петренко.

Тот махнул рукой и защелкнул на поясе карабин страховки. Катамаран раскачивался на волнах все круче, не оставляя шанса уцепиться за трап. Правым бортом «Немо» нырнул в воду и подпрыгнул. Время шло на минуты.

— Даю малый вперед, теряем управляемость! — объявил Петренко. — Сможешь на ходу?

— Буду пробовать. Другого выхода нет!

Капитан Петренко до рези в глазах следил за движениями хрупкой фигуры, столь слабой и уязвимой в сравнении с яростной мощью стихии.

Когда между бортами образовалась пара свободных метров, капитан «Немо» выкрикнул:

— Вира! — и, оттолкнувшись, прыгнул в бездну.

Матросы балкера синхронно дернули спасательные концы — моряк уцепился за нижнюю перемычку трапа. Подтянулся, ухватился обеими руками. Из последних сил стал карабкаться наверх, подтягиваемый страховочными тросами. И вот наконец, перевалившись через борт, рухнул на палубу. В этот самый момент катамаран развернуло.

Капитан Петренко вдруг сорвал с головы капюшон и упал на колени возле чудом спасенного моряка. Он не поверил своим глазам.

— Фрол! Ты, что ли?! — схватил за грудки обмякшее тело.

Спасенный разлепил мокрые веки и слабо улыбнулся.

— Он самый... Петрак?!

— Я.

Капитан «Немо» пошевелил рукой и, скривившись от боли, отключился.

— Во вторую каюту его! — скомандовал Петренко на ходу, взбегая на мостик. — Остальных тоже разместите и окажите первую помощь.

В рубке он задал рулевому курс и взял в руки микрофон судовой связи:

— Внимание! Говорит капитан корабля. Спасательная операция завершена. Все моряки «Немо» приняты на борт, продолжаем буксировку катамарана. Судно следует в порт Рио-Гранде. Экипажу приступить к своим обязанностям по судовому расписанию.

Петренко посмотрел на часы — от момента получения сигнала SOS до объявления прошло восемь часов. Доложив в спасательную службу Бразилии, уведомив капитанов судов, страхующих операцию, он оперся спиной о стену рубки и прикрыл глаза.

Балкер «Юнион» натужно резал волну, упрямо выбираясь из шторма. На буксире болтался обессиленный катамаран «Немо». Все люди спасены — это главное. Толь-

ко сейчас Петренко почувствовал нахлынувшую усталость. Выполнив главное, организм отключил режим мобилизации и позволил себе заявить о слабости и боли. Это нормально.

Гораздо труднее было отключить другое — неустанные, изнуряющие мысли о войне. И унять другую боль, привычно вонзающую в сердце ржавую, с зазубринами иглу. Сын Тарас — погибший и непогребенный — вставал перед глазами: улыбающийся, машущий рукой, обещавший вернуться. И навеки не выполнивший своего обещания. Капитан Петренко сжал кулаки и зубы. Ничего не исправить.

В ту весну Андрей Петренко через знакомых переправил жену с дочкой из Одессы под Полтаву. А потом переселил еще дальше — в Варну. Курская родня жены, узнав, на чьей стороне воевал сын, принять их отказалась.

Капитана Петренко грызло еще одно: пропасть, разделившая их с сыном в последние годы. Сначала он списывал все на извечную проблему отцов и детей. Потом понял, что не только это. Сам он дома бывал редко — все старался семью обеспечить, рейсы не выбирал, менял суда, не глядя продлевал контракты. И упустил что-то важное. Когда пришел в очередной отпуск — сын уже говорил исключительно на мове, усмехался над отцом, когда тот его не понимал. Начал делить людей на украинцев и москалей. А потом...

В дверь каюты постучались.

— Капитан «Немо» просит о встрече, — доложил вахтенный матрос-филиппинец.

— Пригласи! — распорядился Петренко.

Неожиданно его охватило волнение. С Фролом они не виделись десять лет. Последний раз встречались в Одессе на юбилее Мореходки. Столько воды утекло с тех пор. И столько крови пролилось...

— Разрешите? — на пороге стоял Сергей Фролов, его сосед по курсантскому кубрику, лучший друг, почти брат. Рука его была перевязана. Мокрые волосы примяты набок.

— Проходи, садись, — Андрей Петренко кивнул на кресло. — Документы принес? — спросил, лишь бы заполнить возникшую вдруг пустоту.

— Да. — Фролов вытряхнул из папки судовые документа, паспорта.

— Что с рукой?

— Да так, ерунда.

Петренко раскрыл наугад синий паспорт моряка. Фролов Сергей Петрович. Гражданин России.

— Давно под кипрским флагом ходишь? — поднял бровь.

— Давно. Восемь лет.

Разговор не клеился. Формальные вопросы, задаваемые капитаном экипажу спасенного судна, казались плоскими, казенными.

Капитан Петренко отодвинул документы в сторону.

— Слушай, к черту бумаги! Давай так: расскажи, как ты прожил эти десять лет. А я тебе расскажу. Можем же мы поговорить как старые друзья? Ну, или как новые враги... — взгляд Петренко зачерствел.

Он поднялся к шкафу, вытащил из бара бутылку рома и два квадратных стакана. Плеснул на дно каждого, подвинул один гостю.

— Ну что — за встречу? — предложил торопливо.

Фролов молча кивнул. Они клацнули стеклянными гранями и выпили.

— Хороший ром, — похвалил гость. — А водка есть?

— Горилка есть, — усмехнулся Петренко.

— Давай! — согласился Сергей.

Он сам разлил здоровой рукой по стаканам новый напиток.

— Вот теперь за встречу! — и, зажмурившись, выпил.

Жидкость обожгла горло, растопила сковавший грудь лед. Он разглядел в черством взгляде спасшего его капитана знакомые мальчишеские черты.

— Как жил, говоришь? — задумчиво произнес Сергей. — По-разному жил. Старался жить честно. Даст Бог, поживу еще. Спасибо! — он поднял глаза на Петренко. — Тебе я обязан жизнью.

Андрей хотел что-то ответить, но вместо этого сморщился и со злостью плеснул по стаканам.

— Поживем еще, да... — взгляд его стал свинцовым, чужим. — Но не все... — губы капитана побелели и задрожали. — Сына моего помянем — Тараса Петренко, — он с такой силой сжал в руке стакан, что тот едва не треснул.

В его глазах Фролов прочел слепую ярость, увязанную смирительной рубашкой обстоятельств. Не утолимую ничем боль, гневный упрек, адресованный лично ему — русскому моряку, другу юности, который сидит сейчас напротив, и пьет с ним, и благодарит за спасение.

— Тогда и моего помянем, — глухо добавил Сергей, сглотнув шершавый ком. — Ивана Фролова.

Петренко поднял на него усталые глаза:

— Там? — хрипло спросил, сомкнув на переносице брови.

— Там, — еле слышно ответил друг.

Моряки выпили и надолго умолкли.

Качка прекратилась. Шторм остался далеко позади. Ровный гул мотора смешивался со слабым треском судового динамика. Кто-то забыл отключить рацию.

Смерть сыновей будто уравняла их в горе, в нестерпимой, ничем не оправданной и не имеющей оправдания потере... И в праве жить дальше. И говорить об этом друг с другом, бесслезно оплакивая своих детей.

Когда на горизонте показалась береговая линия Бразилии, два капитана — Фролов и Петренко — знали друг про друга все: кто где работал, куда ходил, кого потерял, чего лишился... Разделившие их десять лет спрессовались в три часа, промелькнувшие как три мгновения. Но вместившие в себя много больше судовых журналов, официальных бумаг, казенных рапортов...

Граница их стран, превратившись в огненный рубеж, опалила их судьбы, обожгла семьи. Остались головешки, которые предстоит разбирать и разбирать не одному поколению. Но дружба их уцелела и высилась теперь над руинами прошлого, как печная труба среди пожарища. Как маяк, вернувший надежду на спасение...

Жизнь двух моряков — русского и украинца — просолилась и выпарилась, оставив самую суть — соленый концентрат, пересыщенный раствор горя и боли. Чьего горя больше? Чьей боли? Не измерить, не взвесить...

Здесь, среди суровых, бесстрастных волн Атлантики, их боль сплавилась воедино. Их отдельные горькие судьбы слились в общую трагедию отцов, оставшихся вопреки всему друзьями, но потерявших ставших врагами сыновей...

В порту Рио-Гранде моряков ждали. Как только экипажи «Юнион» и «Немо» ступили на берег, их окружила толпа журналистов. Заморгали вспышки. Заработали камеры.

— Если бы вы знали, что под флагом Кипра работает российский экипаж, стали бы их спасать?

— Отражаются ли международные санкции на Конвенции по морскому праву?

— Вправе ли суда под российским флагом рассчитывать на помощь украинских моряков?

— На каком языке вы общались на борту «Юнион»? О чем говорили?

— Это правда, что вы учились вместе в Одессе?

— Вы говорили о политике, о войне?

— Смогли бы вы работать в одном экипаже?

Ни Петренко, ни Фролов не проронили ни слова. Ни один вопрос журналистов не был удостоен ответа. Оба капитана не хотели разменивать на слова то, что возникло между ними в тот день. А через пару часов, уладив формальности, ударили по рукам, обнялись крепко и разошлись как в море корабли...

...И вновь за бортом тревожно шумят волны. Угрожающе ревет океан. Коварные течения толкают корабли на скалы. Густеют на горизонте тучи, гремят шторма. И кажется, весь мир — это безумный корабль с терпящим бедствие человечеством на борту...

И снова летит в эфир отчаянный сигнал SOS! Спасите наши души! И кто-то вновь придет на помощь. А как иначе? По-другому и быть не может... Об этом вам скажет любой моряк.

СКРИПКА

Обычно в музыкальную школу Таню водила бабушка Зина, но мама поссорилась с ней и велела ехать самой. Сесть на трамвай номер пятнадцать, выйти на остановке «Верхняя», а там пристать к общему потоку детей и идти с ними. Девочка так и сделала.

Школа встретила ее привычной какофонией звуков, дощатым музыкальным полом и портретами бородатых композиторов вдоль узкого коридора. Таня отзевала скучную теорию музыки, написала на пятерку диктант по сольфеджио и без запинок сыграла «Анданте» Гайдна, заслужив от Ларисы Андреевны благодарность в дневник. Теперь мама непременно ее похвалит, немного полюбит, а может быть, даже обнимет!

Дорога домой всегда короче. Таня запрыгнула в трамвай и стала смотреть на пробегающие за окном дома. Дома были старые, с облупившимися барельефами по фасадам. На них плечом к плечу теснились военные с мячами в руках, играющие на скрипках сталевары, колхозницы с книгами, балерины в окружении флагов и колосьев. Всякий раз, проезжая мимо каменных картин, девочка спрашивала бабу Зину: «Почему у военных в руках мячи, а не сабли, сталевары со скрипками, а балерины со снопами?» Та только пожимала плечами и теснее прижимала внучку к просторному, теплому боку. Мама же объясняла путаницу с предметами культурным развитием, одинаково необходимым и военным, и рабочим с колхозниками, а уж тем более интеллигенции. Что такое «интеллигенция», Таня не вполне понимала, спросить стеснялась, но смутно догадывалась, что и ее походы в музыкальную школу были продиктованы маминым замыслом культурного развития. И она готова была этот замысел воплощать, и быть культурной, и играть на скрипке, и получать одни пятерки — лишь бы только мама ее любила...

Люди входили и выходили из трамвая, заскакивали в закрывающиеся двери, сползали с подножек, волоча за собою сетки с грязной, похожей на земляные комья кар-

тошкой. Подсаживали детей и старушек, выносили коляски, заталкивали под сиденья сумки и узлы. Жалостно тренькал звонок, с шипом раскрывались и закрывались двери гармошкой, громыхали на стыках рельсы.

Сумерки приглушили очертания домов и стерли барельефы. Сталевары опустили скрипки и с недоумением рассматривали гибкие смычки, застрявшие в заскорузлых, негнущихся пальцах. Мячи выпали из рук военных и покатились в сторону решающих уравнения футболистов. Колосья и флаги опали — освобожденные балерины радостно закружились в фуэте...

— Остановка «Дворец Тельмана», следующая остановка «Сквер», — голосом диктора объявила вагоновожатая.

Таня вздрогнула и вскочила на ноги.

— Стойте, стойте! — закричала она на весь вагон. — Это моя остановка. Я забыла!

Она помчалась к выходу, куда уже вползала угрюмая вечерняя толпа. Девочка зацепилась ногой за чью-то сумку и больно ударилась коленкой о поручень. Но плакать было некогда — Таня пробиралась к двери, преодолевая сопротивление неизвестно откуда взявшихся людей.

— Подождите, не трогайте состав! Там девочка не вышла, — раздался с передней площадки бас.

Трамвай дернулся и застыл.

— Как тебе не стыдно, девочка, всех пассажиров задерживаешь, — прошипела ей вслед тетенька в дымчатом берете.

— С кем не бывает! — вступился другой пассажир.

— Эй, ты че прешь по ногам, как по паркету! — чей-то острый локоть ткнул Таню в бок.

Было тесно и жарко. Ранец с нотами колотил по мокрой спине. Лента развязалась и застревала в людской трясине, цепляясь за пуговицы и застежки. Но вот и спасительный выход. Девочка кубарем скатилась со ступенек, двери с лязгом захлопнулись за ее спиной. Трамвай медленно пополз по черным, маслянистым рельсам. А Таня осталась стоять, усмиряя дыхание, остужая разгоряченное борьбой лицо. Потерла рукой ушибленное колено. Поморщилась. Но колготки целы — это хорошо. Другой рукой на лету подхватила выскользнувшую из косы ленту и запихала в карман. Рук было непривычно много. Одна из двух обычно занята.

— Скрипка! Моя скрипка! — пронзило Таню.

Ее скрипка осталась в трамвае. Проспав свою остановку, продираясь к выходу, она совсем о ней забыла. И скрипка осталась под креслом и уехала вместе с пассажирами, наверное, уже далеко. Что теперь будет? — с ужасом подумала девочка, и слезы полились по щекам горькими ручьями. Она знала, как дорожила мама этим инструментом, купленным с рук у дяди Вити — скрипача филармонического оркестра. Как долго искала она заветную четвертушку, как охотилась за кленовым корпусом. Как перетягивали потом смычок и дядя Витя битый час подгонял инструмент к угловатой Таниной фигуре, соразмеряя ее сутулость и скрипичное совершенство. Еще и новый футляр с фланелевым подбоем! И канифоль, и запасные струны, и бархатная подушечка, сшитая на заказ. Беда!

Девочка застыла, не зная куда идти — то ли домой, то ли прочь от дома. Если домой — то попадет, это точно. Если прочь — то куда? Разве что к бабушке Зине? Но Таня плохо помнила ее адрес, знала только, что жила бабушка в двухэтажном доме, называемом бараком, в левом подъезде со скрипучей лестницей, под которой всегда лежал на подстилке очередной бездомный кот. Но где стоял тот двухэтажный дом?

Кажется, неподалеку была детская горка. Таня запомнила ее потому, что на боку горки нарисован играющий на скрипке кузнечик. Но нарисован неправильно: не так держал скрипку, и смычок короток и не натянут, как следует, и струн-то пять, а должно быть четыре. К тому же кузнечик был левшой, а Таня сомневалась, можно ли играть на скрипке левой рукой?

Вечерняя мгла сгустилась. Девочка удрученно брела в сторону сквера, позади которого толпились старые бараки. Было страшно. Но не оттого, что вокруг ночь и темень, а оттого, что не знала она, что говорить теперь маме про скрипку. Как рассказать о пропаже? Чем объяснить свою преступную забывчивость? Простит ли ее мама? Улыбнется ли, сказав безобидное: «Эх ты, Маша-растеряша»? Или будет кричать весь вечер, вспоминая папу и бабушку Зину? Как назло, и папы нет — уехал.

Между бараками было еще темнее, чем в сквере. Единственный на весь двор фонарь освещал огромную лужу, в центре которой утонула старая шина. Чуть дальше маячили мусорные баки, остов дивана. Морщинистый тополь, стена ветхого сарая и... — вот же она! — горка! Та самая с кузнечиком на скрипке. Таня перевела дух и улыбнулась. Нашарила глазами подъезд, оттянула тугую пружину и вошла в дом. Острый кошачий запах ударил в нос, но перебился ароматом свежих булочек с корицей, какие могла печь только бабушка Зина. Девочка поднялась по лестнице и нажала кнопку звонка. Шаркающие шаги — и дверь распахнулась.

— Таточка, — всплеснула руками бабушка, — что стряслось? Как ты меня нашла? Почему одна? — она обхватила внучку выпачканной в муке рукой и увлекла за собой в прихожую.

Таня держалась до последнего, чтобы сказать все по-взрослому — рассудительно и спокойно, но не выдержала и расплакалась, припав к теплой бабушкиной груди.

— Я, я... — всхлипывала она, — я скрипку в трамвае забыла!

— Скрипку? В трамвае?

— Да-а-а! — уже в голос ревела Таня.

— О, господи! — вздохнула баба Зина. — Я думала, что-то случилось, — она подняла за подбородок заплаканное лицо внучки, и Тата поняла, что бабушка на нее ничуть не сердится. — С тобою все в порядке? Дома все хорошо?

Девочка кивала, размазывая по щекам слезы.

— Ну-ну, хватит реветь, — бабушка гладила девочку по растрепанной голове тыльной стороной ладони, но мука все равно осыпалась на воротник. — Подумаешь, скрипка!

Тане на миг показалось, что скрипка никуда и не пропадала, а стоит сейчас за нею, на полу, прямо на полосатом коврике. Девочка покосилась назад, но скрипки там не было.

— Мама-то знает, что ты здесь? — спохватилась баба Зина.

— Нет.

— Ах, незадача. Ладно, я сейчас тебя отведу, — бабушка схватила Танины ладошки в свои большие, горячие от духовки руки. — Ой, да ты совсем замерзла. Так, сначала греться! Марш на кухню! — скомандовала она и решительно стащила с внучки куртку.

На маленькой бабушкиной кухоньке было тепло и уютно. Тикали ходики. В тесной плошке громоздилось голенастое растение со смешным названием «золотой ус».

Баба Зина спрятала тесто, вымыла руки и поставила на плиту чайник. Перед Таней появилась любимая тарелка с зеленым ободком, доверху наполненная пленительно золотистыми булочками. Сладкий дурман корицы плыл над столом.

Бабушка вытащила из тяжелого узла на затылке гребень и принялась расчесывать им спутанные волосы внучки. У нее это получалась совсем не больно. Мама обычно

торопилась, злилась на непослушные Танины косы, то и дело выдергивала волосинки. Таня ойкала, а мама злилась от этого еще больше. Бабушка скользила по волосам легко и плавно, будто ветерок обдувал голову. Если же встречался узелок, крепко зажимала его между пальцами и терпеливо распутывала. Пока вскипал чайник, Танина коса приняла первозданный утренний вид. Только банты баба Зина не умела завязывать так красиво, как мама. Но Тане этого и не требовалось.

— Ну-ка давай грейся! — бабушка поставила перед девочкой чашку с чаем и подвинула ближе тарелку с булочками.

Ничего вкуснее Таня никогда не ела. Булочки были маленькие, на два укуса, сверху — карамельно-хрустящие, с коричными узорами, а внутри мягонькие, как пух. Бабушка не торопила, а только глядела и глядела на внучку тихо, недвижно, с грустью, а может, с жалостью — Таня не очень-то разбиралась в лицах.

— Наелась, Таточка? — спросила баба Зина, когда Танины щеки зарумянились. — Я тебе сейчас с собой в мешочек положу. Маму угостишь, папу.

— Не хочу уходить, — насупилась Таня. — Бабуль, а можно я у тебя останусь?

— Таточка, мама волноваться будет. Она ведь не знает, где ты, — бабушка сняла фартук.

— Не пойду! — упрямилась Таня. — Я боюсь, боюсь! — твердила, вцепившись в табуретку.

— Чего ты боишься, Тата? Еще не так поздно. Я тебя провожу, — бабушка, кряхтя, надевала шерстяную кофту.

— Как я маме про скрипку скажу? — в глазах девочки снова заблестели слезы.

Бабушкины булочки с чаем оттеснили сегодняшнюю трагедию. Но теперь неотвратимость разговора с мамой выросла перед ней вновь.

— Я сама ей все объясню, — пообещала бабушка. — А завтра с утра в депо схожу. Там есть уголок забытых вещей. Никуда не денется твоя скрипка. Небось уже лежит там и ждет, когда за ней придут.

Бабушка с внучкой оделись и вместе вышли в неуютную вечернюю мглу.

По дороге баба Зина рассказывала про танцы под духовой оркестр в этом самом сквере, куда она бегала еще девчонкой. И даже рассмешила Таню описанием одного танцора, который, чтобы казаться выше, подкладывал под пятки сложенные газеты, а во время летки-енки они возьми да вывались! Ботинки-то были отцовские, на два размера больше, чем надо.

Вот и дом. Чем выше поднималась Таня по крутым ступеням, тем медленнее переставляла ноги и тем сильнее вжимала голову в плечи. Даже бабушка Зина обогнала ее, хотя дважды останавливалась отдышаться.

Мама стояла в проеме двери — красивая и неприступная.

— Ты где шляешься? — взгляд ее был суров и непреклонен. — Ты знаешь, сколько сейчас времени? Занятия закончились два часа назад!

— Погоди, Белла, она у меня была, — вступилась за внучку баба Зина.

— Зинаида Николаевна, я вас не спрашиваю! — еле сдерживая ярость, ответила мама. — Я дочь свою спрашиваю — пусть сама учится отвечать за свои поступки, — она схватила девочку за рукав куртки и рывком втащила в дом.

Баба Зина проворно нырнула следом.

— Где ты была? Отвечай!

— У бабушки, — испуганно пролепетала девочка.

— Да у меня она была, у меня! — в сердцах воскликнула баба Зина. — Скрипку в трамвае забыла. Переживает очень.

— Что-о-о? Скрипку? — закричала мама. — Переживает? Да вы посмотрите на нее — не переживает она, а издевается надо мной! Ты знаешь, сколько я за эту скрипку отвалила? — мамино лицо исказилось и стало неузнаваемым. — Знаешь, сколько ждала, пока дяди-Витин сын вырастет из нее? Как волновалась, чтобы эту скрипку Гриневы не увели? Да что я говорю! Кому я говорю! — Белла развернулась вихрем и бросилась прочь, в глубь квартиры.

Бабушка скинула боты, начала суетливо раздевать Таню, но девочка вырвалась и побежала вслед за матерью.

— Мамочка, я, я, я...

— Что ты якаешь, как ишак? — оборвала ее женщина. — Слушать противно. Глаза б мои на тебя не глядели! Непутевая, вся в отца.

— Ничего, ничего, она сейчас остынет, — шептала бабушка, переобувая окаменевшую Таню в тапочки. — Ты на нее не обижайся, наверное, на работе устала.

— Беллочка, не волнуйся! Я завтра прямо с утра пойду в депо, верну скрипку, — баба Зина изо всех сил старалась восстановить мир в семье. — Только прошу тебя, не ругай Тату, она ведь нечаянно, она ребенок, — добавила тихо, чтобы не слышала внучка.

— Носитесь все со своей Татой как с писаной торбой! Хоть бы кто меня пожалел! Сколько сил я в нее вложила, сколько труда, заботы. А она, неблагодарная...

— Но это всего лишь скрипка. Кому она нужна? Найдется!

— Что за чушь вы несете! — нервно рассмеялась Белла. — Всего лишь скрипка, говорите? Да эта скрипка... она стоит... Если Таньку не ругать, она и голову свою потеряет! — женщина решительно затянула пояс халата. — Вот что: отправляйтесь-ка вы лучше домой, Зинаида Николаевна! Как-нибудь сама разберусь, как свою дочь воспитывать. Без вашей помощи. Вы свое уже отвоспитывали!

Она схватила бабу Зину за пальто и, не дав опомниться, выставила за дверь.

Таня стояла возле окна, грызла ногти и зверем косилась на мать. Глаза ее сухо блестели.

— Зачем ты бабу Зину прогнала?

— Тебя не спросила!

— Она хорошая.

— Да у тебя все хорошие, только я плохая! — взвизгнула мама. — Вот умру — поймешь тогда, кто хороший, кто плохой, — она упала в кресло и прикрыла глаза.

— Не надо, мамочка, — Таня затряслась в беззвучных рыданиях. — Не умирай! Я найду скрипку!

— Да где ты ее теперь найдешь, дура? Ее кто-нибудь умный уже нашел. А тебе отец пусть в комиссионке дрова покупает — будешь на них пиликать!

— Я все равно на «отлично» год закончу. Обещаю! — не сдавалась Таня, глотая слезы. — И «Полонез» Огиньского разучу!

— Учи, — равнодушно ответила мама и ушла на кухню.

Таню тряхнуло, потом еще раз. Ноги подкосились, и она упала на пол. Закричала, забилась, заплакала, замолотила руками. Ее боль была так нестерпима, что девочка не могла дышать. Воздух входил и выходил из нее только с криком. Только сбитые до крови костяшки пальцев помогали переносить муку. Баба Зина ушла. Если б папа был дома, он бы обнял ее и увел в другую комнату. Он сказал бы, что все пройдет, все наладится и необязательно играть на скрипке, чтобы тебя любили. Но его не было рядом.

Мама вбежала в комнату с перекошенным лицом. В руках она держала стакан воды и какие-то таблетки.

— На, выпей! — протянула она лекарство, но Таня отбросила ее руку. — Ах, ты так?!

Мама налегла на дочь всем телом, обхватила рукой ее голову и стала одну за другой запихивать сквозь сомкнутые зубы желтые горошины. Дочь брыкалась, но мать была сильнее. Женщина заливала воду в рот дочери. Вода текла по шее и капала на ковер. Дочь хрипела и рвалась. Но таблетки сделали свое дело, и вскоре истерика утихла. Таня обмякла и сидела, привалившись к маминому плечу, всхлипывая и вздрагивая всем телом.

— Все, все, все, — повторяла мама, думая о том, что нужно бы показать дочь хорошему психиатру. А девочка нежилась в лучах этой случайной, недолговечной близости.

Наутро пришла бабушка Зина. В руках она держала Танину скрипку.

— Вот, скрипочка твоя нашлась, целехонькая, — она протянула ее внучке, — как я и думала, в уголке забытых вещей стояла.

Мама выхватила футляр, щелкнула застежками и заглянула внутрь — все цело, даже канифоль на месте.

— Вовремя, — заметила удовлетворенно, — ей к специальности как раз нужно готовиться. Ну, говори «спасибо», что молчишь? — она ткнула Таню в спину. — И выпрямись наконец!

Как же девочке хотелось броситься сейчас через порог к бабушке Зине, прижаться к ее мокрому от дождинок пуховому платку! Как не терпелось сказать «спасибо» не только за найденную скрипку, но и за то, что она просто есть — такая теплая, такая добрая. Похвалить булочки с корицей. Спросить про рыжего кота с порванным ухом. Но рядом стояла мама. И Таня только вымученно улыбнулась, проговорила «спасибо» и поцеловала бабу Зину в холодную щеку.

— Ну все, нам пора заниматься, — сказала мама. — До свидания, Зинаида Николаевна! — и закрыла дверь перед самым бабушкиным носом.

Таня слышала, как вздохнула за дверью бабушка, как пошла вниз, ступая грузно и виновато, как вспомнила на полпути о пакете с горячими булочками в сумке, охнула, хотела было вернуться, да только махнула рукой, не решаясь нарушить хрупкий мир между мамой и Татой. Как шла она по грязной дороге в свой двор с горкой, как заходила в подъезд и трепала за ухом рыжего кота. Потом поднималась к себе на второй этаж, надевала клетчатый фартук, месила тесто и пекла новые булочки...

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Боль была жгучей, казалось, живот вспороли и обожгли изнутри огнем, и теперь этот огонь изливался липкой струей из утробы на мокрый, наждачный асфальт. Сбивший собаку грузовик не остановился, даже не притормозил, скорее всего, шофер и не заметил мягкого удара. Сизая пелена дождя висела над дорогой. Собака с трудом отползла в сторону от визжащих машин, слепящих огней, от железного грохота автострады, спряталась в кустах и приготовилась умирать.

В последние дни она жестоко голодала. Найденные на помойке объедки не спасали от тянущего узла в брюхе, а ведь теперь она должна была есть за шестерых. Собака прикрыла глаза, откинула морду подальше от кровоточащей, пахнущей парным мясом раны и замерла.

В ее предсмертном забытьи возникли одно за другим доброе лицо Петровича, хмурая гримаса Антонины Федоровны, молочная улыбка мальчика. Потом длинная чере-

да угрюмых лиц, занесенная над головой палка, пинки, летящие в спину камни, уютный перегар бомжа, разделившего с ней подворотню. Мысли ее уносились еще дальше — она вспомнила теплое, влажное брюхо матери, набухшие черные соски, колкую травинку на языке. Почувствовала тесную толкотню братьев и сестер, воюющих за право поесть и выжить. И снова прищуренные глаза Петровича, его пахнущие табачной пылью руки, колючие валенки в осколках льдинок...

Когда она впервые услышала слово «инфаркт», то подумала, что это одна из новых команд. Ее следует разучить, чтобы унесенный на странной доске с ручками хозяин поскорее вернулся. Но хозяин не возвращался. А собака не смогла понять значения новой команды, хотя слышала ее теперь каждый день. В один из вечеров Антонина Федоровна пришла домой с темным, опухшим от слез лицом. Бросила полный ненависти взгляд на уткнувшуюся в тапки Петровича собаку, схватила за ошейник и выставила за дверь. Без поводка. Сама не вышла. Собака потопталась нерешительно возле двери, не понимая, куда можно идти без поводка, да и без Петровича. Когда они гуляли вдвоем с хозяином у реки, поводок был не нужен. Собака и так шла рядом, отвлекаясь лишь на поручение принести палку да по своим мелким уличным делам.

Собака под кустом стала крупно дрожать и погружаться в прекрасное неземное тепло, где утихала боль и откуда звал ее, шевеля седыми бровями, Петрович.

— Посмотри, дышит? — незнакомый голос нарушил вязкую тишину забытья.

Чьи-то руки тронули бок. Острая боль вновь пронзила тело — собака вздрогнула.

— Да она вся в крови, — луч фонарика чиркнул по ране, — но вроде жива, — пальцы на миг замерли на ее шее. — Сейчас что-нибудь принесу, — один из спасателей удалился.

Собака разлепила тяжелые веки и, блеснув белками, поглядела снизу вверх.

— Потерпи, миленькая, — женщина осторожно дотронулась до ее макушки.

Люди положили раненую на тряпку и погрузили в багажник. Лязгнула крышка — дождь исчез вместе со звуками. А потом навалилась ночь.

Очнулась собака от того, что пасть слиплась от клейкой слюны. Жажда была такой мучительной, что она готова была пить все что угодно, даже шипучую газировку, которой потчевал ее глупый человечий детеныш. Собака дернулась, пытаясь встать, но не смогла: нижняя часть туловища онемела.

— Спокойно, девочка, — произнес человек в белом намордник.

Он подвинул к ее морде миску с водой и осторожно приподнял голову. Собака макнула язык и сделала несколько глотков.

— Вот умница, — похвалил человек. — Наркоз скоро отойдет, и я выведу тебя погулять.

Голос показался собаке смутно знакомым. Но резкий запах лекарств не давал определить наверняка.

На следующий день собака поправилась. С тихой благодарностью ела она неведомый доселе хрустящий корм, дочиста вылизывая крошки, охотно пила. Дважды в день ее выводили в маленький, густо пропахший собачьими экскрементами дворик с чахлыми кустами, и она, пересилив неудобство стягивающей живот попоны, оставляла свои метки среди бесчисленного множества чужих. Неделю спустя собаке сняли швы и отпустили на волю.

— Прости, псина, не удалось тебя пристроить, — сказала женщина с крупными, пропахшими хлоркой руками. — Уж очень ты большая и страшная. Прямо как я, — она невесело усмехнулась. — Теперь уж сама как-нибудь.

Она потрепала собаку за ухом и отстегнула поводок. Псина понимающе лизнула шершавую руку и потрусила в сторону сквера.

Сытная жизнь, сопряженная с болью, закончилась. Зато наступила весна. Ласковый, пахнущий прелью ветер обдувал впалые бока. Собака ложилась на теплый, покрытый первой шелковистой травкой пригорок и подставляла зудящее пузо под острые лучи солнца. Проплешина на животе быстро зарастала. Спать собака забиралась в тесный закут между забором и стеной тира. Возле сосисочного ларька она приладилась подбирать объедки, брошенные вечно спешащими людьми. Иногда кто-то кидал ей сам — то кусок сосиски, то куриные кости. Этого вполне хватало. Один, правда, кинул в нее стаканом, но собака успела увернуться. Добрых людей, по ее подсчетам, было больше.

Когда по парку выгуливали домашних питомцев, собака пряталась. Она грустила, зыбко и смутно вспоминая Петровича. В перебранки, вспыхивающие между холеными любимцами и бродячими псами, не вступала. Так прошла весна, а за ней и лето.

Однажды по скверу пронеслась шумная стая незнакомых собак. Были они возбуждены, капали слюной и заходились в безудержном, полном ужаса лае. Собака ощетинилась, но чужаки промчались мимо, не заметив ее. Их клокочущий, переходящий в визг лай долго носился по парку, пока не смолк, заглушенный другими городскими звуками. Собака повела носом по ветру и почуяла в воздухе запах смерти.

На другой день она увидела всю стаю, разбросанную на пустыре возле стройки. И черный лохматый пес в свирепом предсмертном оскале, и недавно ощенившаяся коротконогая сука с отвисшим брюхом, и три мелких собачонки, одна — в перламутровом ошейнике с бусиной, — все были мертвы. Собака видела издали, как подъехал фургон и люди в сером, с безразличными лицами побросали собак в кузов. Она слышала глухие удары тел, хриплый кашель одного из грузчиков. Когда тот, сплюнув, бросил случайный взгляд в ее сторону, собака вздрогнула и побежала, с каждым прыжком все быстрее и быстрее. Мимо проносились тронутые ржавчиной кусты, лавки, остовы каруселей. Потом замелькали ноги, сумки, колеса. Однажды резкий визг чуть не оборвал ее бег, но она успела отскочить в сторону. Собака бежала до тех пор, пока не оказалась на обочине шоссе, в том самом месте, где сбил ее ночной грузовик.

Осенние дожди давно смыли ее кровь, но куст, под которым умирала собака, еще хранил еле заметный запах ее боли. Собака долго внюхивалась в помертвевшие травы, в сухие изгибы ветвей и холодную землю, сипло скулила, прощаясь с нерожденными щенками. Наплакавшись вволю, пошла дальше.

Вскоре лапы привели ее в неизвестный поселок, рассыпанный вдоль петляющего русла реки. Дома в нем были разные: рядом с поникшими лачугами высились красивые терема, надежно укрытые заборами от посторонних глаз. Были здесь и брошенные дома. Один из них — густо заросший терном, с заколоченными ставнями и ветхим, в узорах птичьего помета крыльцом — собака выбрала для ночлега. Она устала, стертые об асфальт лапы болели, и не было сил на поиски еды. Полакав из лужи грязной сладковатой жижи, собака протиснулась между сгнившими досками и оказалась внутри. Серый свет струился из прорех в крыше. Пахло плесенью и мышами. Собака нашла сухой угол и, свернувшись клубком, уснула.

Месяц собака обживалась на новом месте. Ночлег — это ладно, но где брать еду? Ни мусорок, ни сосисочных ларьков поблизости не было. В километре, возле школы располагался единственный на всю округу магазин, но всякий раз, когда собака при-

ближалась к дразнящей колбасным запахом двери, изнутри выскакивал грузный, затянутый в камуфляж охранник. Он свирепо щетинил усы, рычал и гнал собаку вон, кидая вслед грозные человеческие ругательства, а иногда и камни. Люди с пакетами шарахались от отощавшей псины, тянули за руку детей.

Самая частая команда, которую слышала она в те дни, была «Пошла вон!». Приходилось подчиняться — поджав хвост, собака трусила прочь по раскисшей дороге, принюхиваясь к густому киселю остывающего воздуха.

Однажды ей повезло: к развалинам, где она жила, приехали рабочие. Они долго вымеряли каким-то шнурком землю, спорили, тыкая пальцами в мятый листок, а потом разожгли костер и стали жарить мясо. Собака залегла в кустах и погрузилась в мечты. Она давилась слюной, жадно вбирая носом съедобный дым, прикрывала глаза — но что глаза, когда она чует все вслепую. Ее подташнивало от голода, но собака боялась вылезти из укрытия и терпела. Люди смачно жевали мясо, опрокидывали в рот рюмки с веселой жидкостью и громко выкрикивали незнакомые слова: «подряд» и «смета». Начало смеркаться, люди затушили костер и, свалив объедки возле крыльца, уехали прочь. Как только стих рокот мотора, собака выскочила из засады и жадно набросилась на остатки человеческого пиршества. Чего здесь только не было: кости с щедрыми лохмотьями мяса, пропитанные мясным соком хлебные мякиши, комья мятых салфеток с мясным запахом. Все было съедено дочиста.

На другой день люди вернулись и за полдня сровняли с землей собачью ночлежку. Трескучий бульдозер закопал и тайник с заветной, оставленной про запас костью.

Там и морозы подоспели.

Стужа сковала реку и землю. Съехали последние дачники. Опустел магазин. Охранник облачился в меховую куртку, но добрее от этого не стал. Собака неприкаянно бродила по пустынным улицам, шарахаясь от подзаборного лая более удачливых собратьев, обнюхивала мышиные норы, лисьи следы, остывшие кострища... Она ходила на реку в надежде найти свежие лунки, возле которых, если повезет, можно было выгрызть изо льда мелких, забракованных рыбаками ершей и горькие рыбьи кишки. Спала бродяга где придется: когда в разметанном стоге сена, когда в сухом валежнике.

Она попробовала прибиться к стае, но ее не приняли — больно покусали, оставив на память глубокую метку на задней лапе. Хромоногая, она стала совсем беспомощной, и если бы не спасительная оттепель, то давно бы отправилась на радугу к Петровичу. А так — кое-как перебилась с оттаявшей помойки. Рана заросла. Зима продолжилась. Морозы вернулись.

Всю свою боль, все одиночество и тоску по хозяину собака изливала в сладостном ночном вое. Поднимала морду к равнодушной маслянисто-сливочной луне и жаловалась ей, терзая звенящую тишину. Ей начинали вторить деревенские собаки, и вскоре округа наполнялась горькими руладами невыплаканных собачьих слез. Каждая плакала о своем: кто об отнятых щенках, кто о цепной неволе, кто о потерянном хозяине и безнадежном собачьем одиночестве...

К февралю собака ослабла. Потеряла интерес к еде. Днем, когда выглядывало скупое солнце, впадала в забытье. Ночью крупно дрожала, тщетно пряча нос в лапы, и ждала, ждала... чего она ждала? — сама не понимала толком. Наверное, встречи с Петровичем.

В тот день ветер, неожиданно сменивший направление, дохнул на нее чем-то давно забытым, теплым и вкусным. Собака тяжело поднялась, опершись на ослабшие ноги, и поплелась против ветра, дрожа и сутулясь. Мокрый компас-нос вел ее туда, откуда

веяло живым, безвозвратно утраченным собачьим счастьем. Пустой дом, еще недавно напрочь лишенный запахов и звуков, вдруг ожил. Будоражащий аромат источала кастрюля. Обычная кастрюля со стеклянной крышкой, снабженной малюсенькой дырочкой, сквозь которую и сочилась надежда. Кастрюля стояла на террасе, прямо на краю — ничего не стоило толкнуть ее, свалить наземь и припасть к горячей жиже. Пусть гонят потом, пусть бьют и кидают камни — сил небось хватит, чтобы убежать! — так думала собака, подбираясь к вожделенной добыче.

Внезапно дверь распахнулась.

— Эй, собака! — окликнул ее женский голос. — Ты чья?

Собака рванула в сторону, как от удара. Она бежала, поджав хвост, путаясь в собственных лапах. Острые осколки наста хрустели стеклом под ногами, острые ребра ходили ходуном под тонкой, обветшалой шкурой. Ветер трепал уши, царапался в груди. Хорошо, что у этого дома нет забора, а не то не унести ей лап. Отбежав на безопасное расстояние, собака оглянулась — женщина глядела из-под ладони вслед беглянке, не сердясь и не ругаясь. Собаке показалось даже, что в человечьих глазах мелькнула жалость.

Хозяйка забрала кастрюлю и скрылась в доме. Но ненадолго — вскоре она вышла с дымящейся миской в руках, спустилась по ступеням и отнесла еду на отшиб, под куст шиповника с яркими, глянцевыми ягодами. Пошарив вокруг глазами, вернулась в дом.

Собака выжидала. И только убедившись, что поблизости никого нет, робко приблизилась к еде. Тот же запах, что из кастрюли! Псина приникла к миске, неуклюже растопырив длинные передние лапы, и начала жадно лакать.

В голове непрошено появился Петрович — он ласково улыбался, шевеля седыми бровями, и ободряюще кивал головой. Собака поняла, что хозяин ничуть не сердится на нее за то, что та приняла еду из чужих рук. Вылизав до блеска миску, она попробовала на зуб облупившийся эмалированный край, но смекнула, что сжевать ее, как картонные тарелки, не получится. Собака бросила благодарный взгляд туда, где только что стояла незнакомка, и поковыляла прочь. Она не знала, что все это время женщина наблюдала за ней из окна. Далеко уходить не стала — куда идти? — дома все равно нет, а переночевать можно и здесь, вот на этой охапке ботвы. Она сыто вытянулась на прелой куче и впервые за много дней перестала дрожать.

Несколько недель женщина выносила миску с горячей едой под куст шиповника и смотрела из окна, как ест отощавшая псина. Потом стала ставить плошку чуть ближе и рассматривала собаку уже не прячась за стеклом.

— Откуда ты взялась такая? — спрашивала она жадно глотающую собаку, разглядывая ее шишковатую голову, длинную морду с крокодильей пастью.

— Не помню, — отвечала глазами та, не отрываясь от еды.

— Где же твой хозяин?

— Не знаю, — вздыхала собака.

— Ну тогда живи у меня! — разрешила однажды женщина, подойдя к собаке ближе обычного.

Собаке очень хотелось понюхать ее руку, но страх пересилил, и она, по обыкновению, убежала в заросли.

После Сретения застучала первая капель. Сугробы начали опадать, а в полдень дымились влажно и густо, точно забродившее тесто. Ночные заморозки оставляли ле-

денцовые латки возле крыльца, которые в полдень превращались в лужицы. Остро запахло весной.

Собака любила наблюдать из-за кустов за хозяйкой дома. Чем выше взбиралось солнце, тем больше времени проводила та во дворе: копала, чистила, мела, переносила с места на место коробки и мешки. Когда женщина уходила, уставшая, домой, собака крадучись подбиралась к только что оставленным ею предметам и жадно принюхивалась то к черенку лопаты, то к ручке тележки. Следы ее рук был сладостными, манящими. Они не походили на привычные, уже почти стершиеся из памяти грубые запахи Петровича, но казались такими же родными. Правда, в последние дни в запах хозяйки примешался след грусти — собака отлично знала, как пахнет человеческая грусть. И улыбаться хозяйка стала реже и печальнее.

Однажды она взялась наводить порядок в палисаде. Начала расставлять вдоль дорожек цветочные горшки — один разбила, другой рассыпала. Уронила лопату, да неудачно: помяла жидкий куст и горевала над ним, трогая сломанные ветки. Все у нее не ладилось в тот день, все валилось из рук. В довершение несчастий — оступилась и подвернула ногу. Вскрикнув, привалилась к штакетнику, осела наземь. Собака вскочила на все четыре лапы и напряглась.

Женщина стянула с головы косынку и заплакала. Слезы капали из ее глаз дождевой россыпью. Плечи вздрагивали.

Чужая боль — такая близкая, такая понятная — обожгла собачье сердце. Отбросив страх, собака подбежала к хозяйке. Она бестолково переступала лапами и заглядывала в полные слез глаза. Она тянула зубами за рукав, пытаясь помочь ей встать. Собака лизала мокрые, соленые щеки, холодные руки, сочувственно скулила и неуклюже приваливалась теплым боком. Она пыталась осушить человеческие слезы, которые все лились и лились из глаз. Собака понимала: дело не в ноге. За пределами собачьего разума лежала беда, которую она не могла ни понять, ни унять. Могла только быть рядом. Рядом...

Женщина порывисто вздохнула, вытерла косынкой глаза и неожиданно улыбнулась. Она положила руку на костистый бок, поросший жесткой шерстью, провела ладонью по горной цепи позвонков. Собака вытянулась в струнку.

— Не боишься меня больше? — спросила, оглаживая шишковатую голову, мокрый, кожаный нос, дрожащие навесы брылей.

Собака облегченно вздохнула и положила морду на теплые колени хозяйки.

— Останешься со мной?

Вместо ответа собака впервые за долгие месяцы завиляла хвостом.

Женщина оперлась на теплую собачью спину, и вместе они заковыляли к крыльцу. Солнце выпростало из облаков руки-лучи и обняло обеих ласково, по-матерински, венчая все то, что только что произошло между собакой и человеком.

С тех пор они не расставались.

Александр МЕЛИХОВ

ЛЕЧИТЬ И УЧИТЬ НАДО ВСЕХ

«Крутой маршрут» Евгении Гинсбург был опубликован в нашей стране в 1989 году и сразу же сделался классикой так называемой лагерной темы, в основном сосредоточенной на жестокостях и вопиющих несправедливостях. Это было более чем естественно для тех, кто угодил в эту молотилку, да и для всех нас, кто им сочувствовал: после стольких лет замалчивания наконец-то вызвать сострадание к жертвам (жажда сострадания — один из базовых человеческих инстинктов) и ненависть к их мучителям (жажда возмездия тоже одна из важнейших человеческих потребностей). И у Евгении Гинзбург от первого прочтения запомнилось только это — беспросветный ад.

Но при недавнем перечитывании я с удивлением обнаружил в этом мраке искорки архипелага Благородства не только среди товарищей и товарок по несчастью, но даже и среди тех, кто по своей социальной функции, несомненно, должны быть отнесены к пособникам палачей или, по меньшей мере, к циничным приспособленцам.

Напоминаю: красивая, поэтичная молодая женщина, принадлежащая к партийной элите, романтически преданная идеалам коммунизма, внезапно объявлена террористкой, ввергнута в унижения и мытарства допросов и тюрем и живет единственной надеждой, что советский суд во всем разберется и всем воздаст по справедливости. И суд дает ей десять лет!

Чудовищно! И в «воронке» она наконец срывается.

> Комок подкатывает к горлу и душит. И я разражаюсь бурными, неостановимыми рыданиями. Меня охватывает возмущение. Что вы делаете с людьми? С коммунистами? Негодяи!
>
> Оказывается, я кричу это вслух. Я начинаю буянить. Колочу изо всех сил кулаками в запертую дверку своей клетки, бьюсь об нее головой.
>
> Солдатик, открывший мою дверку, как две капли воды похож на того «пскопского», что в фильме «Мы из Кронштадта». Глуповатое добродушное лицо, припод-

---

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023). Премия «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли (2024).

нятые, круглые белесые брови. Слова, которыми он усмиряет меня, сразу выводят из атмосферы Ужаса. Вроде деревенской домашней размолвки.

— Эй, девка! Чо разошлась-то, а? Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, отекет... Парни-то и глядеть не станут!

Я счастлива, что он зовет меня на «ты». Значит, мы действительно выехали из зоны смертельной лефортовской вежливости. Я физически ощущаю его доброту, его немудрящее, но такое человечное сердце. И я рыдаю еще громче, еще отчаяннее, теперь уже не без тайной цели, чтобы он утешал меня.

— Я не девка вовсе. Я мать. Дети у меня. Ты пойми, товарищ, ведь я ничего, ну ровно ничего плохого не сделала... А они... Ты веришь мне?

— А как же? — удивляется он. — Кабы чего сделала, так рази бы вез я тебя сейчас в Бутырки? Там бы осталась. Да не реви ты, ну! Я, слышь, дверку-ту оставлю открыту. Дыши давай! Может, тебе аверьяновки дать? У нас есть... Дыши, дыши сколь хошь... Никого в машине-то нет... Тебя одну везу, последним рейсом. Забыли про тебя, а теперь, ровно царевну, одну волоку через всю Москву...

— Десять лет! Десять лет! За что? Да как они смеют? Разбойники!

— Вот еще на мою голову горласта бабенка попалась! Молчи, говорю! Знамо дело, не виновата. Кабы виновата была, али бы десять дали! Нынче вот знашь, сколько за день-то в расход! Семьдесят! Вот сколько... Одних баб, почитай, только и оставили... Троих даве увез.

Я моментально замолкаю, сраженная статистикой одного дня. Масштабы работы видны и в том, как плохо инструктирован конвой. Бедняга, ведь за этот разговор ему самому могли бы... Но я нема, как рыба.

— Ну, оразумелась, что ли? Вот и ладно. А то расшумелась тут, ровно на мужа...

Я выпиваю из его рук «аверьяновку». Мне сразу безумно хочется спать. Машину ритмично потрясывает. Сквозь внезапно спустившийся сон слышу успокаивающий шепот «пскопского»:

— Ни в жисть десять лет не просидишь. Год-два от силы. А там какое ни на есть изобретение сделаешь — и отпустят. Домой, стало быть, к ребятишкам...

В его ласковой сумбурной голове фантастически переплелись ужасы сегодняшнего дня и старые слухи о досрочных освобождениях изобретателей. Но мне так хочется ему верить.

И вообще, как хорошо трястись вот так в «черном вороне», если дверка клетки открыта настежь, а конвоир такой «пскопской» и так плохо выполняет инструкции по обращению с заключенными. И сейчас мы приедем в Бутырки. Каторга! Какая благодать!.

Свободу этот чудесный паренек ей, разумеется, не вернул, но он вернул ей веру в добро, а следовательно, спас ей жизнь. Ибо без веры в некую тайную силу добра в этом аду выжить было невозможно. Зло не всемогуще — это давало надежду, а значит, и силу.

Гранин и Адамович в «Блокадной книге» писали, что у каждого выжившего был свой спаситель: у каждого наступал миг, когда он падал и не мог подняться. И тот, кто протягивал ему руку, давал новые силы прожить еще какие-то дни и ночи. Вот так и искорки великодушия, доброты, благородства давали силу одолеть еще какой-то отрезок Крутого маршрута. А из этих отрезков и складывался путь к спасению.

В тюрьме в связи с очередным обострением классовой борьбы вдруг вводят квоты на воздух.

Корпусной Борзой, запирая нас, роняет сквозь зубы:

— Будет открываться на 10 минут ежедневно.

Вот когда мы познали вкус воздуха! Одного крошечного глотка кислорода. Порядок установлен такой, что форточка открывается во время нашего вывода на

прогулку. Но если дежурит Ярославский или Святой Георгий, то они открывают не в момент вывода, а после предупреждения: «Приготовьтесь на прогулку». И благодаря этим хорошим людям, попавшим на такую работу, перепадают лишние пять минуточек.

Мелочь? Помучайтесь от удушья — не дай бог, конечно! — и узнаете, мелочь это или не мелочь. Сегодня и представить невозможно, чем для этих «вертухаев» могла обернуться подобная утрата «непримиримости».

Однажды я потеряла сознание. Юля нажала беззвучный звонок и потребовала врача. Должно быть, я была в этот момент здорово похожа на покойницу, так как дежурный — хоть это и был Вурм — не сказав ни слова, тут же привел врача.

Это был первый случай нашего столкновения с ярославской тюремной медициной, если не считать регулярных обходов медсестры с ящичком лекарств. Сестра давала аспирин «от головы», хинин — от малярии, салол — «от живота». Универсальная валерьянка шла от всех остальных болезней.

Придя в себя, я увидела склонившееся ко мне лицо доктора. Оно поразило меня своей человечностью. Настоящее докторское лицо, внимательное, доброе, умное. Оно как бы возвращало к оставленной за стенами тюрьмы жизни, сверлило сердце сотней смертельно ранящих воспоминаний.

За круглые, мягкие черты, за добродушие, струившееся из каждой морщинки, мы потом прозвали этого тюремного доктора Андрюшенцией. Казалось, что именно так должны были его называть однокурсники.

— Ну вот, — смущенно буркнул доктор, вытаскивая шприц из моей худой, как палка, руки. — Сейчас камфара сделает свое дело, и вам станет хорошо. Будет ходить сестра и дважды в день вводить сердечное.

— Да разве здесь лекарства помогут! — осмелела вдруг Юля, смертельно испуганная перспективой остаться без меня. — Мне кажется, доктор, у нее просто кислородное голодание. Тем более на дворе такая жара. Может быть, вы дадите распоряжение, чтобы у нас не закрывали форточку, раз такая тяжелая больная?

По лицу Андрюшенции медленно разливается кирпичный румянец. Он слегка косится на стоящего у него за спиной корпусного — «малолетнего Витушишникова» (без сопровожденья корпусного врач в камеру не допускается) и отвечает очень тихо:

— Это вне моей компетенции...

Витушишников откашливается и солидно резюмирует:

— Говорить разрешается только про болезнь.

Потом тянутся томительные дни, когда едва теплящаяся во мне жизнь поддерживается только неистребимым любопытством. Увидеть конец. В том числе и собственный конец.

Бейся, мой шторм, кружись,
Сыпь леденящей дрожью!
Хоть досмотрю свою жизнь,
Если дожить невозможно...

Однако, несмотря на такое оптимистическое четверостишие, я наблюдаю у себя опасные симптомы. Вот, например, я уже несколько раз отказывалась от прогулки. А когда потрясенная этим Юля начинала страстным шепотом уговаривать меня «не терять последних капель кислорода», я устало отвечала:

— Не смогу обратно на третий этаж подняться...

Да и метаться по пятнадцатиметровой прогулочной камере тоже не так просто, когда сердце отказывается компенсировать движения.

Шутить тоже становится с каждым днем все труднее. Но временами мы все же пытаемся прибегать к этому испытанному лекарству от всех болезней. Излюбленная шутка-рассказ о неисправимом оптимисте. «Ну раз могила братская, то это уже хорошо». А когда дышать в камере становится особенно трудно, к «братской могиле» добавляется еще:

— А ты подумай-ка про Джордано Бруно. Ведь ему было много хуже. У него-то ведь камера была свинцовая.

После ухода врача мы долго спорим, как расценивать его работу в тюрьме.

— Пари держу: всю ночь сегодня будет во сне тебя видеть. Он ведь добряк, этот Андрюшенция!

— Несомненно! Но тем позорнее для него быть на такой должности.

— А что, лучше было бы, что ли, если бы на его месте какой-нибудь Сатрапюк с дипломом?

И Юля оказывается права. Через два дня Андрюшенция наглядно демонстрирует нам свою полезность.

— На прогулку приготовьтесь!

— Не пойду. Не могу ходить.

— Идите. Вам табуретку там поставили. Сидеть будете 15 минут на воздухе. По распоряжению врача.

И совсем уже теплое чувство возникает к Андрюшенции, когда надзирательница Пышка, открывая огромным — просто бутафорским каким-то — ключом нашу форточку, одобряюще прошептала:

— Вам не десять, а двадцать минут проветривания. По распоряжению врача.

Тоже мелочь с точки зрения «непримиримых»: если не отдаешь жизнь, значит, прислужник сатрапов и прощения тебе нет. А что помог десяткам, может быть, сотням людей, то это мелочи: лес рубят — щепки летят.

А вот еще где теплились искорки благородства — в «торгаше» по прозвищу Ларешник.

Он два раза в месяц выдавал бумажку, на которой типографским способом было напечатано: «Заказ-требование от зэка... Имея на лицевом счету... рублей, прошу купить для меня...»

Даже после смерти отца мама продолжала высылать мне пятьдесят рублей в месяц, которые разрешались. Так что мы имели возможность купить себе мыло, зубную пасту, полагающиеся тетради и пластмассовые карандаши, а иногда даже сахар. Через день-два после заполнения такой бумажки Ларешник приносил нам то, что можно было в данный момент достать в тюремном ларьке.

Я с самого начала чувствовала какую-то идущую от него волну доброжелательности, хотя лицо его и было прикрыто требуемой маской непроницаемости. Сейчас, к концу второго года пребывания в этой тюрьме, между нами совершенно явственно ощущалась молчаливая внутренняя связь. Впрочем, не всегда даже молчаливая. Были уже у нас и свои секреты.

Так, во время моей болезни, когда форточки были закрыты и стоял страшный зной, я, передавая ему листочек «заказа», тихонько спросила:

— А нельзя вместо сахара немного конфеток? Хоть сто граммов. Самых дешевых. Подушечек... Так хочется...

— Не положено, — отвечал он.

Но когда через два дня он принес мой заказ и протянул мне в дверную форточку жестяную мисочку с сахаром, я увидела, что под ним, на дне миски, лежит горсточка конфет-ирисок.

— Спасибо, — тоном заговорщика шепнула я, возвращая ему пустую миску. Полагалось все пересыпать в камерную посуду.

— Только сразу съешьте, чтобы не оставалось в камере, когда на прогулку пойдете...

Я дружески улыбнулась ему и еще доверительнее пообещала:

— Никогда вас не подведем.

С этого дня Ларешник не был уже чужим, он выделялся даже по сравнению с Пышкой, Святым Георгием или Ярославским. Тем не доставляло удовольствия делать зло, а этот хотел активно делать добро.

В другой раз, когда мы были лишены газеты, я однажды, учуяв шестым чувством одиночника, что дежурного надзирателя в коридоре поблизости нет, отважилась спросить Ларешника:

— Что нового на свете?

В условиях Ярославля это была такая дерзость, такое немыслимое преступление, что я сама испугалась сорвавшихся слов и скорей удивилась, чем обрадовалась, когда услышала в ответ:

— В Испании дело уж к концу идет...

И вот сейчас, в конце мая 1939 года, именно этот тайный доброжелатель, наш хороший Ларешник, и принес нам благую весть. Произошло это так. При очередной выписке из ларька я написала на требовании: «Две тетради». И вдруг он, привычно оглянувшись по сторонам, тихонько буркнул:

— Не надо тетрадей. Не потребуется. Уедете скоро отсюда.

Уедете, увы, отнюдь не на волю, а в новый колымский ад. В котором тоже удалось дожить до освобождения благодаря рассыпанным повсюду искоркам взаимопомощи.

В сорок седьмом году освобождения из лагеря вовсе не были массовыми, как, казалось бы, должно быть. Ведь это было десятилетие тридцать седьмого года, и у тысяч людей кончался календарный срок заключения, назначенный Военной коллегией, Трибуналом, Особым совещанием и многими другими судами. И тем не менее...

Правда, щелочка, через которую можно было протолкнуться за ворота лагерной зоны, немного расширилась, но все же количество освобождаемых составляло лишь ничтожный процент тех, кто с трепетом ждал своего «звонка», все еще уповая на незыблемость Закона.

Высшие соображения, которыми руководствовалось начальство, были абсолютно непостижимы даже для наиболее «подкованных» теоретически заключенных-марксистов, сохранивших, так сказать, навыки диалектического мышления. Почему одни попадали в списки на освобождение, а другим — большинству — предлагалось расписаться «до особого распоряжения» оставаться в лагере теперь уже лишенными даже такого иллюзорного утешения, как подсчитывание месяцев и недель, оставшихся до конца законного, назначенного судом срока? Это оставалось загадкой, недоступной простому человеческому рассудку.

Казалось бы, в этой атмосфере произвола, чинимого над нами, у остающихся в лагере могло возникать недружелюбное чувство к освобождающимся. А между тем я с полной ответственностью свидетельствую: освобождавшимся никто не завидовал! Я не хочу никакой идеализации. Смешно было бы, если бы я стала уверять, что заключенные были человечнее вольных. Сколько раз я наблюдала, как искажались злобой лица тех, кто не прощал своим товарищам по несчастью лишних десяти граммов хлеба или менее изнурительных условий труда. Я видела самую черную зависть к каким-нибудь чуням первого срока или к месту на нижних нарах... И все эти чувства отражались на лицах. Ведь лица здесь были голые, не защищенные условными масками.

А вот освобождавшимся не завидовали! Все темное, кромешное исчезало как по волшебству, когда дело заходило о ВОЛЕ, пусть даже о куцей, худосочной колымской «вольнонаемности» (ведь и на тех, кто выходил из лагеря, распространя-

лись высшие соображения: одним разрешался выезд на материк, другие оставлялись в тайге).

Да, именно здесь, в заключении, я встретилась с этим талантом СОРАДОСТИ, гораздо более редким и трудным, чем талант СОСТРАДАНИЯ. Парадокс? А может, не такой уж парадокс? Я всегда, еще с детства, обращала, например, внимание на то, какими прекрасными становятся лица людей, когда они наблюдают за каким-нибудь лесным зверьком, затесавшимся случайно в город. Ну, скажем, еж или белка... Как преображаются лица! Как сквозь раздраженную городскую угрюмость проступает какая-то детская чистота! Удивительный появляется отсвет на лицах. Он просвечивает через маску зла.

Вот такими становились и лица заключенных, когда кто-нибудь освобождался, складывал вещи в последний раз. Не в этап, а за зону! Это было выражение бескорыстной радости. Наверно, людям свойственно просветляться, когда они соприкасаются с естественным достоянием человека. Увидели белку или ежа, чудом затесавшихся в пыльный городской сад, — прикоснулись к природе. Увидели человека, выходящего из-за колючей проволоки, — прикоснулись к свободе. И перед ее появлением стихали все низменные страсти. Человеку, который в данный момент воплощал СВОБОДУ, нельзя было завидовать. Его надо было благоговейно проводить до ворот, чтобы он не расплескал вновь обретенного великого дара.

Мне же кажется, что просветление при соприкосновении со свободой, пусть даже чужой, имеет другую природу, чем умиление при виде белки или ежика: это единение в общей мечте, в общем идеале.

Студеным утром 15 февраля 1947 года этим драгоценным сосудом — вместилищем СВОБОДЫ — была я.

Не успела я показаться на пороге эльгенской вольной больницы, где проработала свои два последних зэковских месяца, как меня обступили все заключенные, обслуживающие эту больницу. И я увидела на их лицах то самое выражение. Они любили меня сейчас за одно только то, что я воплощала для них сегодня мысль: все-таки МОЖНО выйти!

Все хотели оказать мне какую-нибудь услугу. Тетя Марфуша, шестидесятилетняя санитарка, сектантка, адвентистка седьмого дня, вытаскивала из-под полы халата мисочку с овсяной кашей. Она совала мне ее в руки и требовала, чтобы я ела кашу тут же, на ее глазах. С интонациями сказительницы она причитала при этом, что вот, мол, и дожила я до великого преображения, до двунадесятого дня, до какого дай Боже и всем дожить.

Лаборантка Матильда Журнакова критически осматривала мою телогрейку, пожимала плечами, находя такой вид абсолютно невозможным для вольной жизни, и вела разговор к тому, чтобы я без всяких предрассудков взяла у нее платье и чулки. О пальто подумаем после... Гардероб Матильды славился по всему Эльгену, потому что у Матильды каким-то чудом сохранился на воле муж и она постоянно получала из дома посылки. С той же одержимостью, с какой Марфуша вещала о двунадесятом дне, Матильда твердила теперь о возвращении к научной работе. Это был ее пунктик. Все годы заключения она мучилась по своей диссертации, которая к моменту ареста была совсем готова и даже день защиты был назначен.

Истопник Гариф, сидящий по статье 59-3 — бандитизм, стал настойчиво требовать, чтобы я, как получу паспорт, сразу ехала в Азербайджан к его кунакам. А уж они, узнав, что я делила горе с их братом, достопочтенным Гарифуллой-оглы Гусейном, будут кормить и холить меня до конца моей жизни.

Все были настолько наэлектризованы, что даже фельдшер Коля, тяжелый заика, без малейшей запинки выкрикнул несколько фраз подряд.

— Быстро! К телефону! Таскан на проводе! Третий раз уже звонит... С ума сходит... Икру мечет...

Таскан это был лагпункт, где работал врачом ее новый муж Антон, сидевший отчасти по немецкой линии, — даже и любовь отдельным счастливчикам удавалось обрести. В данном случае это была любовь немца и еврейки.

Мы простились в половине двенадцатого ночи. Не позднее двенадцати он должен был быть в зоне. На этот раз мы не говорили друг другу обнадеживающих слов, как делали это прежде, когда меня увозили от него. Теперь перед нами была пропасть — шесть лет, остававшихся ему до конца срока. Без свидания. Может быть, даже без переписки.

Он ушел, а я как села за стол, так и просидела до утра. Шел июнь, и ночь была белая. К пяти часам очертания предметов потеряли ночную размытость, стали четкими. И я вдруг увидала в моем окне резко очерченную руку и рукав военной гимнастерки. Рука стукнула, и чей-то голос с украинским акцентом скомандовал: «На выход давай!»

Я выскочила на крыльцо. У дома стоял грузовик. В кузове, на каких-то ящиках, сидел Антон. Знакомый тасканский вохровец, по прозвищу Казак Мамай, отрывисто распорядился:

— Сидай у кабину, жинка! А як на трассу выедемо, так перейдешь у кузов, та и побалакаете один з одним...

Я беспрекословно повиновалась. И вправду: как только машина миновала наш поселок, Мамай остановил шофера и самолично помог мне вскарабкаться наверх к Антону.

В этих неожиданных проводах, в доброте Казака Мамая, давшего нам еще раз увидеться после последнего на-вечного прощанья, мы суеверно усмотрели доброе предзнаменование. Вот и не ждали, а нашелся хороший человек. И так же будет дальше. Добро встречается и там, где его совсем не ждешь. Увидимся, обязательно увидимся.

Снова драгоценную надежду подарил «прислужник палачей», хотите пишите этот титул в кавычках или без кавычек, его дар от этого не полиняет.

А потом стали брать «повторников»...

Как потом выяснилось, нас арестовали ВСЕГО ТОЛЬКО для того, чтобы оформить нам по приговору Особого совещания МГБ вечное, пожизненное поселение. Для этого требовалось переписать старое дело, отправить его фельдъегерской связью в Москву, дождаться, пока там проштампуют (а очередь шла во всесоюзном масштабе), и наконец получить приговор опять все при помощи той же неторопливой фельдъегерской связи. На это уходило пять-шесть месяцев...

Ах, если бы мы знали это! Если бы хоть догадывались о таких гуманных намерениях! Тогда хватило бы сил переносить эту камеру. Ведь поселение — не лагерь. Это без конвоя, без колючей проволоки, в своей конуре, со своими близкими...

Но следователи не имели права сообщать нам о том, что нам грозит и что не грозит. (Только мой молодой рыцарь госбезопасности Чепцов, обнаруживший при обыске у видной террористки «Кота в сапогах», пытался намекнуть нам с Васькой (будущим писателем Василием Аксеновым. — *А. М.*), что теперь «совсем не то, что в тридцать седьмом году». И хоть я тогда, наученная всей многолетней ложью, и не поверила ему, а ведь оказалось правдой. И я задним числом благодарна Ченцову за эту его человечную попытку утешить и рада за него, что у него дрогнуло сердце, не выдержав нашего с Васей прощания.)

Но все это узналось позднее. А пока мы, несчастные обладатели фамилий с начальными буквами алфавита, так сказать, первопроходцы сорок девятого года, должны были на собственных судьбах узнать, каковы цели этой повторной акции. И нас

терзал призрак нового лагерного срока. Мы ждали полного повторения всей программы тридцать седьмого, а это было свыше человеческих сил.

Поэтому я и готовилась по ночам к смерти, перебирала всю свою жизнь, все боли, беды, обиды. И все свои великие вины. Читала про себя наизусть по-немецки католические молитвы, которым научил меня Антон. И впервые в жизни мечтала о церкви как о прибежище. Как это, наверно, целительно — войти в храм. Прислониться лбом к колонне. Она прохладная и чистая. Никого вокруг не замечать. Но чувствовать чью-то невидимую руку на своей голове. Ты один знаешь, как я устала, Господи...

...Днем и ночью в камере спорили о том, что с нами будет. Назывались новые чудовищные сроки. Двадцать лет... Двадцать пять... Только Гертруда проявляла оптимизм. Уверяла, что будут созданы какие-то промежуточные формы гетто для бывших заключенных, нечто среднее между лагерем и вольным поселением.

— Цум байшпиль, колькоз «Красная репа», — заканчивала она на своем волапюке. Это было не лишено остроумия, и главное — всем хотелось, чтобы это было правдой. С тех пор разговор о том, что нас ждет — лагерь или поселение, — формулировался кратко: Эльген или «Красная репа»?

Наступили ноябрьские праздники. <...> Следователи не работали три дня, никуда никого не вызывали, и тоска, охватившая герметически закупоренную камеру, как бы материализовалась, стелясь по полу грязными пятнами.

И вдруг среди этой могильной тишины, в ночь на девятое, загремели замки, закряхтела ржавым голосом дверь камеры. Меня! На допрос!

Через минуту я уже жадно вдыхала морозный ноябрьский воздух, стоя у вахты в ожидании машины. Здесь возили на допросы на легковой. Я незаметно покрутила ручку, спускающую боковое стекло, и полакомилась кислородцем. Конвоир сделал вид, что не заметил.

Гайдуков (следователь. — *А. М.*) после праздников был какой-то отекший и еще более равнодушный, чем обычно.

— Ну вот и оформили вас, — эпически сказал он, похлопывая ладонью по толстой розовой папке моего «дела». Это было то самое дело, заведенное еще в тридцать седьмом году. Только папка была новая, свежая, с четкой печатной надписью наверху: «Хранить вечно». Под этой надписью — другая, вся через дефисы: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ. Если прикинуть литераторским глазом, то в папке не меньше двадцати печатных листов.

— Неужели все обо мне? — вяло поинтересовалась я.

— А то о ком же? — удивился Гайдуков. Вдруг на его столе зазвонил телефон.

— Да, да, — несколько оживившись, подтвердил мой следователь, — да, у меня. Слушаю, товарищ полковник... Сию минуту, товарищ полковник...

Обернувшись ко мне, следователь сообщил:

— Вас желает видеть наш начальник — полковник Цирульницкий. Следуйте за мной!

У полковника был очень импозантный, почти вельможный вид. Он был в меру высок и в меру дороден, с орлиным носом, с живописной сединой в еще густых волосах. К его внешности подошла бы средневековая кардинальская мантия. Но орденские колодки, разноцветной мозаикой теснившиеся на его груди, напоминали, что заслуги его связаны отнюдь не со средними веками.

— Садитесь! — Это мне. — Можете идти... — Это Гайдукову.

Дальше пошло непонятное, необъяснимое! Полковник вдруг сбросил с лица всю важность и заговорил, называя меня по имени-отчеству, точно за чайным столом.

— Какой у вас чудный мальчик! Он приходил за разрешением на передачу. Я любовался им. И как смело он с нами разговаривает! Обычно ведь нас боятся...

Он произнес последние слова со странной интонацией. Не с важностью, не с самодовольством, а даже с каким-то оттенком горечи.

— У вас один мальчик? — спросил он.

Это был именно тот вопрос, которого я не могла перенести. Я долго молчала, мысленно твердя себе Васину просьбу: «Не плачь при них!» Пауза затянулась. Полковник с недоумением глядел на меня.

— Было два. После того как вмешались в мою жизнь, стал один.

— Война?

— Блокада. Ленинград.

— Но ведь это и при вас могло случиться.

— Нет. Я бы из огня живого вынесла.

Теперь полковник смотрел на меня просто-таки с необъяснимым сочувствием. Я внутренне одернула себя. Что это я? Еще не изучила за двенадцать лет их ухватки? Сейчас, наверно, предложит освободить меня. В обмен на определенные услуги. И я отвечаю на добрый взгляд настороженным враждебным взглядом. Полковник усмехается.

— Не любите вы нас...

— И с чего бы... — непроизвольно слетает с моих губ. Тут же пугаюсь. Добился-таки он своего, сбил меня с официального тона. А сейчас, убедившись, что ничего со мной не выходит, начнет расправу. Вспоминаю рассказы о карцерах дома Васькова.

Но полковник и не думает злиться. Постукивает карандашом по настольному стеклу и задумчиво говорит, как бы размышляя вслух:

— Да, удивительный у вас мальчик. У меня такой же... То есть такой же по возрасту. А вот хватило ли бы у него смелости в нужный момент идти заступаться за отца в такое страшное место — этого я не знаю. Так что видите — в каждой беде есть и хорошая сторона. Теперь вы убедились, как ваш сынок вас любит.

Нет, оказывается, я еще не совсем одеревенела. Слова о сыновней любви, да еще произнесенные полковником МГБ в «белом доме», вдруг потрясли меня. И я нарушила обет, не соблюла Васькину просьбу: заплакала при них.

Полковник с неожиданной легкостью встал со своего места, налил воды в стакан, поднес мне. Я судорожно глотала воду, стуча зубами о стекло. И вдруг различила совсем уж немыслимую в этих устах фразу:

— Я знаю, что вы ни в чем не виноваты...

Да что же это такое? Какое-то уж совсем чудовищное коварство? Или... Или... Неужели искренно?

— Да, я это знаю, — продолжал полковник. — Но сделать из этого все выводы — выше моих возможностей. Однако облегчить ваше положение могу. И сделаю это. Вот читайте!

Он вынул из ящика папку с бумагами. Протянул мне эту папку и подвинул ближе настольную лампу.

Я долго читала механически, от волнения не в силах связать казенные слова в смысловое целое. Фразы пузырились и лопались, не оставляя следа. Но вот наконец кое-что проясняется.

Бумага адресована в Особое совещание при МГБ СССР. Это копия той, что уже отправлена в Москву. «Направляется дело такой-то по обвинению»... бу-бу-бу-бу-бу... Ну, это все условный код, применяемый в царстве Змея Горыныча. Но вот и суть! «Для ссылки на поселение...» Ссылка на поселение! Колхоз «Красная репа»! Счастье! Значит, не Эльген, не лагерь, не колючая проволока... Значит, небо надо мной будет открытое?

Поднимаю на полковника счастливые глаза.

— Поселение? Вольное поселение? С семьей можно?

— Да. И из тюрьмы вы тоже скоро выйдете. Осталось несколько дней.

Он протягивает мне другую бумажку. Это копия письма, посланного им прокурору. Он ходатайствует, чтобы в отношении меня была изменена «мера пресечения», чтобы «содержание под стражей заменить подпиской о невыезде». И мотивирует просьбу тем, что остался без средств к существованию несовершеннолетний сын.

— Видите? Я превратил вашего семнадцатилетнего сына в ребенка, чтобы вас выпустить.

— И что прокурор?

— Согласен. Я говорил с ним сегодня. Но официальной резолюции еще нет. Обещал завтра. Ну, пока бумагу проведут через все канцелярские каналы, пройдет еще дней пять. Считайте, что через неделю будете дома, с сыном. Вас вызовут с вещами. Это будет — на волю. Работать будете на старом месте.

У меня мелькает мысль — попросить его тут же дать разрешение на удочерение Тони. Но он уже нажал кнопку звонка, и в дверях уже стоит пришедший за мной конвоир.

— Уведите арестованную, — приказывает полковник, почти не разжимая губ. Лицо у него снова вельможное, непроницаемое. И все, что он сейчас говорил мне, кажется какой-то фантасмагорией, сном, увиденным на ходу.

Но для этой фантасмагории автор находит рациональное объяснение.

Тогда все это загадочное поведение было мне неясно. Только после отъезда полковника из Магадана я услышала, что во время моей эпопеи сорок девятого года полковник уже знал о своей близкой отставке. Он был ошарашен этим, душевно метался, не находя объяснений чинимой над ним «несправедливости», и, может быть, впервые задумался о судьбах других людей. Я просто попалась ему под руку во время его великого смятения чувств.

А то, что с ним случилось, было связано с другим землетрясением сорок девятого года, эпицентр которого находился на материке. До нас еще только начали доноситься слабые раскаты этого далекого грома. Дело в том, что у полковника, при всех его заслугах перед органами, был изъян в анкете. Изъян роковой и неустранимый. Он относился к пятому пункту анкеты — о национальной принадлежности.

Возможно, все обстояло именно так: чувствительность в полковнике была пробуждена несправедливостью, испытанной на собственной шкуре. Но благородный поступок все равно остается благородным поступком: многих личные неудачи только ожесточают.

В статусе ссыльной обнаружилась еще одна мелкая морока: явилась агитаторша с призывом идти голосовать. И обычная отмазка — мы-де недостойны — не сработала.

На этот раз наша стандартная отговорка не приостановила напористую агитаторшу.

— Нет, — возразила она, входя, — ваше поражение в правах кончилось пятнадцатого февраля нынешнего года. Я агитатор вашего района и хочу побеседовать с вами.

Это была первоклассная, ну просто великолепная колымская вольная дама. Из общественниц. Жена какого-нибудь не самого высокого, но и не совсем рядового чиновника. Вокруг нее клубился обволакивающий аромат модных духов «Белая сирень». Она сверкала перламутровым маникюром и золотыми коронками. Да и весь остальной реквизит был в полной исправности: темно-голубое джерси, чернобурка, меховые расшитые бисером чукотские унты.

— Хочу вас прежде всего поздравить, — сказала она, протягивая мне руку, — от души приветствовать вас с возвращением в семью трудящихся.

У меня стало горько во рту. Это были те самые незабвенные словеса, что красовались на наших эльгенских воротах. «Через самоотверженный труд вернемся в семью трудящихся».

— Вы ошибаетесь, — угрюмо буркнула я, — у меня пожизненное поселение.

— Нет, милая, не ошибаюсь. По инструкции ссыльнопоселенцы пользуются избирательным правом.

Она самым демократическим образом уселась на край моей кровати и сразу принялась рассказывать мне о производственных достижениях того знатного вольного горняка, за которого мы должны были голосовать.

Это была сталинистка умиленного типа. Она просто вся сочилась благостным восхищением, искренним желанием приобщить и меня, изгоя, к тому гармоничному миру, в котором так плодотворно живет она. Она говорила со мной приблизительно так, как, наверно, разговаривают кроткие и терпеливые монахини-миссионерши с грубыми африканскими аборигенами.

— Так значит, вы меня поняли? Ссыльнопоселенцы пользуются правом избирать...

— А быть избранными?

— То есть как это? — любознательно осведомилась она.

— Ну так... Вдруг, например, на предвыборном собрании кто-нибудь назовет мою кандидатуру в местный Совет. Могу я баллотироваться?

Агитаторша рассмеялась рассыпчатым и чистым детским смехом.

— Вот и видно, как вы давно оторваны от жизни. Что же вы думаете — так каждый и кричит на предвыборном собрании, что ему вздумается? Списки-то ведь уж заранее подработаны в партийных органах. Ну, ничего, приходите к нам на агитпункт, помаленьку войдете в курс... Вы ведь, наверное, тогда еще совсем молоденькая были, когда это случилось-то с вами...

— Что случилось? — с тупым упрямством переспросила я.

— Ну, вот когда вы в контрреволюционную организацию попали. Молоденькая были, не разобрались... А они воспользовались... В каждую щель лезут...

— Кто лезет в щель? — еще более тупо спросила я.

— Ну иностранные-то агенты! От разведок... Которые завербовали вас. Но вы не расстраивайтесь. Теперь уж это давно прошло. И Советская власть хочет исправить тех, кто по молодости оступился...

— Красивое у вас кольцо, — сказала я, не отводя глаз от сапфирового камня на ее пальце.

— Нравится? — добродушно переспросила она. — Главное, к этому костюму идет... Да, говорят, и к глазам...

Она бросила мимолетный застенчивый взгляд в зеркало. Глаза у нее и впрямь были безоблачно-голубые.

На прощанье она еще обласкала меня улыбкой и дала лакированную открытку немыслимой красоты. Наискосок пышной алой розы вилась золотая лента с надписью «Все на выборы!». Потом от имени всего коллектива агитаторов обратилась ко мне с просьбой не опаздывать, проголосовать пораньше, проявить с первого же шага своей новой жизни высокую сознательность.

Дура, конечно, но ведь добрая дура!
И вот, пожалуй, самая значительная глава — «Коменданты изучают классиков».

В середине августа я получила по почте официальный пакет. Магаданский отдел народного образования приглашал меня зайти для переговоров о назначении на работу. Пакет пришел в пятницу, а идти надо было в понедельник. Мне предоставлялось, таким образом, целых три дня для колебаний между боязнью «сглазить» и непреодолимым желанием показать эту бумажку всем, кто предрекал неудачу моим дерзким претензиям.

Не выдержала — показала. Неслыханный пакет передавали из рук в руки, перечитывали, обсуждали. Вызывают в гороно! Вечную поселенку — в гороно! По неудержимой склонности к широким обобщениям на основе единичных фактов наши бывшие заключенные истолковали эту бумажку как вернейшее знамение скорой

всеобщей реабилитации. Отдельные закоренелые скептики кривили губы: «Какая-нибудь хитрость! Не может этого быть».

Поверить действительно было трудно. Конечно, гороно не такое учреждение, как, скажем, главк или политуправление, величественное с виду, окруженное охраной. Но все-таки и гороно — один из островков вольного мира. Туда вход для касты неприкасаемых прочно закрыт. Это не то что наше сануправление, где работает масса бывших зэка и поселенцев.

Я первая из наших переступаю этот порог. И пока иду по незнакомым коридорам, меня не оставляет чувство ожидания внезапного удара. В отделе кадров на переднем плане — очень нарядная дама с державным бюстом. В глубине комнаты, спиной к двери — мужская фигура, склонившаяся над бумагами. Молча протягиваю даме мою заветную бумажку. Она долго вчитывается в нее с таким напряженным видом, точно это китайские иероглифы.

— Это вы сами и будете? — вопрошает она наконец.

Потом она подходит к сейфу, огромному, храмообразному, вынимает оттуда бумажные листы и кладет их передо мной.

— Заполняйте.

Анкета. Анкета для лиц, вступающих на педагогическое поприще в этом благословенном крае. Уникальная в моей жизни анкета. Потому что в тридцатых годах таких ЕЩЕ не было, а после Двадцатого съезда и нашего возвращения на материк их УЖЕ не было. Эта анкета произвела на меня неизгладимое впечатление. До сих пор помню отдельные вопросы. Девичья фамилия матери вашего первого мужа? В скобках — второго, третьего... Назовите адреса и места работы ваших братьев, их жен, ваших сестер и их мужей. Боже мой, Боже мой! Куда я лезу? <...> Но пути к отступлению были отрезаны.

— Сядьте вон за тот столик и заполняйте четким почерком, без помарок, — распорядилась дама, а сама углубилась в какие-то очень красивые разноцветные полированные папки.

Надо было видеть лицо этой кадровички, когда после долгой работы я выложила наконец перед ней заполненные листы. И как было по-человечески ее не понять! Ей, призванной вылавливать какую-нибудь раскулаченную двоюродную бабушку или жену деверя с нерусской фамилией, ей, натренированной на такие тонкости, вдруг с циничной открытостью вывалили прямо на стол смертные террористические статьи Уголовного кодекса, Военную коллегию, вечное поселение, двух репрессированных мужей и кучу репрессированных родственников со стороны Антона. Не говоря уже о массе немецких фамилий, которых не могли перекрыть православные Аксеновы, поскольку у Павла была всего одна сестра и один брат, а у Антона четыре сестры и четыре брата, двое из которых находились к тому же в Западной Германии.

— Андрей Иваныч! — позвала кадровичка смятенным голосом. — Можно вас на минуточку?

Она звала на помощь, хотя ей было известно, что по каким-то неведомым высшим соображениям меня решили допустить к преподаванию, что есть указание «оформить». Но она просто не могла с собой справиться. Годами выработанные условные рефлексы валили ее с ног. Она была сейчас точно борзая, которую почему-то заставляют отпустить пойманную дичь.

Молодой человек, сидевший к нам спиной, встал и подошел к столу дамы. У него была запоминающаяся наружность. Этакий дореволюционный классный наставник с матовым челом. Он был явно умен. По его внимательным глазам и удлиненному сжатому рту было видно, что за время, протекшее с пятого марта, он, в отличие от своей начальницы, кое-что понял и, во всяком случае, научился ничему не удивляться. С непроницаемым видом он прочел список моих преступлений и данные моей генеалогии. Потом сказал:

— Отлично!

Дама вздрогнула.

— Отлично, — продолжал он, — теперь напишите заявление о предоставлении вам вакантной должности преподавателя русского языка и литературы в школе взрослых. Приложите документы об образовании.

Дама оживилась от вспыхнувшей надежды.

— Документов об образовании у вас на руках, конечно, нет? — спросила она.

— Почему же? Вот, пожалуйста. Правда, копии. Но законно заверенные...

Неприятно пораженная, она стала внимательно читать мои дипломы. Аккуратно подбритые бровки все ползли и ползли вверх. Бедняге нелегко давалась задача — совместить такие дипломы с ТАКОЙ анкетой. Но ее коллега мгновенно сориентировался.

— Вот и хорошо, что будете работать со взрослыми. Вам, как вузовскому работнику, это будет привычнее, чем детская школа.

Привычнее! Господи, да был ли мальчик-то? Где-то далеко-далеко, в непроглядной дали — за горами, за долами, за тюрьмами-лагерями, — маячила в извилинах памяти некая молодая дуреха, самоуверенно вещавшая с кафедры хорошо заученные уроки.

На минуту меня охватывает ужас. Куда я лезу? Чему я буду учить? Может быть, я уже все забыла? Может быть, они не захотят меня слушать?

— Ну вот, резолюция уже есть, — очень лояльно говорит этот самый Андрей Иваныч, возвращаясь с моими бумагами от начальства, — сейчас получите выписку из приказа и можете идти к директору школы.

И вот первый урок.

Что это? Передо мной, сверкая золотыми погонами и отлично вычищенными сапогами, сидели офицеры. Одни сплошные офицеры. Сорок человек. Среди них мелькали знакомые мне лица. Да это наши коменданты! Бывшие и нынешние! Молодые и постарше. Позднее мне объяснили, что в связи с новыми веяниями от офицеров потребовался образовательный ценз, и им срочно пришлось идти в школу взрослых приобретать ставший необходимым аттестат зрелости.

А я-то рисовала себе в качестве моих учеников рабочих с авторемонтного завода, из аэропорта, может быть, грузчиков из бухты Нагаево. Я представляла себе мужественных трудолюбивых людей, среди которых будет много моих товарищей по несчастью. Мечтала о том, как я сдружусь с ними, как они будут благодарны мне за то, что я смогу дать им. И вот...

— Преподавательница русского языка и литературы, — представила меня директорша, и я увидела, что в глазах моих комендантов вспыхнуло острое любопытство, насмешливая ухмылка, даже, пожалуй, враждебность. Тем не менее все они встали и по-военному четко гаркнули:

— Здравствуйте, товарищ преподаватель!

...В их взглядах, устремленных на меня, больше всего сквозила бдительность и меньше всего любознательность, желание получить от меня что-то новое, до сих пор неизвестное им.

На помощь, как всегда, пришел мудрый Антон.

— В общем-то, большинство из них деревенские Ванятки. Чувство реальности, наверно, есть у них... А еще поучатся годик — совсем другими людьми станут... Самое главное, абсолютно забудь про их погоны и чины. Обращайся с ними как с обычными учениками...

Легко сказать! А каково рвать прочные, устоявшиеся условные рефлексы! Эти сапоги, эти гладко выбритые скулы и канты на воротничках вызывали во мне ком-

плекс преследования. Я без конца всматривалась в эти лица и видела в них только надменность или, в лучшем случае, усмешку принужденного внимания. Я входила в класс и, казалось, физически ощущала излучение угрюмого недоверия. Некоторые, наверно, держат ухо востро в ожидании, когда я начну «протаскивать» что-нибудь такое идеологически сомнительное. Другие, видимо, не верили, что я действительно постигла бездну премудрости. Эти дотошно переспрашивали даты, названия местностей, заглавия произведений, откровенно заглядывали в учебник для проверки.

Отношения еще больше обострились после первого контрольного диктанта. Он принес колоссальный урожай двоек. Мрачная атмосфера сгустилась над классом. Теперь эти люди, до сих пор настроенные против меня, так сказать, в общем порядке, были еще и персонально оскорблены мной. Те, кто был поумнее, просто затаили недоброжелательное чувство, но те, кто не мог смириться ни со своей непривычной ролью, ни вообще с новыми веяниями, пошли в дирекцию жаловаться.

В класс после этой жалобы пришел завуч. Он убедительно и многословно разъяснял, что товарищи офицеры не должны думать, будто отметки выставляются по произволу преподавателя. Имеется «шкала», утвержденная министерством, по которой за четыре орфографические и четыре пунктуационные ошибки положено ставить двойку.

Но понемногу что-то сдвигалось.

Была надежда их понять, прорваться сквозь броню их обросших упитанным мясом сердец к самой сердцевинке, где, возможно, что-то и таилось.

— Позвольте, а зачем вам это нужно, к сердцам-то ихним пробиваться! И что вы можете в глубине этих жандармских сердец обнаружить?

Так резко оборвал в одно из воскресений мои излияния друг Антона Михаил Францевич Гейс, тот самый, что первым принес нам весть о смерти Великого и Мудрого. Гейс был непримирим в своей памяти о пережитых им муках. Он не делал различий между Вдохновителем и Организатором и десятками тысяч Ваняток, ставивших штамп на наши ссыльные удостоверения. С самого начала он советовал мне отказаться от работы в школе, поскольку «вместо учеников вам подсунули палачей».

— Ладно, допустим, вам очень трудно было отказаться от работы по специальности, которой вы так жаждали все время. Ну и учите уж их чему положено. Но душу-то зачем вкладывать? Поберегите ее до лучших времен. А они недалеко...

Только оставаясь наедине с Антоном, я не стеснялась высказывать пока еще не оформившиеся возражения Гейсу.

— Так ведь конца не будет, правда? Они — нас, потом — мы их, потом опять... До каких пор будет кругом ненависть? Ну я не говорю, конечно, о главных, пусть о них решается вопрос в меру их преступлений, но вот такие коменданты... А сколько раз в лагере мы выживали благодаря добрым конвоирам! А Тимошкина вспомни! А ты знаешь, что третьего дня было после урока о Пушкине? Лейтенант Погорелко подошел ко мне уже на перемене и попросил меня прочесть еще раз, или, как он выразился, «рассказать» еще раз, стихи Пушкина «Безумных лет угасшее веселье». А когда я ему сказала, что ведь уже был звонок и разве он не хочет покурить, то он ответил, что папироска всегда при нем, а вот такие стихи не каждый день услышишь. И я всю большую перемену читала им наизусть Пушкина. А они — Погорелко и еще человек пять — не ходили курить, слушали. И как еще слушали! И хочешь презирай меня — хочешь нет, но я видела в них в это время не комендантов, а своих учеников. И мне ужасно хотелось, чтобы им нравились именно те стихи, которые люблю я...

На одном из очередных заседаний педсовета завуч сдержанно сказал, что офицеры моими уроками довольны. А еще через неделю ко мне подошел староста класса капитан Разуваев и высказался в том смысле, что сейчас, поздней осенью, вечера

стали очень ветреными и темными. Возвращаться домой после уроков в одиннадцать часов ночи, да еще идти через пустырь в Нагаево, стало небезопасно. И класс постановил ввести дежурство. Каждый день меня будет провожать кто-нибудь из офицеров до самого дома.

Меня обычно встречал Антон, но в те вечера, когда он дежурил по ночам (он снова работал теперь в больнице), мне действительно приходилось трудно. Поэтому я с радостью приняла предложение офицеров. Теперь, когда я спускалась вниз в раздевалку, меня ждал уже там один из моих вооруженных учеников, и под его охраной я спокойно возвращалась в Нагаево.

Немало я походила под конвоем, но такое оригинальное конвоирование было даже мне внове. Мы дружно шагали в ногу, а на рытвинах и ухабах очередной спутник деликатно поддерживал меня под руку. Разговоров во время этих возвращений было то больше, то меньше, в зависимости от характера дежурного провожатого, но одно соблюдалось всегда: мы никогда не говорили о политике, хотя события напряженно нарастали и каждый день приносил с собой новые впечатления, надежды и разочарования.

Мы говорили почти всегда о литературе, о классиках, которых мы изучали в классе. Часто это была с их стороны дань вежливости, заполнение пустого времени. Но порой прорывались вдруг признаки неподдельного интереса к книге. Иногда я использовала это время для дополнительных занятий на ходу. Память у меня тогда была очень хорошая, я помнила индивидуальные ошибки каждого и разъясняла ему их, пробираясь через наш знаменитый пустырь.

Однажды пришла очередь провожать меня моему собственному коменданту Горохову. Всю дорогу я толковала ему о правописании суффиксов прилагательных, а уже на спуске к Нагаеву вдруг вспомнила вслух:

— Да, завтра ведь пятнадцатое! Завтра мне к вам в комендатуру. Отмечаться...

...Прощаясь со мной у моего крыльца, он шутя поблагодарил «за дополнительное занятие на ходу» и сказал, чтобы я завтра пришла минут за десять до открытия комендатуры. Он придет пораньше и быстро меня отметит, а то ему каждый раз неловко при мысли, что такая образованная дама стоит — да хоть бы и сидит — у него в коридоре.

...А между тем вопрос о том, возможно ли, допустимо ли доброе отношение к таким оригинальным ученикам, как мои, не сходил с повестки дня за нашим воскресным столом. Мои отношения с Гейсом заметно ухудшались. Меня злило, что я не всегда нахожу достаточно убедительные возражения против его хлестких аргументов, в то время как внутренне убеждена, что я права. Гейс вел себя наступательно. Зло острил.

— Так, значит, они в сущности славные ребята, эти офицеры определенного ведомства? И их довольно приятно обучать классической литературе? Тем более что вам так хотелось вернуться к своей профессии...

— Не касайтесь этой стороны вопроса. Да, я много лет томилась по своей работе. Все время алчно мечтала о том, чтобы писать и преподавать... Все годы, пока я пилила, кайлила, мыла полы, перевязывала язвы и прочая, и прочая... Вы это считаете моим преступлением? Проявлением беспринципности?

— Да, поскольку вас назначили просвещать тюремщиков...

— А вам не приходит в голову, что среди рядовых армии Зла есть люди, много людей, которых можно перетянуть на сторону Добра?

И тут на меня вдруг напало вдохновение. Я стала говорить о том, что в нашу эпоху, с ее невиданными масштабами, с ее стертостью линии, отделяющей палачей от жертв (сколько людей, прежде чем самим попасть в сталинскую мясорубку, с азартом перемалывали в ней других!), нет больше той баррикады, которая, скажем, в девятьсот пятом году четко разграничивала: по ту сторону ОНИ, по эту — МЫ. Неслыханная система разложения душ Великой Ложью привела к тому, что тысячи и тыся-

чи простых людей оказались втянутыми в эти соблазны. И что же? Мстить им всем? Подражать тирану в жестокости? Длить без конца торжество ненависти?

— Да уж, понятно, не «сеять разумное, доброе, вечное» на таком каменистом поле, как комендатура МГБ!

— Позвольте, Михаил Францевич, — вмешался вдруг в разговор профессор Симорин, один из наших постоянных воскресных гостей, — давайте перенесем вопрос в практическую плоскость. Вот сейчас все мы ждем с нетерпением — обоснованно или нет, будет видно дальше — радикальных перемен в нашем обществе. Представьте себе возвращение к тому, что было задумано в идеале. Как же вы в этом случае мыслите судьбу всех этих бесчисленных маленьких комендантов, охранников, конвоиров? Сплошным Нюрнбергским процессом, что ли?

— Да! Десятками, даже сотнями таких процессов! — запальчиво воскликнул Гейс. — Месть беспощадная, нет, не месть, а возмездие всем сообщникам Тирана, всем его сатрапам! Пусть получит свое каждый винтик палаческой машины!

Я видела, что Гейс зарвался, что он говорил уже больше того, что думает и чувствует. Я вспомнила, как много он испытал, и мне как-то даже жалко его стало за такое разрывающее душу ожесточение. Мне очень хотелось привести вслух короткое изречение, ставшее эпиграфом к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и Аз воздам». Но я стеснялась вымолвить эти слова. В те времена во мне еще крепко сидели если не мысли, то подсознательные движения души, привитые уродливым воспитанием. Те размышления о Вечном и временном, о Целом и маленьких беспомощных его частицах-людях, которые я доверяла тюремным нарам в доме Васькова, я еще не могла выговаривать вслух. И вместо этой короткой исчерпывающей евангельской Истины я наговорила Гейсу кучу куда менее убедительных слов.

— Вы говорите: если оставить злодеев безнаказанными, они в конце концов разорвут мир на части. Вы, наверное, правы, если говорить о главных злодеях, о «вдохновителях и организаторах». Но ведь если встать на путь преследований каждого, кто по недомыслию, по трусости, по слабости, по жадности, по доверчивости, по темноте творил Зло, если снова поощрять звериную жестокость, пусть даже по отношению к вчерашним винтикам в сложной машине злодейства, чем все это кончится? Ведь обрастем клыками и шерстью! На четвереньки встанем!

Антон, давно уже с беспокойством поглядывавший на нас, прислушиваясь к спору, решил шуткой спустить весь разговор на тормоза.

— Признайся, что у тебя с ненавистью и впрямь плоховато обстоят дела. Тренировки нет... Не умеешь... Обмен веществ не тот...

...Но Гейс не шел на шутки, был по-прежнему мрачен. Теперь он обратился к Антону:

— А если без зубоскальства, всерьез? Одобряешь педагогическую деятельность своей жены?

— По-моему, единственное, что надо делать с этими комендантами, это их учить. Ведь темнота несусветная! И мы не знаем, что раскроется в их душах, когда хоть немного света туда проникнет...

Потом Антон помолчал немного и совсем тихо добавил:

— Вообще, мне думается, что лечить и учить надо всех...

К такому вот итогу после невообразимых страданий приходят эти без преувеличения герои, коренные жители архипелага Благородства: лечить и учить надо всех.

Обычно принято просить у читателей прощения за слишком длинные цитаты, но в данном случае я скорее готов был бы потребовать благодарности. А кто скажет, что и без меня помнил эти эпизоды, пусть первым бросит в меня камень.

Евгений ПОПОВ,
Михаил ГУНДАРИН

МРАКОБЕС И ИМПЕРИАЛИСТ КАБАКОВ

Вот уже четыре с лишним года современная русская литература худо-бедно, но обходится без Александра Кабакова, автора короткой повести «Невозвращенец», с выходом которой он в одночасье стал богатым и знаменитым, причем не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Мы рассказывали об этом выдающемся литераторе в шестом номере «Невы» за 2024 год. Предлагаем вашему вниманию еще одну главу из биографической книги о нем, которую только что закончили писатели Евгений Попов, многолетний друг Кабакова, и Михаил Гундарин, тонко чувствующий этого легендарного литератора. Они уже выпустили в соавторстве биографии Фазиля Искандера и Василия Шукшина, теперь настала очередь «опоздавшего шестидесятника» Кабакова, который любил фразу, приписываемую Черчиллю: «Кто в молодости не был революционером, не имеет сердца, кто к старости не стал консерватором, не имеет мозгов».

МЫ — ЭТО НЕ ОНИ

Можно спорить о Кабакове — писателе, публицисте и так далее. Но кажется, никто не может усомниться, что Александр Абрамович был человеком умным. Поэтому он — менялся. Его высказывания нулевых и 10-х годов едва ли понравились бы ему самому образца 90-х. Задолго до смерти он стал противником своих ультралиберальных взглядов и ультралиберальной тусовки, к которой был достаточно близок раньше (хоть и своим в доску не делался, но со стороны казалось, что он — свой). О собственном «мракобесии» Кабаков говорил охотно, как будто даже гордясь им. Да и тем гордясь, что он не в пресловутой тусовке, ни в общем строю не стоит, каким бы этот строй ни был.

Его книги нулевых далеки от оптимизма и веры в капиталистическое да и любое светлое завтра. Кабаковский опыт работы в ведущих медиа страны показал ему изнанку этого капитализма, этих «новых русских», какими бы благостными любителями

Евгений Анатольевич Попов родился в 1946 году. Писатель, драматург и эссеист, секретарь Союза писателей Москвы, один из основателей и вице-президент Русского ПЕН-центра. Автор более двадцати книг, переведенных на множество языков. Заслуженный работник культуры РФ, награжден орденом Дружбы.

Михаил Вячеславович Гундарин родился в 1968 году. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Преподает в вузах, кандидат философских наук. Автор более 10 книг стихов и прозы, многочисленных литературно-критических статей и эссе. В соавторстве с Евгением Поповым написал биографии Ф. Искандера и В. Шукшина. Живет в Москве.

искусств они ни казались. Он видел, сколько несчастий принесли те годы простым людям — и уже поэтому не мог быть апологетом «свободы ради свободы», каким казался в 90-е. Наконец, как бы он ни отрицал демонстративно советскую эпоху, от себя не уйдешь: привитый с детства опыт гордости за державу испариться не мог, он должен был принять другую форму и направление, но остаться. В этом смысле молодые коллеги Кабакова такого опыта были лишены; ну а некоторые бессовестные ровесники писателя делали вид, что у них никогда такого опыта не было.

При этом Кабаков отстранялся и от демонстрации политической лояльности действующей власти, чем грешили многие из вдруг «прозревших» конформистов. Таков был его принцип, усвоенный с ранней юности: писатель должен стоять в стороне от правительства. Вот высказывание 2014 года. «Я не поддерживаю власть и не борюсь с властью. Я живу сам по себе. Я частный человек, сочиняю тексты. Поддерживать власть или не поддерживать власть — это, в сущности, одно и то же. Я просто доволен, что власть ко мне никакого отношения не имеет, и больше мне от нее ничего не нужно».

Конечно, звучит утопически. И, честно говоря, вряд ли сам Кабаков этого не понимал. Но принцип есть принцип, если даже его изложение звучит несколько наивно. Так же, как кабаковский монархизм, о котором он начал активно говорить в новом тысячелетии. Трудно представить, чтобы он радовался восстановлению на престоле династии Романовых. Его монархизм был не более чем абстрактным credo, традицией, имевшей в прошлом большое число сторонников, в том числе среди любимых Кабаковым писателей. Да он и сам, признавая это, сказал в 2016 году: «Я — глубоко убежденный монархист — при том, что я понимаю, что это невозможно, что династия прервана, — это испанцам повезло, у них династия не прерывалась. А здесь династия прервана, и любая попытка ее воссоздать приведет только в худшем случае к крови, а в лучшем — к посмешищу».

Вот несколько высказываний Кабакова середины нулевых — середины 10-х.

> Когда я занимался журналистикой, то всегда стоял на позиции, от которой не отказываюсь и сейчас. Первое — что бы ни было в этой стране, это лучше, чем коммунизм.
>
> Второе — не надо считать, что наша страна самая худшая и гордиться этим, как в советское время полагалось гордиться тем, что она самая лучшая. У нас нормальная страна, и ничего ужасного нет.
>
> Что бы сейчас я ни сказал про власть, я окажусь на той или иной стороне, но ни с теми, ни с другими я находиться не хочу. Между тем, так не получится — все, что бы ты ни сказал, будет использовано той или иной стороной.

Это 2008 год.

Полагаем, такой пессимизм связан со многими вещами. Например, утратой широкого читателя. И дело даже не в продаже книг, тиражах — но в социальной опоре. Кабаков как-то очень резко (видно, это его серьезно волнует) говорит об исчезновении интеллигенции. «Интеллигенции больше нет. Она кончается, ее остатки несущественны. И в общем-то, слава богу. О какой интеллигенции вы говорите? Где вы видите людей, которые попадают под определение интеллигенции?» Это доминанта высказываний Александра Абрамовича его последних лет.

Другой лейтмотив его рассуждений — недовольство современной культурой и подчеркнутый антиамериканизм. Ну прямо точная антикопия воззрений юности!

Кабаков, впрочем, считает, что изменился не он. Изменилась культура. Изменилась Америка. И американская, шире — западная культура прежде всего.

Все художественные музеи ориентируются в сторону современного искусства. Оно в каком-то смысле все оппозиционное, левое, но оно ни на что не влияет в обществе. И не хочет влиять.

При этом оно направлено на разрушение культуры, как и сто лет назад. Вся современная культура разрушительная. В ней есть талантливые люди, есть и дутые фигуры.

Талантливые люди и прежде работали на разрушение того, что было до них в культуре. Иначе откуда могла бы появиться новая культура? Но раньше общество само хранило традиции, сама общественная жизнь была традиционной. Сейчас традиции разрушаются каждодневно.

Еще в 60-е годы, не то что сто лет назад, шпенглеровские разговоры о закате Европы казались преждевременными. Теперь мне кажется, что это было справедливое предвидение — западная христианская цивилизация, как и всякая цивилизация, оказалась склонной к самоубийству. Чем она сейчас и занимается...

Америка в первую очередь. Это очевидно и по культуре, и по общественной жизни. Политкорректность, которую я не устаю проклинать, есть способ разрушения цивилизации, основ, на которой она была создана.

Кабакова раздражали известные, описанные миллион раз черты западного мышления: стандартность, склонность к самым лютым стереотипам. Он издевательски писал о том, как иностранцы представляют нашу страну:

Многие не знают, чем отличается наша страна от других. Среди этих многих есть, конечно, несколько миллиардов иностранцев, уверенных, что Россия покрыта вечными льдами, сквозь которые с трудом пробиваются ростки клюквенного дерева, боеголовки советских ракет и нефтяные фонтаны. Посреди этой угрюмой, но величественной картины высится мавзолеум, где лежат рядом тела Лео Толстого, друга Ленина, и Федора Достоевского, великого русского поэта. А поверх всего тоталитарно, нарушая любые права человека, гремит музыка Петра Чайковского, замученного в ГУЛАГе, где не было никакой политической корректности, эбсолютли... Только не думайте, что в наше время массовой информации, текущей буквально из любой розетки вместе с электрическим током и сетевыми дневниками, что-нибудь сильно изменилось. Разве что к истинно русскому между классическим балетом и известным исключительно иностранцам тостом «на здоровье!» добавилась русская мафия, широко представленная в следственных тюрьмах Соединенных Штатов и Израиля, а также во Французских Альпах молодыми людьми с уже немодной трехдневной щетиной, рыжей или иссиня-черной и оттого совершенно библейской. Ничего другого нормальный иностранец, не славист и не работник спецслужб, про нашу с вами страну не знает и, главное, знать не хочет. А зачем ему? Картина мира сложилась, в ней нашлось место и общечеловеческим ценностям, и террористам, и правам некрофилов, и антиглобализму с глобализмом вместе, и России с ее загадочностью, состоящей в том, что национальные предпочтения склоняются не к легализации марихуаны, а к неведомому.

Ах, как хорошо сформулировано!

И вот еще одно важное высказывание — об отличии «нас» от «них». Коренном, непреодолимом отличии (а ведь на том, что «мы» — это «они», только похуже, строится вся либеральная повестка; это доходит до понимания «нас» как орков — ведь и орки по Толкиену «испорченные» эльфы). Либерализм, как его ни понимай, союзник глобализма. Нет, говорит, Кабаков, мы с ними — разные. И это принципиально. Буквально на уровне строения наших организмов. Что социального организма, что биологического.

Вот кабаковское интервью, данное журналу «Форбс» в 2016 году и поясняющее многое в его позиции. Начинается оно так:

> У меня не просто репутация мракобеса, я и есть мракобес. Мне 73 года. И я успел стать таким. Это позволяет говорить более откровенно и не требует напряжения.

Эти несколько фраз, как нам кажется, вполне отражают реальное, не показное, умонастроение автора «Невозвращенца». Далее Кабаков обрушивается с критикой ни много ни мало на священную корову западного мировоззрения — здоровый образ жизни, долголетие...

> Тема продолжительности жизни меня не особенно увлекает. Не понимаю, на хрена человеку продолжительность жизни? Как я сужу по своему мироощущению, человек должен жить столько, сколько ему интересно жить. И этот возраст у каждого свой.
>
> Европейский образ жизни — много работать, много заниматься спортом, своей семьей, детьми, жить долго и счастливо — кажется нам очень привлекательным. Мы увлеченно подыгрываем всему, что видим в Америке и Европе. И то, что происходит у них, обязательно будет происходить здесь у нас. Стремление впрыгнуть на ходу в последний вагон поезда, идущего к пропасти, — наше национальное состояние. Может, разобрали давно рельсы и нас туда никто не зовет, и даже пытаются вытолкнуть, но нам надо в этот поезд попасть обязательно.
>
> И вот появилась идея фикс: жить долго и счастливо. Что значит долго? Больше ста лет или к ста годам? Счастливо: иметь достаточно денег, чтобы поддерживать тот образ жизни, к которому привыкли, и с помощью психотерапевтов находиться в состоянии постоянного равновесия? Но я не хочу так жить. Прежде всего это идеал протестантов. Но я не протестант. Не хочу ничего сказать дурного, но, на мой взгляд, протестантизм — это христианство лайт. Я к этому направлению не принадлежу, я по-другому ощущаю жизнь. И для меня долгая такая жизнь — не безусловное счастье.
>
> Если вы хотите серьезно наполнить жизнь, надо Богу молиться и жить правильно. Это совсем не гарантирует счастья, но быть несчастливым — это быть. А быть таким счастливым, у которого с зубами все в порядке и можно поехать на весенний дешевый сезон в Венецию, — это лучше не быть.
>
> Россия — страна восточного христианства, она никогда не будет такой, как Голландия, никогда не будет такой, как Англия, никогда не будет такой, как Германия. Есть русский путь, он определен нашим православием. У нас не прививается европейский образ жизни, особенно образ жизни северо-западной Европы. У нас не моют подъезды, не ставят цветы в горшках, не бросают окурки в урны. У них — свои правила, у нас — свои правила, они в воздухе. Наши подъезды засраны прямо пропорционально количеству кандидатов наук, живущих в этих подъездах. Подъезды в России будут засраны всегда. Ну не все, но большая часть. В чистом, пахнущем дезодорантом для мытья полов, с цветами в горшках подъезде будет жить маленький французский служащий. И будет жить русский в эмиграции, когда он станет таким же, как все вокруг. Но здесь, в России, этого не будет.
>
> «Если не жить правильно, то лучше не жить никак» — духовность в русском понимании. Жить правильно или не жить никак. Но как жить правильно, я не знаю. Хочу знать, но не знаю. Поэтому человек испытывает постоянное недовольство собой, страной, миром, другими людьми. Русскому человеку незачем мыть подъезды при такой интенсивной духовной жизни.

Пушкин вспоминается здесь: «Иная, лучшая, потребна мне свобода...» И Кабаков со всей страстью поясняет, какую свободу он имеет в виду, то есть какова его положительная программа:

> Высшее качество жизни — это свобода жить как угодно или хотя бы думать как угодно. Это такая свобода, которая тебе же самому не мешает жить. Я знаю, что внутри меня существует свобода, которая позволяет жить так, как я считаю правильным. Это не значит, что я так живу. Но так можно жить. Теоретически. Вот когда человек обладает такой свободой — это высшее качество жизни. Он свободен на психологическом уровне. Ему не надо думать, экологически ли чистый он ест творог на завтрак, сколько километров в день пробежать-проплыть. Он не то чтобы живет как хочет, но он свободен внутри себя. И тогда ему интересно жить.

Подписываемся под каждым словом!

Здесь было сказано о религии. Да, как это не идет вразрез с неким расхожим представлением об Александре Абрамовиче. А к концу жизни он стал верующим человеком и — более того — приверженцем православия. Об этом знали его близкие друзья. Об этом он вполне отчетливо заявил и во всеуслышание, давая интервью православному журналу «Фома» в 2011 году.

Обратите внимание — он достаточно критичен по отношению к церковным властям, но совсем иначе говорит о вере.

> Если священник или тем более церковный иерарх появляется на телевидении или в газете, то говорить он должен о самом главном, о спасении душ. Он не должен говорить о процентных ставках и продуктах-ГМО, и он не может начинать предложение фразой «Я по жизни...» — ему не позволяет этого его статус. Именно такие вещи разрушают не только почтение к духовенству, но и доверие к Церкви.

И вместе с тем он уверен, что «Церковь не может быть толерантной. Так же как интеллигенция обязана во всем сомневаться, Церковь обязана проповедовать свою веру, а значит иметь четкую позицию. Это не значит, что она обязана призывать к репрессиям и убийствам идейных противников, но Церковь должна уметь стоять на своем.

К слову, по законам современного толерантного общества Церковь имеет на это полное право, в смысле, на свою позицию. Но почему-то конкретно в отношении нее этот принцип не работает. Ей вообще запрещают иметь свое мнение по тем вопросам, по которым свободно высказывается абсолютно любой... В Церкви может быть терпимость к людям, но терпимость на уровне идей в ней невозможна. От нее требуют какой-то особой, „внутрицерковной демократии“, но Церковь — это иерархическая структура, какая уж тут демократия? Вот и получается, что она просто не вписывается в нынешние общественные стандарты.

Вообще в отношении к Церкви у интеллигенции существует какой-то двойной стандарт. С одной стороны, отрицается ее сакральная и священная природа, а с другой стороны, обвиняют ее как раз в недостатке святости. Церковь не святая? Ну, так и что — если вы все равно не верите в ее святость!»

Очень важный момент: с годами Кабаков стал крайне критичен, а временами и нетерпим по отношению к так называемой «интеллигенции». От которой у нас и сейчас-то трудно отделить эпитет «либеральная», а уж в конце 90-х — начале нулевых и подавно.

В общем, понятно, как он смотрел на коренные вопросы нашей жизни. Изъяснялся Александр Абрамович и по вопросам актуальной повестки — и чем дальше, тем все больше в антилиберальном духе.

> Мне очень не нравится все, что произошло с бывшей Югославией. Ужасна вся эта история с конфликтом между албанцами и сербами. Ужасная история с натовскими бомбардировками. Ужасная история с гражданской, межэтнической и межрелигиозной войной, которая не прекращается, в сущности, в Косово. Там абсолютно бессовестно обращаются с сербами. Сербы отвечают, как могут. Вся эта история мне очень не нравится. Что будет, не знаю. Боюсь, что сербов понемногу из Косово вытеснят окончательно, и они, просто спасая жизни, уйдут.

Это было сказано в 2008 году. А четыре года спустя он выражался еще более определенно: «Движение к саморазрушению свойственно, видимо, любой цивилизации — развитие есть одновременно и умирание, только на ранних этапах это не очевидно. Мне представляется, что так было в античности, то же самое произошло в Египте и, вероятно, в древней Южной Америке. В последние десятилетия евро-христианская цивилизация проделала, как мне кажется, большой путь забвения и прекращения своих традиций, подверглись сомнению основные цивилизационные ценности, до неузнаваемости изменился образ жизни большинства людей в Европе и Северной Америке. Не давая оценки, констатирую только очевидный, по-моему, факт: политкорректность, став почти государственной и, во всяком случае, наиболее распространенной в западном мире идеологией, канонизировала ту модель общества, которая возникла в XX веке в Европе и Северной Америке, — буржуазные и демократические идеалы, либеральные взгляды и толерантное отношение к иному образу мыслей и жизни. Свобода стала основой для концепции так называемой мультикультурности, а она, в свою очередь, — теоретической основой для размывания этнического, религиозного и поведенческого образа западного мира... жесткие меры, думаю, уже не дадут результата — поздно, шлюзы открыты».

Сказано ярко, сказано резко — но справедливо, разве нет?

Об оценке украинских событий в 2014 году, которая его окончательно поссорила с пресловутой тусовкой, мы еще напишем. Но еще до 2014 года представления Кабакова сформировались вполне определенные. Ведь он и сам в Москву приехал из Днепропетровска, успев там отучиться, поработать, во многом сформироваться как личность. Захар Прилепин вспоминал: «...в 2013 году или в 2011-м мы выступали вместе в Киеве (или во Львове?) И у Кабакова была пресс-конференция. И молодой украинский журналист говорит: „А как вы относитесь к украинской независимости и вообще к Украине?“ Александр Абрамович иронически спрашивает у организатора: „А когда у меня поезд? Через час? То есть успею до вокзала доехать?“ — тот кивнул. И тогда Кабаков громко и внятно, чуть лукаво щурясь, произносит: „Я русский монархист. Я считаю, что никакой Украины нет. Есть Российская империя“». Эпатаж? Не без этого. Но и четкое credo.

И вот еще удивительный факт: Кабаков вдруг загрустил... по СССР! Ну да, с оговорками (мол, ГУЛАГ — это плохо, но не ГУЛАГом единым жила страна). Но все равно — загрустил! Свидетельством тому — отличная миниатюра «Маршрутка». История простая: детально описанные пассажиры подмосковной маршрутки, люди все неудачливые, невеселые, попадают в аварию и оказываются вроде как в раю. Смотрите, какой странный рай рисует нам Кабаков:

Они же все до единого верили в загробную жизнь, по разным описаниям представлявшуюся им разной, но верили! Даже подросток, который чего-то такое слышал про реинкарнацию и повелся на это. Не говоря уж о приезжих правоверных рабочих, старушке Татьяне Ивановне и грешных женщинах, которые, осознавая свои грехи, верили особенно сильно. А спавший на полу пьяный бывший зоотехник Полушкинас вообще когда-то был католиком и тайком ездил из своего совхоза к исповеди, еле нашел храм где-то в районе Кировской...

Но надо учесть, что люди они все были простые, как правильно верить, не знали, поэтому попали все вместе просто туда, куда хотели.

Там Насрулло снова стал работать инспектором в районном отделе народного образования.

Там один Магомет пошел сборщиком на свой завод строительного оборудования, а другой — товароведом в свой магазин «Лаки, краски, хозтовары», и больше они уже не видались никогда.

Там Роберту Месроповичу светит статья за частное предпринимательство, Илья сидит в глухом отказе, а Реваз, Руслан, Аслан, Рамазан и еще один мужчина сидят на корточках у стены городской автобусной станции — просто так, через час придет автобус из областного центра, все уважаемые люди пойдут в хинкальную кушать.

Там Татьяна Ивановна служит сестрой-хозяйкой в профилактории райисполкома, Нина работает старшей пионервожатой, а Лида учится в десятом и гуляет с другом брата.

Там зоотехник Полушкинас рискует строгим партийным выговором, пробираясь от Кировской по переулкам к исповеди.

Там Владимир воюет в десанте, и наколка «Кандагар 86» еще свежа на его плече.

Там без крестов осыпается храм,
утром в сельпо завезли пристипому,
дембелю редко, но пишут из дому —
все еще живы,
хотя уже там...

В сущности, ничего такого особенного, мистического или даже просто фантастического в этом рассказе нет.

Маршрутки, должен я вам сказать, бьются все время.

А страну — ту, большую, которой нет и никогда уже не будет, — очень жалко. Райкомов и даже районо не жалко, а страны не хватает. Это же надо! Все у нас не как у людей, у всех жизнь после смерти еще впереди, а у нас уже прошла.

Другое дело, рай то был или ад, тут мнения расходятся. По этому вопросу у нас нет общественного согласия и примирения, консенсуса нет, товарищи.

Да никогда, скорей всего, и не будет. Поскольку не любим мы друг друга, ни ближнего своего, единокровного, ни дальнего, приезжего — никого.

В общем, господа, все это чрезвычайно огорчительно. И если кто хочет в этом месте прослезиться, то и автор с ним. Где нет ни болезни, ни печали, ни вздоха...

Грустно. Исчез СССР! То ли рай, то ли ад. Какой-то безнадегой отдает — ну а поезди-ка в подмосковных маршрутках, что пришлось делать эстету Кабакову, опрометчиво купившему некогда дом в далеком пригороде.

Конечно, та самая «тусовка», которую он не раз высмеивал, Кабакова не простила. Забежим вперед: даже в некрологах они не уставали упрекать его в измене принципам.

Вот, например, Глеб Шульпяков: «То, что в последние годы он как-то изменился во взглядах, я не знал, да и не поверил бы. Хотя безупречный вкус не панацея, наверное. Но джаз, джаз...»

Татьяна Щербина: «Момент, когда „рамка“ для него изменилась — внезапно он стал писать колонки почти противоположные тому, какие писал до тех пор, произошло это лет десять назад, точнее не скажу, — мне запомнился. Прочитала очередную его колонку — я удивилась, будто автора подменили. Колонка эта оказалась не случайностью, в нем что-то повернулось. Он стал антизападником, антиамериканистом, адептом российской политики, полностью совпав с официальной риторикой. И утверждал, что никогда не был демократом и либералом, а лишь ненавидел коммунистов, которых ныне уже не существует. Номинально, мол, есть такая партия, но дорогие костюмы, которые носят ее лидеры, спасают их от того, чтобы стать „упырями“, как те, советские...»

Напомним: мы привели цитаты из статей, написанных СРАЗУ после смерти Александра Абрамовича. Как-то это мерзковато, господа и дамы!

Ну да что еще и ожидать. А Кабаков ничего другого и не ожидал.

ИДУ НА ГРОЗУ

Надо заметить, что свою позицию, идущую вразрез с упомянутой тусовкой, Кабаков отнюдь не скрывал. Что иной раз оборачивалось прямыми скандалами.

Начать с того, что в 2006 году он написала яркое, даже горячее эссе под говорящим названием «Право на мракобесие». Приведем выразительную цитату.

> Не одобряют церковь и мечеть идею проведения гей-парада — диктатура клерикализма. То есть назвать содомский грех грехом — это нарушение прав человека. Заметьте, не запретить демонстрацию непристойно ряженых, поскольку запретить священники никому и ничего не могут, а лишь высказать мнение о ней... И поносят не отдельных служителей, а целые религиозные институты последними выражениями — это свобода слова. А в результате — вопреки намерениям традиционалистов и в интересах подавляющего любое сопротивление меньшинства — тема делается чрезвычайно популярной, говорят о гей-параде и те, кто «гей» до недавнего времени понимал исключительно как древнеславянский клич. Пиар торжествует вполне в духе известного гомофобского анекдота о «голубом», мечтавшем стать форвардом и промахнуться по воротам в решающем матче чемпионата.

И все в том же духе. Что характерно: Кабаков заявил, что это его эссе «Право на мракобесие» опубликовали в Интернете и бумажных СМИ на Западе, но не в России. Потому что в российских СМИ работают в основном либералы. В итоге оно было опубликовано проправительственным РИА «Новости». Сейчас доступно в сети. Хороший образец боевой публицистики в защиту традиционных ценностей, о которых так много говорят у нас сегодня.

А через год, в 2007-м, на Международной конференции, посвященной памяти Александра Меня, Кабаков открыто и нелицеприятно, что называется, с высокой трибуны обрушился на легализацию пресловутого западного образа жизни (о неприятии которого он не раз говорил, как мы показали). Он повторил, развернув, тезисы своего скандального эссе. И конкретно — досталось находившейся тут же Улицкой, пытавшейся защитить книжки, посвященные сексуальному воспитанию детей в духе сексуальной толерантности...

Было дело так. Кабакова попросили высказать мнение о детских книгах с рассказами о гомосексуальных браках. Образцы были выложены на трибуну. «Ну-ну, Люся...» — произнес Кабаков. И тут микрофон взяла Улицкая и пояснила, что курирует этот проект развития толерантности.

— Книги не призывают мальчиков жениться друг на друге, они призывают не бить других в подворотнях, — заявила писательница, заверив аудиторию, что сама она к сексменьшинствам не принадлежит. — Но раз это явление есть, дети должны о нем знать.

— А садомазохизм тоже есть. О нем тоже дети должны знать? — осведомился Кабаков и заключил: — Не обо всем дети должны узнавать, пока они дети.

Прав? Характерен заголовок «Известий»: «Писатель Кабаков защитил „право на мракобесие“».

По рядам либеральных бойцов прошло рыдание. Такого удара от своих они не ожидали! И Кабаков получил ответ на свое вопиющее поведение. Сначала аккуратный. Вот что писал «Ежедневный журнал»: «Может, уважаемый Александр Абрамович, будем лучше защищать не мракобесие, которого вокруг достаточно, а трезвость ума и бодрость духа, которых нам всем ох как не хватает?» Дальше больше. Боевой интернет-орган секс-меньшинств «Квир» (был, прости Господи, тогда и такой) напомнил, что «в последние годы Александр Кабаков регулярно выступает с публикациями, осуждающими гомосексуальность. Их распространяет РИА „Новости“, при этом в последнее время Кабаков не стесняется подписывать их как сотрудник ИД „КоммерсантЪ“, который принято относить как раз к либеральному крылу, а именно его в эссе „Право на мракобесие“ критикует автор. Напомним, что в 2005 году борьбу гомосексуалов за свои права господин Кабаков назвал „гей-атакой“, перед которой смирился почти весь мир». Ну типа наябедничал «Квир» на Кабакова его коммерсантовскому начальству. Ну и так далее.

Однако это были еще цветочки. Как бы пожурили все еще своего, но по странному капризу отклонившегося в сторону. Однако запомнили, взяли на карандаш, а кое-кто из более дальновидных поспешил от него отстраниться. Настоящий вой поднялся, когда Кабаков опубликовал в четвертом номере журнала «Знамя» за 2014 год эссе «Частное слово». Получил за него премию журнала и на вручении премии сказал речь... Вот тут началось.

Сначала об эссе и речи. В общем, ничего принципиально нового для себя Кабаков там не сказал. Суть в деталях. Обругал геев, точнее, всю «движуху» вокруг них, глобализм, ненависть к Церкви, любовь к разного рода медиа— и идейным, суррогатам, актуальное искусство... Но главное вот что. Сказал о так называемой оппозиции. Не называя даже имен. Ну тут вообще — покусился на еще более святое для либералов, чем даже геи!

> Сто раз говорил, гордясь афоризмом: никто не может примирить меня с властью, кроме ее противников, и никто не может вызвать к ней такого отвращения, как ее сторонники. Нет, все же кратко аргументирую. Вот мне говорят: не суди о Болотной по тем, кто был на помосте, зато толпа была чудесная, мирная и интеллигентная. Ну, согласен. Там, в толпе, были почти все мои друзья. Но они мне так и не объяснили, почему на эстраде их представляли те, кто представлял — воздержусь от перечисления имен и поименных характеристик, не в моих правилах, да их и так все знают. Это совесть нации, ее мозг и прочее? Ленин, конечно, был сволочь и интеллигенцию обидел из своих, бандитских соображений. Конечно, хамство. Но что такая интеллигенция есть национальный мозг... Стыдно, но с этим мне тоже согласиться трудно.

Кто ж не помнит огненный афоризм Ильича про интеллигенцию — г... нации! Уел, уел «светлоликих» Александр Абрамович. Но ведь и власть он, казалось бы, не пощадил (особенно по нынешним временам), вспомнив мандельштамовское «власть от-

вратительна, как руки брадобрея». Мы много раз уже говорили, что связывать себя узами какого бы то ни было лоялизма он не собирался.

Однако «креативным» ниспровергателям власти досталось от него куда больше:

> У меня один риторический вопрос: почему те, кто теперь клеймит нынешнюю власть, предыдущую — в смысле, советскую — не клеймили публично? По возрасту могли бы успеть... Я о бывших тогда комсоргами и ставших теперь совестливыми вольнодумцами здесь не говорю, у меня вопрос к приличным людям. Единственным автором откровенной и прямолинейной, «встольной» и подпадающей под статью антисоветчины был тогда в нашей, теперь поголовно «болотной» компании, извините за нескромность, я. И я их не сужу, что они тогда не перли на баррикады с наружной стороны. Но каким-то не вполне героическим вижу я их теперешний самозабвенный протест. А для меня личные мотивы важней, чем общественные.

Далее автор задает себе самый важный вопрос: а зачем он это вообще пишет? А вот зачем:

> ...чтобы окончательно выяснить отношения. В той компании, в которой прошла жизнь, мне комфортно по-человечески, но уже просто невозможно высказываться на почти любую тему: разошлись. В противоположной — вообще тошнит, да в ней никто и не ждет меня, замаранного давней репутацией либерала и пятым пунктом. Ну, так вот: я объявляю, кто я. Не то чтобы не могу молчать, но больше не хочу. Вот он я. Кто не пожелает после этого знаться — ну, увы. А кто сам такой, только сказать стесняется, — прошу в компанию отщепенцев. В много раз упомянутом выше сообществе это называется coming out — выход из тени.
>
> ...В общем, считайте сказанное просто частным мнением. Впрочем, и вся жизнь — частное дело.

Красиво изложил. И что честно до донышка — сомнений нет. Не напрашиваясь в перебежчики — там, среди условных «патриотов», «тошнит». Ну, зато правда. Своим он «там» не стал. Хотя те, кто смотрит глубже, как раз чужим его не считали — тот же упомянутый выше Захар Прилепин, которого Кабаков поругивал, но который его все равно ценил и любил по-человечески.

Ну а речь-то пресловутая при вручении вообще была общепримиряющей на первый взгляд. Или нет? Судите сами. Приведем этот важный документ — не просто важный для понимания позиции и жизни Кабакова, но важный для понимания времени — полностью:

> All you need is love — это песня The Beatles.
>
> Они часто не совпадали со своими стихами, но стихи были хороши сами по себе. Так бывает с поэтами и стихами.
>
> Увы, наш рок не любит любовь. Русский рок любит борьбу. В борьбе побеждает не всегда сильнейший, но всегда злейший — если такого русского слова нет, это ошибка, оно необходимо.
>
> С того времени, как я написал маленькое эссе «Частное слово» — вернее, издал очередной вопль отчаяния и отвращения, вопреки зароку не вмешиваться в текущую дискуссию — прошел год. Стало ясно, что я радикально ошибался в оценках: дела обстоят не так плохо, как я думал, а гораздо хуже. За год я почувствовал,

что такое быть отщепенцем не при коммунистической власти (это я знал с детства), а среди свободных людей. Люди, утверждающие, что любят свободу больше всего на свете, могут простить себе подобным многое — не слишком щепетильные отношения с деньгами вплоть до воровства, дурные манеры вплоть до хамства, неразборчивость в знакомствах вплоть до рукопожатия с заведомым подонком... Но другого, чем у них, представления о свободе они не прощают никому и никогда.

Те мои заметки были опубликованы, когда гражданская война в соседнем государстве, странная война, в которой стороны связаны торговыми отношениями, а танки заправляются горючим, которое поставляет противник, война, беспощадная к мирным людям и обходящая убийц, только начиналась... И только начиналась оправдываемая ею травля России всем некогда христианским миром... И гуманнейшие интеллектуалы вместе с благороднейшими политиками еще не обсуждали открытым текстом, как бы принести максимальный вред стране, где мы с вами живем и гражданами которой — многие формально, но все же — являемся... И хлопцы с сомнительными эмблемами на рукавах и касках еще не превратили в руины шахтерский край, и тамошние старики еще получали пенсии, а не умирали от голода и холода... Но уже были предчувствия, а с такими предчувствиями в порядочном обществе не место. Рынок все устроит, говорили мне, либерализм универсален, а патриотизм архаичен и постыден для культурного человека.

И до бойни, устроенной в похабном журнальчике обезумевшими дикарями, еще было далеко. Хотя вообще-то ее следовало предвидеть: схватка между бессовестными провокаторами и оголтелыми параноиками не могла обойтись без крови. Миллионное шествие с президентами во главе недвусмысленно продемонстрировало: сочувствие современного общества на стороне того, кто плюет в лицо оппоненту или измывается над изображением его отца. Свобода слова есть свобода оскорблений. Нагадить в алтаре — художественный акт, гонорар за это в виде пощечины — почти терроризм.

За этот год я окончательно утвердился в том, что знал давно: ни с кем и ни о чем нельзя договориться словами. Можно только заставить — силой или любовью. Силой многие — и я в том числе — не хотят, да и не могут. Остается любовь. Причем одной твоей любви мало — нужна взаимная, встречная. Значит, надо научиться ее вызывать. Это хлопотно, мучительно, почти невозможно. Но если бы мы хотя бы пытались! Если бы старались... Вызвать любовь тех, кто не хочет нас любить — в этом чистый прагматический расчет: можно было бы достичь своих целей без единого выстрела. Стекла были бы целы в окнах, мальчишке дошкольных лет не оторвало бы обе ноги, и ажана не увезли бы с обычного дежурства в морг...

Есть целая наука возбуждать любовь. Прямолинейные, как штыковые лопаты, принципиальные, как начинающие инквизиторы, борцы называют ее лицемерием. А это просто готовность любить. Или хотя бы притворяться, что любишь.

Неискренняя любовь лучше искренней ненависти.

Все, что вам нужно, это любовь. Здорово сформулировал тот парень в нелепых круглых очках. А его убили.

Проблема не в том, что мы не умеем любить, а в том, что не хотим учиться. Гранатомет устроен проще любви.

Не речь, а стихи. Ни убавить, ни прибавить. Абстрактный, понимаете ли, гуманизм, столь ненавидимый большевиками. Ну с чем тут вроде бы спорить? А вот с чем: с тем, что нельзя делить людей на «наших» и «не наших» по признаку прогрессизма, соответствия модным идеям. Как так? Нельзя искать и видеть врагов в инакомыслящих? Всех любить?! И простолюдинов, и «совков». Да, отвечает Кабаков. Нет — возражают ему.

Думаем, задело либеральную тусовку и то, что премию вручал глава Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. И речь его тоже задела «продвинутых».

Александр Абрамович Кабаков — выдающийся русский писатель. Прекрасно пишущий на русском языке. Уже этим он заслужил любые премии за воспитание патриотизма. Русский язык и литература — самое важное, чем мы с Вами можем гордиться.

Предлагая вручить Александру Абрамовичу премию за патриотизм, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что он показал еще одну замечательную сторону русского национального характера, которым мы, русские, тоже можем гордиться — залихватскую гусарскую храбрость.

В тексте эссе он бросил вызов мнениям, доминирующим в его социальном кругу. Что вызовет, а он это знал, повсеместно шипение. Лавров властвующего думами на этом поприще не сыщешь. Власть предержащие его точно не отметят.

Поэтому эта премия для сохранения русского языка. И отважного и немного безрассудного русского характера. За сохранение одной из великих русских ценностей — стремления к правде. Это эссе — не «частное слово», а честное слово Кабакова.

«Бросил вызов мнениям»... Ну как в воду глядел. Кабакова обвинили в том и этом, и даже, ни много ни мало, в фашизме!

Еще раз вспомним ахматовское: «Я была тогда с моим народом...»

В одну секунду Кабаков попал в разряд нерукопожатных.

Думаю, он все же не ожидал такого единодушия от таких просветленных «свободномыслящих».

И поэтому через год сказал в интервью, не без горечи — хоть и гордясь, как обычно, произведенным эффектом: «После моей речи в „Знамени“ при вручении премии Сергей Караганов написал про меня, что я не просто смелый человек, а по-гусарски смелый! А всего-то я сказал, что на Украине идет гражданская война, в которую всегда вмешиваются все кому не лень. Уж тем более соседи. Представляешь, если бы одни мексиканские штаты пошли войной на другие, а американцы сидели бы и смотрели. А?.. Мракобес я, да. И русский империалист...»

КОММЕНТИРУЕТ ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

«Мракобес и империалист». Таким его и запомним?

Нет, все-таки запомним как одного из самых оригинальных прозаиков перестройки и постперестройки. Постшестидесятника, который опоздал к «оттепельному» разбору, как и многие литераторы его поколения. Но не использовал данный ему Богом талант, чтобы податься в диссиденты или построить советскую карьеру. И это решение само по себе было мудрым. Потому что советская власть вскоре кончилась, а жизнь продолжалась, продолжилась, продолжается и будет продолжаться вечно при любой власти.

В странное, ИСЧЕРПАННОЕ время мы живем. Ведь Россия за полтора последних века исчерпала практически все: царя, недоделанный капитализм, Ленина, Троцкого, Сталина и других коммунистических оглоедов, Горбачева с его «больше социализма», снова недоделанный капитализм, ваучерную «прихватизацию» и так далее.

Поневоле вспомнишь неплохие стихи Евтушенко:

Коммунизм потерял почти все
и так надоел всем на свете.
Капитализм захватил почти все
и тоже всем надоел...
Дети, придумайте что-нибудь третье,

чтобы мир, заскучав,
окончательно не одурел.

Вот каждый себе и придумывает, пока это можно, и за это уже не сажают.

Вот и развелось огромное количество случайных: философов, поэтов, художников, вроде модернистов с Арбата, вдохновленных работами знаменитого Эрика Булатова и однофамильца нашего героя Ильи Кабакова, действительно создавших в искусстве что-то новое. И резонно ставших самыми дорогими из современных русских художников, стоимость работ которых исчисляется цифрами с огромным количеством нулей. «Зачем так париться и три года работать, как Эрик Булатов, над картиной „СЛАВА КПСС“ (море, огненный лозунг на небесах)? Не проще ли купить холст, подрамник, немного дешевой краски. Накорябать на холсте „ДОЛОЙ КОММУНЯК“ и втюхать все это заезжему иностранцу за червонец зеленых американских денег. Пока за это уже не сажают».

Судите сами, каков был тогда рейтинг Кабакова, если журнал «Форбс», читательская аудитория которого составляет около 6,3 млн человек по всему миру, берет у него интервью, а наш писатель не стесняется заявить «прогрессивной общественности», что он ретроград, мракобес и консерватор. Может, это и называется «момент истины», когда человек уверился, что русские — это не американцы, англичане, индусы или китайцы? Русские — это цивилизация, которую другая цивилизация пытается вытолкнуть из времени и пространства. Как в 1812 году во время нашествия «двунадесяти языков» во главе с Наполеоном, Русско-турецких войн, Крымской войны XIX века, где участвововали Великобритания, Франция, Османская империя, Сардинское королевство и др. Все повторяется. Россия — лакомый кусок, который необходимо схватить для собственного спокойствия и самоутверждения. Да все как-то не получается. Я, Евгений Попов, не политик, не историк, не пропагандист. Я просто люблю свою страну и пытаюсь рассуждать здраво, как это делали Аксенов, Астафьев, Искандер, Шукшин и мой товарищ Кабаков, который и сейчас в моем сердце.

Действительно умный, действительно осторожный, честный писатель, каких сейчас нет. Все что-то тащат в свою идеологическую нору или важно пытаются «пасти народы», над чем смеялись еще Ахматова с Гумилевым. Не надо нас пасти. Мы сами пастыри.

Кабакову не нравятся гримасы и ужимки «новой цивилизации», посягающие на саму сущность человека, но он прекрасно понимает, что время плясать вокруг костра прошло давным-давно. Не позволяйте Интернету наглеть и управлять миром. Тень, знай свое место! Графоман не должен иметь титул писателя! Писатель — от Бога, графоман — от дьявола. Откровенно говоря, Кабаков не типичен. Выдающийся писатель, советский например, обычно начинает блистательно, а заканчивает плохо. Или спивается, или становится бесплодным секретарем Союза писателей СССР, каждый год выдающим производственные романы толщиной в кирпич. У Кабакова все наоборот. Начинал он если и не плохо, то плоховато, зато потом развернулся во всю свою мощь и к концу жизни стал куда значительнее, чем автор легендарного «Невозвращенца». Оказывается, в литературе и так бывает.

К концу жизни... Он почти уже не мог ходить, с трудом поднимался в свой кабинет и, как бывший инженер, задумал и осуществил «перестройку» собственного дома. А именно — оборудовал свой кабинет теперь уже на первом этаже, чтобы не связываться с лестницей, собак и кошек раздал народу, но это ему не помогло. Тремор усиливался, и домашние решили, что ему лучше жить в хорошей, однако не очень до-

рогой богадельне, где он будет лежать, сколько ему влезет, и за ним будут ухаживать. Например, менять памперсы, в чем он уже начал нуждаться в силу все прогрессирующего паркинсонизма.

Задумано — сделано. Я еженедельно навещал его в каком-то далеком подмосковном поселке, на какой-то новорусской вилле с «европейским ремонтом», которую ее сметливые хозяева приспособили под экономически выгодную им богадельню. Все было хорошо за исключением того, что в соседней с кабаковской комнате постоянно завывала какая-то полоумная старуха. Кабаков и сам слегка «поехал». Однажды он вдруг заявил мне:

— Вчера на твоем месте сидел огромный черный кот.

— Ты никак «Мастера и Маргариты» на ночь начитался? — задал я ему разумный вопрос.

Ничего не ответил мне мой друг, и на следующий день его судьба изменилась к лучшему.

Ему отплатили добром за добро. Приблизившиеся к власти его бывшие ученики, которых он вывел в люди, а также властные светлые личности из числа поклонников его писательского и жизненного талантов сумели перевести его в богадельню московскую, чистенькую и номенклатурную, где он и пролежал почти до самого своего конца, нелепо случившегося в апреле 2020 года, когда во всем мире и в Москве бушевал ковид. Семьдесят семь лет ему не успело исполниться.

Александр СЕКАЦКИЙ

СВОБОДА ПОД ПОКРЫВАЛОМ

Господствующий дискурс о свободе разделяется на два равномощных потока. Первый из них, экзистенциально-политический, рассматривает свободу в ракурсе ее дефицита как нечто такое, чего всегда не хватает и за что следует непрерывно бороться. Параллельно идет второй поток, который предлагает научно-реалистический ракурс, и там свобода, прежде всего как свобода воли, неустанно разоблачается в качестве иллюзии, после чего ее робкие (на территории науки) защитники пытаются отыскать для нее хоть какое-нибудь прибежище.

В связи с этим особого внимания заслуживает неожиданная мысль, высказанная Лейбницем в небольшой работе «Новая система природы», мысль, которая, собственно, и послужила побудительным мотивом для написания данного текста:

«Вместо того чтобы говорить, что мы свободны только по видимости и настолько, насколько это достаточно для практики (как это думали многие очень умные люди), должно сказать скорее, что мы только по видимости действуем принужденно, а по всей строгости метафизических выражений находимся в полнейшей независимости от всех других творений»[1].

Этот неожиданный поворот — в прямо противоположную сторону от того, «как думали многие очень умные люди», — поначалу кажется просто парадоксом ради парадокса, которые вошли в моду уже в эпоху постмодерна (Бодрийяр, в частности, выступил тут истинным мастером), но если задержаться и задуматься, то много интересного вытекает из этого как бы вскользь брошенного замечания Лейбница. Если мы откажемся изобличать «мнимосвободные» акты, которые в действительности, «при более тщательном рассмотрении» окажутся строго детерминированными, а вместо этого начнем отслеживать детерминацию, проводимую контрабандно и задним числом — каузальность, приписываемую исходно случайным актам, то как раз тогда перед нами предстанет истинная картина дел человеческих, с ее гиперосмысленностью, прагматичностью, детерминизмом, которые в значительной мере являются маскировкой случайных, произвольных последовательностей. И даже повседневной свободы в достаточно широком диапазоне, которая почему-то боится или не хочет предстать таковой.

Александр Куприянович Секацкий — философ, писатель. Родился в 1958 году в Минске. Окончил философский факультет ЛГУ. Кандидат философских наук. Доцент кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ. Автор многих статей и книг, в том числе «Щит философа» (СПб., 2016), «Философия возможных миров» (СПб., 2017). Лауреат премии Андрея Белого (2008) и Гоголевской премии (2009). Живет в Санкт-Петербурге.

[1] Лейбниц Г.-В. Соч. в 4 т. Т. 1. М., 1982. С. 279.

Попробуем принять такую точку зрения, чтобы убедиться, оправданна ли она. Итак, мы больше не считаем, что наши свободные акты при ближайшем рассмотрении окажутся прагматически детерминированными и однозначно встроенными в то или иное действие. Дело обстоит если не с точностью до наоборот,, то, по крайней мере, далеко не так. Что это значит? Ну, например, вот что. Пираты, кондотьеры, солдаты удачи и разного рода «землепроходцы» иной раз готовы *честно признать*, что их в основном интересуют деньги. Они скажут: ну, надо же как-то зарабатывать на жизнь — то есть не станут прикрываться романтикой и мы не услышим от них ни единого намека на трансцендентное... Прежде мы готовы были в таких случаях сказать: что ж, по крайней мере, они честны перед собой и перед нами. Но теперь именно в этом мы им не поверим: а что если этот пират, *честно признающийся*, что больше всего на свете его интересуют пиастры, невольно пытается одурачить и нас, и самого себя? На самом деле он забывает кое-что более важное: соленые морские брызги, норд-норд-вест, несущий в этих широтах угрозу, внезапные крики чаек, свидетельствующие о том, что берег близок, и приключения, особенно те, когда к доле умения присоединяется доля удачи. В этом скрываемом диапазоне субъект был *свободен*, но чтобы избежать расспросов и уточнений, он готов признать, что его влекла нажива.

Или вот торговец на каком-нибудь восточном базаре. Он вынужден часами сидеть там день за днем, чтобы свести концы с концами. Он, конечно, хочет повыгоднее и побыстрее продать свой товар — кто бы сомневался? Мы. Это мы теперь начинаем сомневаться. А что если ему просто хочется поговорить с покупателями, перекинуться словечком-другим? Он любит эти незатейливые разговоры ни о чем, любит торговлю как процесс даже безотносительно к полученной выгоде. Где еще он найдет столько человеческого общения как не в этих торговых рядах? Но как можно в этом признаться? Вот и приходится каждый день тащить с собой корзины с товаром и ссылаться на суровую необходимость, которой подчинена его повседневность...

Таковы лишь два примера, по-своему подтверждающие справедливость предположения Лейбница, что «мы только по видимости действуем принужденно», а на самом деле достаточно свободны — и в своем ближайшем поступке, и в своем следовании далекому зову, идущему из Трансцендентного.

* * *

Мы еще увидим, что подобных площадок замаскированной свободы гораздо больше, чем могло бы показаться. Вот наука: она привыкла отыскивать и регистрировать закономерности: уже исходя из одного этого, *свобода воли* так или иначе представляет собой вызов дисциплинарной науке, даже если ученый как частное лицо остается приверженцем свободной воли. Тогда перед нами всего лишь самый распространенный разрыв в так называемом научном мировоззрении: во всем остальном следует думать и поступать так, как предписывает Наука, но свободу воли все-таки жалко. В крайнем случае пусть *вера* в свободу воли, по крайней мере моей собственной воли, останется маленькой постыдной тайной.

Как бы там ни было, вопреки частным мнениям ученых вердикт науки в этом отношении однозначен: все, что мы называем свободным, мы с таким же успехом можем назвать неведомым или еще не объясненным — и саму свободу воли в первую очередь. Что же касается *объясненного* наукой, оно выглядит понятным, хотя, быть может, и не сразу: некоторые объяснения могут показаться натянутыми. Особенно это касается объяснений вчерашнего дня, которые сегодняшняя наука отвергла. Но теперь мы

можем спросить, следуя интуиции Лейбница: а нет ли в них, во всех научных объяснениях вообще, перебора закономерностей как своеобразного родового проклятия, возложенного на науку? Предначертанный удел науки в том, чтобы преувеличивать степень детерминизма, сгущать краски, и каждое научное объяснение есть сгущение красок закономерного — но по-разному и в разной степени. Поразительно, но житейское знание, которое обвиняют в неправомерных обобщениях («все женщины таковы»), в основе своей всегда допускает *и так, и эдак*, возьмем ли мы знание рыбака, грибника, охотника, мы всюду обнаружим, что за «феноменами» резервируется куда большая степень свободы, чем это принято в науке, и вряд ли это потому, что житейский здравый смысл менее наблюдателен. В сфере своей ответственности это вполне адекватное знание, позволяющее отлично ориентироваться в мире.

Почему же тогда феномены науки подчиняются более строгой закономерности? Все дело в том, что наука выделяет идеальный объект, представляющий собой как бы схему, «скелет» реальных объектов, и во многих случаях то, что справедливо для скелета, окажется справедливым и для каждого из эмпирических объектов, обтянутых кожей случайности, ситуативности и амортизации. Во многих, но не во всех. Поэтому для перехода от идеальных объектов к объектам, окруженным облаком шансов, стохастическим разбросом, то есть именно кожей случайности, существуют различные таблицы поправок, собственный сопромат для каждой отдельной области. Наука склонна игнорировать ту неподчиненность, которую проявляют полностью воплощенные индивиды по отношению к научным идеализациям.

За непокорность того или иного конкретного индивида наука не отвечает, сам способ ее зрения таков, что она и не видит в свои приборы наглых бунтовщиков. Чтобы объект стал *научным*, он должен пройти несколько процедур очищения, которые в этом качестве как раз не рассматриваются. В теоретическом отношении это абстракция, то есть обособление феномена от всего налипшего к нему, можно сказать, от любой обремененности существованием. В практическом смысле это *подготовка препарата*, в сущности, та же абстракция, но «рукотворная». Сюда же относится усреднение результатов, устранение того, что можно назвать сбоем измерений. Таким образом, предмет должен быть подготовлен к включению в научную картину мира, его очищают и обряжают, как обряжают покойника, и сгущение закономерностей оказывается несомненным результатом таких процедур.

В собственном дискурсе науки очистительные процедуры рассматриваются так же, как и избавление от предрассудков, причем результат избавления примерно один и тот же: там, где допускали свободу и некую «собственную волю» воплощенных феноменов, там теперь видны четкие причинно-следственные связи. Другое дело, что субъекты, точнее, актанты этих связей, не совсем те, которые присутствовали в живой жизни, в полной воплощенности, одетые в облако шансов и собственных версий. Теперь они препарированы, неприкрыты и голы, и картина мира будет тем научнее, чем больше в ней представлены именно такие феномены. Очистительные процедуры являются частью науки, но все же некой стыдливой частью, которую не принято лишний раз поминать. Обычно просто говорят: наука наконец выявила закономерность там, где прежде все казалось хаотичным, исполненным предрассудков и т. д.

Таким образом, конвенциональная природа научных феноменов стала простой условностью, по умолчанию принимаемой как нечто естественное. Из такого положения вещей вытекает множество следствий. Прежде всего это высвобождение различаемых регистрируемых наукой «скелетных форм» прямо в реальность. Далее — зачистка избыточной воплощенности, равносильная торжеству чистой функциональности.

Трактовка избыточности собственных версий в качестве неисправности и так далее. И все же. Коллапс волновой функции, который постигает все объекты макромира, благодаря науке оказывается «несколько преувеличенным» и уж тем более таковым воспринимается. И в итоге очевидной становится правота Лейбница: атакуя повсюду «мнимую свободу воли», которую наука призвана развенчать и свести к строгому детерминизму — что, собственно, и означает *объяснить*, разум в итоге эту саму свободу маскирует и выражает ей недоверие повсюду, где это только возможно.

* * *

В отношении явлений или феноменов, составляющих в совокупности опыт, все понятно. Все явления сведены в континуум, а значит, зачищены и отфильтрованы. Они по определению соединены в последовательность или в единую цепь, связывающую ошейники детерминизма, наброшенные на каждый объект в форме явления (в кантовском смысле). Континуум пополняется благодаря применению той способности суждения, которая позволяет зачислить в состав явлений надлежащий фрагмент реальности — или отвергнуть его как нечто невразумительное. Способность суждения ответственная за рубрикацию мира.

И завербованные, принятые таким образом в состав явлений феномены беспрекословно подчиняются принципам детерминизма, ученым остается лишь подобрать для них подходящий ранг субординации. Связанная, замаскированная свобода остается как бы внутри тюрьмы без права выхода (хочется сказать «выхода на свободу»), и это прежде всего означает, что она лишена права на самопредъявление и вытеснена в качестве погрешности, предрассудка, «фолк-психологии» (Харман) или просто в качестве «ненаучности»..

В каком-то смысле в этих заключенных ноуменах можно опознать и кантовские вещи в себе. Традиционно считалось, что статус «в себе» означает недоступность познанию — и только. Мы теперь можем подтвердить данную характеристику, добавив при этом, что *не только*. «В себе» указывает еще и на тюремное заключение, на ограничение и даже на лишение свободы, на то, что вещи в себе, будучи неведомыми безымянными сущностями, должны являться по распоряжению хозяина (познающего или трансцендентального субъекта) только в тюремных робах явлений. Что ж, скажем так: 400 лет со времен Галилея ноумены томились в заключении, а потом пришел Бруно Латур и дал им свободу. Он признал их актантами и акторами и указал на активное присутствие и сотрудничество в делах человеческих. У каждого из заключенных есть люфт, некая собственная площадка в зоне неразличимости для трансцендентального субъекта, так что если этому субъекту прибавить зоркости... в общем, оптика АСТ для этого и была разработана — мы еще обратимся к этому революционному событию познания.

* * *

Ограничение свободы ноуменов в целом прошло успешно, если угодно, это можно назвать и триумфом науки. Вещи подчинились, их свобода была признана лишь кажущейся и всецело совпадающей с «остаточной непознанностью». Вещи, до тех пор, пока они были «не онаучены», обладали слишком большим количеством измерений: тут и *мана*, и причастность воле богов, и зачаточная самостоятельная витальность, а в целом — слишком большой объем воплощенности, чрезмерно густое облако шан-

сов-протуберанцев... Впору было воскликнуть: слишком широк разгул свободных стихий, не худо бы и обузить...

Что ж, задача была успешно решена: обузили, обуздали, онаучили, переформатировали в объекты, подлежащие исследованию, в «препараты», и включили в реестр явлений. Но ведь оставался еще человек, субъект своей собственной непокорной воли. Требования науки к *этой* вещи в себе были ровно теми же, и сформулировал их со всей точностью и язвительностью Достоевский в «Записках из подполья»: слишком широк человек, не худо бы и обузить... Наука, понятное дело, взялась за выполнение и этой задачи, и взялась со всей серьезностью. Начиная с эпохи Просвещения, с французского материализма XVIII века трехсотлетние систематические усилия были направлены на то, чтобы выявить всю машинерию человеческого в человеке от клеточной физиологии до экзистенциального измерения, в котором осуществляется выбор самого себя. Этот выбор в конечном итоге был признан свободным, однако только в том случае, если он *правильный*. То есть если избраны прогрессивные ценности — свои в эпоху Огюста Конта и Клода Бернара, которую застал Достоевский, и свои собственные в эпоху неолиберализма, главное — чтобы они всякий раз были прогрессивными. Ради такого случая и именно для этого случая можно было даже признать свободу воли. Главной мишенью, впрочем, стала свобода в повседневной жизни, в картине будней, там, где я могу сделать то или это, могу выпить третью чашку кофе или отправиться на выставку почтовых марок, целый день лениться, терзать себя сомнениями, сгруппироваться в единстве воли, последовать зову либидо или отклонить этот зов... Вот здесь, в этой сфере, наука не жалела усилий и изощренности, чтобы продемонстрировать, что все эти действия лишь кажутся свободными, на самом же деле каждое из них задействует определенный причинный механизм и, следовательно (тут головокружительный прыжок), подчинено собственной необходимости. Именно эту необходимость и следует привлечь в качестве убедительного объяснения, какой бы она ни была в каждом конкретном случае. Пусть эта детерминированность состоит из сплошных клочков и обрывков, все равно в совокупности они будут составлять ту самую рациональность, которая противостоит кажущейся свободе...

Так осуществлялся и по сей день так выглядит подбор приемлемых объяснений. Если ты решил позавтракать, так это потому, что выделились пищеварительные соки и/или медиаторы клеточного метаболизма сигнализируют о необходимости восполнить запасы калорий. Воспылал страстью к женщине? Объяснение ищи в каталаминах, эндорфинах и тестостероне. Почесываешь в затылке, размышляя, как лучше поступить? Что ж, твоей рукой управляет поперечно-полосатая мускулатура, а ею — иннервация, эффекторные сигналы центральной нервной системы. Ты не смог бы даже рукой пошевелить. если бы не эти вполне пригодные для научного объяснения импульсы. Какая уж тут свобода — одна видимость.

Забавный ход рассуждений. Он не кажется абсурдным лишь потому, что все вокруг и мы сами основательно онаучены. Ну ладно, допустим, наш персонаж перестал чесать в затылке, потому что иннервация поперечно-полосатых мышц прекратилась. После этого он решил съездить в баню, сел в свою машину и приехал. Встретил там знакомого бихевиориста и рассказал ему, что задействовал свободу воли и принял решение посетить баньку. Тому пришлось терпеливо разъяснять нашему бедолаге, что свобода воли здесь совершенно ни при чем, напротив, необходимые каузальные звенья четко просматриваются: «...потом твой автомобиль повернул направо. Что ж, это произошло потому, что у него имеется рулевая тяга и трансмиссия» — и так были разобраны по пунктам все сочленения данного действия, приведшие к посеще-

нию бани. Для свободы воли места действительно не осталось. Но конечно, и у нашего героя недостало терпения, чтобы выслушать объяснения всей цепочки до конца.

Таким образом, бихевиоризм преуспел в изобличении видимости свободы, так что теперь ясно, отчего и почему мы прогуливаемся, поворачиваем, поднимаем руку, чешем в затылке — это оттого, что мы располагаем всеми соответствующими физиологическими механизмами. Впрочем, лучший образец подобного научного объяснения был дан еще 200 лет назад не кем иным, как Александром Сергеевичем Пушкиным в эпиграмме на князя Дундукова, назначенного куратором тогдашней Академии наук:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь.
Отчего же заседает? —
Оттого, что жопа есть.

Как точно определена поэтом действующая причина заседания — а вы говорите о какой-то свободе воли... Конечно, эпиграмма Пушкина решает эту проблему лишь попутно, в ней содержится и намек иного рода на причину неподобающего возвышения г-на Дундукова, но и без этих «тонкостей» перед нами стандартное бихевиористское объяснение.

Впрочем, продвинутый бихевиорист и борец с видимостью свободы, пожалуй, скажет, что одного только наличия органа недостаточно для каузального объяснения и необходимо еще указать функцию и механизм ее задействования — вот тогда наша мнимая свобода воли будет развенчана, а исчерпывающая причина действия указана.

Особенно популярен сегодня пример с поднятием руки. Кто принимает это решение? Может быть, Я, свободный субъект, суверен собственной свободной воли, как говорит Ницше? Ничуть не бывало, решение принимает мозг: тщательные эксперименты доказали, что прежде чем я приму якобы свободное, непредопределенное решение, поднять ли мне руку или оставить ее в покое, в моем мозгу уже активируется соответствующая зона: *сам Я* лишь исполняю команду, содержащуюся в этом импульсе, ну и озвучиваю действие как результат «собственного» решения: «Захотелось, понимаешь ли, поднять руку» — чем ввожу в заблуждение и себя, и окружающих. Ну ничего, современная наука им объяснит, почему поднимают руки, прогуливаются по парку и заседают в академиях...

* * *

Таковы возражения против свободы воли в сфере повседневности, в области, так сказать, «мелкой моторики». Ну а если укрупнить масштаб, так, чтобы в фокусе оказалась сфера ответственности за человеческое в человеке? Как обстоит дело с экономическими решениями, с пространством политического, с экзистенциальным измерением, с миром поступков?

Казалось бы, проще всего с экономикой, уж здесь-то рациональные, прагматические мотивы вообще не должны вызывать сомнения. Однако, если правду сказать, вызывают. Потому что, если хорошенько присмотреться, непременно углядишь хвостик события, никак не согласующегося, например, с выгодой.

Вот, например, реклама: что может быть яснее и прагматичнее желания сбыть товар? Однако, присмотревшись, мы вскоре заметим кое-что странное, явно не вписывающееся в логику чистогана. Например, желание производителя товара увековечить свое имя: желание, отнюдь не сулящее непосредственной выгоды, а то и идущее с нею вразрез. Кроме того, реклама, как уже не раз отмечалось, решает задачу укрепления корпоративной солидарности (мы из Microsoft, и мы лучшие!), ну а художник в качестве создателя рекламы так и норовит решить свою творческую задачу, далеко выходящую за рамки чистой выгоды. Или опять возьмем навскидку какой-нибудь базарчик, наведем на него фокус в обширном континууме пространства-времени, — пусть это будет базар в Багдаде X века. Мы слышим, как на все лады каждый торговец расхваливает свой товар. Они заговаривают с каждым покупателем, с любым, проходящим мимо. Потенциальные покупатели охотно откликаются, но, как правило, так и остаются потенциальными. Зато вполне удовлетворяется жажда разговора, и в какой-то момент мы снова спрашиваем себя: а не было ли этого мотива в числе изначальных? Просто по каким-то причинам он скрывался и скрывается под покрывалом меркантильности... Что же, такова свобода под покрывалом...

Но если уж важнейшие процессуальности сберегающей экономики оказываются «не совсем» подчиненными законодательству Маммоны, то тем более это касается общественной жизни в более широком, интегральном охвате. Там покрывало, под которым прячется свобода, имеет множество прорех, прямо-таки зияющих разрывов. Эти прорехи проходят и сквозь рациональность, и сквозь дежурную имитацию свободы, сшиваемую всегда из модных на данный момент прогрессивных идей.

Сколько их уже сменилось со времен европейского Просвещения да и русского нигилизма! Но та самая изначальная свобода, видимость которой так не нравится научно-прогрессистскому разуму, что он изо всех сил стремится погрузить ее в невидимость, это свобода, конечно, не имеет прямого отношения к господству идей, выражаемых Желябовым, Софьей Перовской или Гретой Тунберг. Суть этой избыточной, а на самом деле тщательно избываемой свободы лучше всего выразил Достоевский во всем своем творчестве, и прежде всего в «Записках из подполья». Речь идет о неискоренимом сопротивлении стремлению обуздать и обузить *слишком широкое* сознание.

Допустим, что этот мотив не самый явный, тем более учитывая невероятные усилия, прилагаемые для того, чтобы его затушевать. Очень может быть, что в сфере слишком человеческого преобладает мотив наезженной колеи — он же *мотив домашних тапочек*. Его перебивают и на какое-то время даже напрочь отключают «основные инстинкты», например позывные либидо. Однако если иметь в виду постоянно действующую стихию — и при этом постоянно противодействующую как силам инерции, так и тотальности любой идеи, то это как раз свобода в форме универсального негативизма — та самая, которую неустанно исследовал и воспевал Достоевский. Она импульсивна и многообразна в своих проявлениях. Она явлена, а порой и заявлена как бытие-вопреки: вы, значит, все решили, как будет относительно меня целесообразно, как взаимно полезен разумный эгоизм, как построить общество, где выгода каждого будет соблюдена. Все решили, как лучше — только меня не спросили. Так вот же: не будет на то моей воли! Не буду я шагать с вами в ногу и подпевать в такт! Я поступлю и буду поступать вопреки и вашей выгоде, и даже своей собственной выгоде. Ведь я, в конце концов, человек, то есть свободный человек, что одно и то же. Этот универсальный, беспричинный или, скорее, допричинный негативизм и является самой глубинной манифестацией свободы. Здесь можно опознать ту же по своей интенсивности пульсацию, что встречается в квантовом мире — и вот теперь она в экзистенциальном

измерении, где посредством этих челночных движений сшивается субстанция человеческого в человеке. В мире среднего, то есть как раз в том диапазоне, что традиционно именовался фюзис или natura, эта пульсация укрощена (так называемая редукция волновой функции) или погребена под завалами отработанного времени.

Сюда мы еще вернемся, пока же достаточно заметить, что эта вырывающаяся из-под покрывала или прорывающая его свобода, бесспорно, доставляет немало трудностей. Это она заставляет открыть заветную, запретную дверцу и обречь себя на смертельный риск или на верную смерть. Она проявляет себя и проявляется как каприз прекрасной женщины, способный разом обрушить сотни спокойствий вокруг. Негативизм в отношении всякой рациональности, точнее, всякой слишком настойчивой рациональности может проявляться как момент абсолютного произвола, как «дурь» и как *выверт,* если использовать прекрасный термин Достоевского.

Нередко такая пульсация квантовых глубин принимает форму автотравматизма и самоосквернения, так что приходится не просто локализовывать ее по ту сторону добра и зла, но порой даже рассматривать как неистребимую прививку зла в любой благой воле.

Нетрудно представить себе, сколько праведников с недоумением обращались к Богу по этому поводу: почему же так, Господи?! И что он мог ответить? Разве что развести руками и сказать: другой свободы у меня для вас нет...

И теология тут так и не нашла подходящего решения, предпочитая почем зря тревожить врага рода человеческого. Но здесь воистину приходится прибегать к настоящему диалектическому аттракциону, ибо ведь и вправду было бы нелепо прославлять выверт как таковой. Или, например, культивировать самодурство или хотя бы поощрять его. Но одновременно приходится четко заявить: если выверт невозможен вообще, если он принципиально исключен в качестве сокровенной манифестации человеческого в человеке — то тогда не уцелеет никакая свобода, просто исчезнет стихия, заслуживающая этого имени. А значит, не уцелеет и человек. В непонимании этого «обстоятельства» едины и слишком богобоязненная, бескрылая теология и дешевая моралистика, которые непрерывно и в унисон поют одну и ту же фальшивую песенку о том, что «настоящая, истинная свобода неразрывно связана с ответственностью», с гуманизмом, с добротой, с сочувствием, с... с чем еще? Ах, да — с инклюзивностью. Словом, если обобщить, то она, эта «истинная свобода», всегда будет совпадать с господствующей на данный момент моральной установкой. Будет простым дополнительным бонусом для всего передового или таковым признанного. Все иные проявления свободы, на чем бы ни настаивали *проявляющие их* (то есть просто люди), будут рассматриваться как «ненастоящая свобода» — ведь настоящей провозглашается лишь та, которая связана по рукам и ногам, — а например, как остаточная дикость. Лучшие мыслители Европы тем не менее предостерегали от плоского понимания свободы — Гегель, Ницше и Хайдеггер были в их числе.

Вспомним лейтмотив гегелевской идеи подлинности, согласно которой свободный дух и разум не должны бояться потерять себя в абсолютной разорванности — в противном случае мы неизбежно будем иметь дело с агентом, подчиненным чужой воле. Или как резюмирует известный светский последователь Гегеля Евгений Линьков:

«Свобода состоит не в том, что я завишу от чего-то и знаю об этой зависимости, свобода в том, чтобы быть у самого себя в буквальном смысле слова! Но если уж человек не может быть исключительно у себя самого, а с необходимостью должен быть еще и в чем-то ином по способу наличного бытия своей жизни, в таком случае, будучи в ином, должен быть у себя самого»[2].

[2] Линьков Е. С. Лекции разных лет. Т. 1. СПб., 2012. С. 129.

Отсюда, среди прочего, следует, что свобода есть то, что нелегко *вынести*: нелегко и тому, кто сам свободен, и тем, кто имеет дело со свободным. И как раз по этому усилию или даже риску, необходимому для ее «перенесения», свобода и может быть опознана. На этот же аспект не устает обращать внимание и Ницше, говоря о великом умении и великом достоинстве «пить из неразбавленной чаши» — которая будет для кого-то всплеском максимальной жизненной силы, а кто-то другой, быть может, захлебнется этой чашей. Тот же Ницше и *сильное государство* определяет как способное выносить противодействие своих врагов и не замечать их. А значит, быть готовым к той непредсказуемости и опасности, которую несет в себе свобода, поскольку — и это напрямую пересекается с любимой строчкой Хайдеггера из Гёльдерлина (das Rettende auch): вместе с опасностью приходит также и спасительное. Хайдеггер бестрепетно усматривает свободу в брошенности и в неустранимой конечности человеческого существа, что вроде бы (но только на первый взгляд) идет вразрез с Гегелем и вообще вызывает вопрос «как же так?». Пройдемся по этому важному пункту еще раз.

* * *

Итак, негативизм Достоевского, тот самый выверт, в котором свобода манифестирует себя как первое проявление и как последнее сопротивление обузданию, выступающему под псевдонимом упорядочивания, это тот вывод или, если угодно, аргумент, который не должен игнорировать ни один мыслитель, размышляющий о свободе.

И гегелевская абсолютная разорванность, которая обнаруживается даже тогда, когда единство самости и субстанции вступает в свои права. И этот яд в чаше причастия Заратустры, в истинном эликсире жизни, где передозировка может привести к смерти, и сверхчеловек как раз и есть тот, кто способен выдержать передозировку неразбавленной свободы. А полное обезвреживание, тотальная фильтрация напитка причастия, приводит к превращению его в сладкую патоку, в долгосрочное упокоительное, которое действует вплоть до наступления отложенной смерти. И заметим, что эта проблема выдержки и превышения дозировки, которая так же, как и проблема абсолютной разорванности, аутентична и для проявления, и для понимания свободы во всех возможных мирах.

И это бытие в опасности и в заброшенности, которое Хайдеггер называет единственно подлинным. Оно, это бытие, несомненно, кое-что обещает. Сохранение своих подлинных или, как говорит Мартин Хайдеггер, «наисобственнейших» возможностей, мудрость лесных тропинок, но оно, бытие в свободе, бытие-заново, ничего не гарантирует.

Сюда же мы добавляем и диалектику отложенного соблазна. В случае «тотального успеха», если удается избавиться от всех непредсказуемых порывов, включая порывы духа, мы приближаемся к тепловой смерти, а в случае неуспеха тот же отложенный соблазн, достигая критической массы, превращается в бомбу времени (В. Гигерич), взрывается и сметает все постройки логоса, возведенные во имя покоя и безопасности. Быть может, поэтому здесь уместен иммунологический подход — стоит, например, рассмотреть идею прививки, микродозы соблазна как по отношению к индивиду, так и по отношению к обществу.

И именно в этом смысле глубокую обеспокоенность и мрачные предчувствия вызывает та беспрецедентная за несколько столетий цензура, которая свирепствует сейчас и в академической среде Запада, и в ведущих СМИ США и Европы. Пожалуй, ближайшим аналогом здесь является китайская «культурная революция», когда юные невеж-

ды заставили всех несогласных заткнуться. Но ведь и сегодня распоясавшиеся хунвейбины Калифорнии (и не только Калифорнии) беспрепятственно творят суд и расправу, а не пробужденные культурой пробуждения (воукизм) просто впадают в анабиоз.

* * *

Теперь. Человечество разработало и опробовало несколько экзистенциальных технологий, которые и были применены с определенным успехом, если расценивать успех в рамках поставленных задач. По отношению к Европе стоит упомянуть две такие задачи: технологию счастья, разработанную в Греции (эвдемония посредством фронезиса), и экзистенциальную технологию спасения, на которую опирается христианство, — и эта идея удивительным образом связана с собственно «технологической технологией», или техникой постава (Gestell), как называл ее Хайдеггер. Однако не эта проблема нас сейчас интересует.

Сейчас нам важно отметить, что при достаточном разнообразии этического творчества и в удивительных экспериментах в отношении экзистенциального измерения так и не был решен и даже не был поставлен вопрос *бытия-к-свободе*. С декларациями, конечно, было все в порядке, провозглашать свободу в качестве величайшей ценности вошло в привычку еще во времена стоиков, но вот как с ней *совладать*, учитывая ее принципиально трансцендентный характер по отношению к дихотомии добра и зла, — тут не предложено ничего практического, ничего стоящего внимания, хотя именно здесь действующая экзистенциальная технология просто напрашивается. Однако вместо нее имеется то, что можно назвать совокупной стратегией противодействия свободе, и в осуществлении этой стратегии дисциплинарная наука с одной стороны и социальная инженерия с другой выступают в определенном симбиозе. Наука осуществляет экзорцизм свободы из мира объектов и заодно терпеливо объясняет, по какой причине в Академии наук заседают те или иные академики. А социальная инженерия осуществляет функцию связывания по рукам и ногам, фильтруя завихренные потоки и оставляя выборку, соответствующую девизу эпохи, — на сегодняшний день рекомендуемая к применения отфильтрованная жидкость имеет подпись на пузырьке: «Свобода — это инклюзивность». И все же сопротивление порабощению, обузданию сознания не прекращается. Отстаивание свободы в ее максимально возможной полноте есть, по сути, решающий участок сопротивления расчеловечиванию.

Мы можем сказать даже больше. Свобода есть всегда актуальная пробная версия мира, она важнейший и в то же время крайне опасный дар, справиться с которым нелегко. Человечество с ним пока не справилось. Стоящий теперь перед нами вызов — это переход к следующей, второй пробной версии, возможно последней.

Вердикт сегодняшнего дня однозначен: свобода под покрывалом как женственность под чадрой; как раз она, женственность, и является самым надежным критерием того, как обстоит дело со свободой в целом: каприз и соблазн, проникающие в мир через раскованную женственность, образуют передний край свободы.

И тогда вопрос: в каком же состоянии эта вторая возможная попытка застала мир после провала попытки первой, после пресечения контринъекции хаоса? Вкратце, с учетом (весьма избирательным) некоторых данных современной физики, дело обстоит следующим образом. Вначале имеется некая необузданность хаоса, представленная, например, как флуктуация виртуальных частиц или как спонтанное ветвление миров. Этот хаос постепенно обуздывается посредством внесения определенности, конечную фазу данного процесса мы знаем в качестве декогеренции. Вмешательство наблюдателя приводит к коллапсу волновой функции, и мы имеем дело с чем-то опре-

деленным: со светом как потоком частиц или со светом как волной. Но «естественная декогеренция» происходит и без нашего участия по мере того, как торжествуют причинно-следственные связи (эволюция от микромира к макромиру), то есть происходит связывание предшествующей разнузданности.

Далее. Во множестве перекрестных м случайных взаимодействий усмотреть эти самые каузальные связи не так-то и легко, возникает путаница, и особенно страдают последовательность и порядок причинения. Мы же почему-то всякую путаницу и «неустроенность» списываем на свободу, причем с радостью, с язвительностью от имени науки. Хочется спросить: «Доколе?», но долготерпения жрецов науки нам все равно не смутить, они рано или поздно докопаются до объяснения, что происходит на самом деле, когда мы говорим, что свободно поднимаем руку и по какой именно причине заседает тот или иной заседающий. Наука преуспела в создании той самой видимости, в соответствии с которой мы действуем принужденно — и пусть даже это *прикрытие закономерностью*, этот «сверхдетерминизм», если использовать в несколько ином ключе термин Альтюссера, является фикцией. Однако назойливая фикция все же делает свое дело, вносит свой вклад в дезавуирование свободы на всех уровнях человеческого присутствия.

* * *

Тем не менее ресурс сопротивления обузданию и связыванию не исчерпан. Вторая попытка реализации бытия-в-свободе запущена — и как это всегда бывает в делах свободы, у нее есть шанс, но нет гарантии.

Внесем коррективы в представленную картину и попытаемся сорвать покрывало паразитарного детерминизма. Итак, квантовый мир: его пульсации и флуктуации вполне могут стать онтологическим основанием свободы. Они беспричинны или допричинны, как клинамен Эпикура, они связываются и ограничиваются лишь по мере вхождения в природу-фюзис, но даже и тут у каждого объекта остается своеобразное право на клинамен, хотя в плотных слоях осуществленности, волновой функцией, как известно, можно пренебречь.

Что ж, отчасти благодаря квантовой механике, отчасти благодаря идее хронопоэзиса мы теперь знаем, что волновая функция редуцируется на пороге макромира, но эта внутренняя пульсация свободы вновь восстанавливается, когда мы входим в очередной виток хронопоэзиса — в семиозис, в мир дел человеческих и уж тем более в поле сознания. Сама суть сознания состоит в *принципиальной нередуцируемости* его «волновой функции», так что можно смело сказать, что наш (то есть его сознания) ближайший родич обитает где-то в мире квантовых флуктуаций, прочие же признанные родичи вроде приматов — это, так сказать, седьмая вода на киселе...

Вот что пишет по этому поводу Шеллинг:

«Единственное основание того, что мы не можем никогда освободиться от собственного Я, заключается в абсолютной свободе нашей сущности, в силу которой Я в нас не может быть предметом, вещью, доступной объективному определению. Вследствие этого наше я никогда не может находиться в ряду представлений в качестве среднего члена, но всегда выступает перед каждым рядом в качестве его первого члена, служащего опорой всему ряду представлений. Поэтому действующее Я, будучи в каждом отдельном случае определено, тем не менее одновременно, поскольку оно избегает любого объективного определения и может быть определено только посредством самого себя, следовательно, есть одновременно определенное и определяющее»[3].

[3] Шеллинг Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 69—70.

Тут, пожалуй, можно сказать, что Я существует в свободе как рыба в воде, но тогда сознание есть *сама вода*, свобода в качестве субстанции. Можно также смело, хотя и с удивлением, добавить, что прежде свобода встречалась лишь в своих манифестациях как подрывная сила всех субстанций, как угроза разрушения и дестабилизации любых стабильностей этого мира. Теперь же штормовые воды свободы порождают рыбу, способную в них жить. И рыба эта может жить только в таких водах. Так соотносятся Я и сознание, и весь диалектический аттракцион задействован в этом соотношении. Его описание, данное немецкой классической философией, до сих пор остается лучшим; в нем предпринята попытка описать свободу как стихию по ту сторону добра и зла, что возможно лишь при наличии главной добродетели философа — честности и точности самоотчета.

Честный самоотчет, следовательно, требует признать эту линию родства сознания в качестве ближайшей, хотя она и кажется предельно далекой. Вспомним визуальные метафоры души, их было немало: бабочка-мотылек (одна из самых частых сквозных метафор от китайской философии до русской поэзии), ласточка, упряжка коней — все они как-то передают порыв духа. Особенно бабочка благодаря своей трепетности, порханию и способности к метаморфозу.

И все же ближайшим родичем и тотемным животным всякой живой души может считаться кот Шрёдингера как безупречное зооморфное воплощение квантового мира. Что мы знаем о нем? Ничего такого, за что мы его могли бы ухватить, у него нет, но мы все же знаем, что пока он не пойман, тотемный кот сознания пребывает в суперпозиции «жив и мертв одновременно». Такова исходная свобода раннего мира и таков квант свободы в квантовом мире.

Расщепление этого кванта (в современной физике данная процедура называется Einselection — процедура решающего выбора) обозначает водораздел между этим и тем светом, границы квантовой реальности и макромира, в котором властвует механика бильярдных шаров, и граница эта усеяна трупами котов и кошек. Для перехода через нее должна быть выполнена процедура так называемой декогеренции, что вызывает распад кванта свободы. Сюда же относится и редукция волновой функции как следствие.

Продолжая метафору расщепления квантов свободы, можно сказать, что часть популяции диких котов была уничтожена, а часть — одомашнена. Тем самым мы поддержим тезис Ницше насчет приручения и одомашнивания человека — или человеческого в человеке как главного содержания всемирной истории, Тогда предельное уменьшение квоты свободы можно назвать ее, этой истории, итогом.

И все же непреложно пессимистический вывод был бы слишком поспешным. Мы ведь можем исходить из простого факта: сознание не угасло. В каждом человеке, поскольку он свободен, есть внутренний кот Шрёдингера, и тут мы можем вновь апеллировать к Достоевскому как к свидетелю. Кванты свободы уцелели, пройдя сквозь плотные слои воплощенности. Да, интенсивность излучения, несомненно, упала, что можно интерпретировать как нарастание порядка с одной стороны и дрейф в сторону тепловой смерти с другой. Но несмотря на массовую декогеренцию, образовавшиеся объекты, события и событийные центры сохраняют свой стохастический шлейф; они погружены в облако версий, какие бы усилия наука ни предпринимала, чтобы это облако дезавуировать и утвердить «видимость необходимости» и однозначности там, где при желании всегда просматривается остаточное ветвление и где подобно трассирующим пулям непрерывно расходятся в никуда цепи Маркова. А кванты (тут лучше назвать их фотонами), пробившиеся сквозь плотную материю, через царство бильярдных шаров, образуют мерцающее внутреннее ядро Я-сознания.

* * *

Так, нередуцируемая волновая функция, неустранимая неопределенность некоторым образом сберегаются в исключительно неблагоприятных условиях замурованности в тяжелую или ветхую материю (описываемую, в частности, механикой бильярдных шаров) словно бы для того, чтобы затем явить себя во всей красе как условия сознания и как человеческую свободу. Соответствующая метафора позволяет нам продолжить рассмотрение в спекулятивном ключе, когда вновь предстают перед нами «явленность во всей красе» с одной стороны и стыдливое репрессивное покрывало с другой.

В соответствии с духом метафоры возможно внутреннее различие между тем огромным, но все же промежуточным диапазоном, где, согласно Гераклиту, «природа любит скрываться», и познаваемым миром: мы теперь знаем, что кванты свободы прячутся в едва заметном стохастическом шлейфе и устремляются новой траекторией отрыва по линии восходящего сознания, где освобожденная природа решительно выходит из укрытия, и ее приходится укрывать принудительно, набрасывая покрывало закономерности или чадру необходимости. Остановимся еще на двух воображаемых укрытиях: одно касается дел человеческих, другое — спонтанности психических объектов.

Честь обнаружения первого укрытия принадлежит Бруно Латуру, создателю АСТ. Он выявил в среде вещей что-то вроде зачаточной свободы воли, которую можно назвать, например, потенциалом ответственного действия: выявил в самых простых объектах, где никто не ожидал найти что-либо подобное — так хорошо было наброшено покрывало. Казалось бы, вещи всего лишь вещи, а инструменты — это инструменты. Более того, усилия французского материализма XVIII века были направлены на то, чтобы приравнять человека к инструменту, к машине, лишив его тем самым иллюзии свободы воли, а согласно Марксу, в этом одновременно скрываются и суть отчуждения, и пафос освободительной борьбы всех трудящихся под девизом: я не вещь!

Тут-то и появляется на сцене Латур, чтобы заявить: а что вещь? Хорошо ли вы ее рассмотрели? Откуда ваша уверенность в том, что ее созидание и участие в бытии созидающего недостойно даже упоминания?

«Почему бы ни обратиться к чему-то еще, к тем бесчисленным объектам, которые отсутствуют у обезьян и повсеместно присутствуют у людей, локализуя или глобализуя взаимодействие. Как можно воспринимать кассу без окошка, стекла, двери, стенок, стула. Разве они в буквальном смысле не образуют фрейм взаимодействия? Как можно подводить ежедневный баланс офиса без формул, квитанций, счетов, бухгалтерских книг — и как можно упускать из виду прочность бумаги, долговечность чернил, нанесенные на клавиши буквы, практичность степлеров и громкие удары штемпеля? Разве не эти вещи делают возможной тотализацию?»[4]

Участие вещей, а уж тем более инструментов в делах человеческих следует рассматривать не только в категориях подручного (Zuhanden) и противостоящего (Gegenstand), как это делал Хайдеггер, и уж тем более не только в категориях механики. Согласно Латуру, перед нами высокие договаривающиеся стороны, нам приходится иметь дело с самостоятельными актантами, которых мы вовсе даже не спешим благодарить или хотя бы запоминать. Вот и Слотердайк пишет, заходя с другой стороны:

«...имело бы смысл предположить, что и машины, представляющие собой личности, также могут работать лишь в условиях биполярного, мультиполярного существования и интериндивидуального параллельного соединения»[5].

---

[4] Латур Б. Об интерсубъективности // Социология вещей. М., 2006. С. 184.

[5] Слотердайк П. Сферы. Т. 1. Пузыри. СПб., 2005. С. 140.

Призыв повысить статус инструментов и просто вещей, более того, собранные Латуром свидетельства о том, что этот статус в действительности куда выше, чем мы привыкли думать, — значит ли это, что мы должны признать или допустить куда большую свободу объектов макромира? Пожалуй, что да. Коль скоро речь больше не идет о слепой подчиненности и действительно корректнее говорить о сотрудничестве с актантами, будь они водяными насосами или дверными доводчиками, мы вправе предположить, что между полной редукцией волновой функции, приписываемой бильярдным шарам и их собратьям, и свободой воли субъекта существуют, возможно, и некие промежуточные стадии. Прямое доказательство этому — статистический разброс или так называемый стохастический шлейф. Он отражает степень редукции волновой функции, но о полном тождестве с квантами свободы тут говорить не приходится, размазанность исходов, например, может свидетельствовать и о слишком неточной идентификации актора-деятеля. Одно дело бильярдный шар, другое — «среднестатистический мужчина», третье — картина Ван Гога.

И все же механистический уклон в объяснении феноменов природы и человеческого окружения есть некая константа, если угодно, константа трансцендентального субъекта. Тут вполне можно согласиться и с Достоевским, и с Бергсоном, и, например, с Ж. Симондоном, что познание, то, которое было принято в состав науки и практически слилось с самой наукой, «заточено» на стандартную предварительную обработку феноменов: предмет познания должен быть выхвачен и тематизирован как предмет (интенциональность), после чего он должен быть «ошкурен» от стохастического шлейфа. Или, говоря попросту, всякая познаваемая наукой закономерность должна стать «более закономерной», чем она есть в действительности. Декогеренция (редукция волновой функции), спонтанно выполняемая при пересечении порога фюзиса, должна быть усилена и дополнена зачисткой, в качестве которой и выступает познание.

Здесь проявляется и своеобразная диалектика: коль скоро природа любит скрываться, например, под покровом стохастического шлейфа, а познающие стремятся это покрывало с природы сорвать, то в отношении сознания дело обстоит противоположным образом: там непрерывно набрасывается покрывало для маскировки свободы... Так или иначе, наблюдательность Латура позволяет вывести природу из укрытия (из сокрытия), не спугнув ее при этом, хотя выводы самого Латура, скажем так, не совсем об этом. Итак, еще раз: объекты вокруг нас и тем более вещи из категории подручного — это не просто расходный материал и не просто точки приложения сил. И даже не разнородные участки сопротивления, которые во что бы то ни стало нужно преодолеть. Это некая странная истина вещей, их актуализуемое (для внимательных наблюдателей) поле, наполненное флуктуацией дружественности, равнодушия и враждебности. Наука не умеет регистрировать и отслеживать это поле, да и феноменология невнимательна к нему — разве что Хайдеггер оставил свои наблюдения на сей счет, и вот теперь Латур предлагает усматривать популяции и сообщества актантов там, где прежде регистрировались лишь стыковочные узлы функциональности.

Но обратимся к наблюдениям здравого смысла. «Сегодня все просто валится из рук» — действительно ли речь идет только о настроении (или нестроении) субъекта, или, быть может, все же оценивается и состояние поля остаточных флуктуаций и зачаточной свободы воли? А если это так, то нам вновь остается лишь удивляться прозрению Лейбница: «Вместо того чтобы говорить, что мы свободны только по видимости... должно сказать, что мы только по видимости действуем принужденно». Раз уж покорные любой закономерности объекты при ближайшем рассмотрении оказываются не столь уж и покорными, то что уж говорить про индивида, пребываю-

щего в статусе субъекта: тут только пожизненно искривленное зрение бихевиориста усматривает причину заседания в академии в чем-то весьма далеком от свободы воли... Так что лучше полагаться на усмотрение мастера или на взгляд Dasein в его повседневной озабоченности. Мы видим, как бережно мастер относится к своим инструментам, и бережность эта далеко выходит за пределы простой функциональности. Всякий хозяин и всякая хозяйка уделяют толику заботы своей утвари, и солдат при каждом удобном случае чистит свое оружие. Ту вспоминается загадочное выражение Паскаля: «Попугай чистит свой клюв даже тогда, когда клюв чист»[6]. Но примерно так же хороший всадник холит своего коня, плотник «лишний раз» осматривает свой топор, и в том же порядке совершается великое множество действий по отношению к инструментам и вещам обихода. Наука без малейших колебаний списывает все это на суеверия, предрассудки, антропоморфизм и анимизм, но вот теперь, благодаря в том числе и Латуру, можно задаться вопросом: а нет ли тут каких-нибудь переговоров о дальнейшем сотрудничестве? Конечно, «переговоров» в кавычках, в зачаточном состоянии, ведь и сама свобода здесь присутствует лишь в зачаточном состоянии, так что лучше назвать ее способностью или готовностью к сотрудничеству, которая в случае полного небрежения может оказаться и готовностью к противодействию. Это хорошо вписывается в концепцию АСТ, согласно которой в строительстве каменного дома участвуют, пусть и не на равных и мастер, и мастерок, и отвес, и котелок с горячим супчиком, поджидающий рабочих. Так что всегда есть дружная — или не очень дружная — бригада, состоящая из человеков и нечеловеков.

Пафос Бруно Латура направлен на то, чтобы сбить спесь с этих самых «человеков», поставить под вопрос самонадеянность и высокомерие субъекта, лишить его мнимой суверенности, а значит, и «иллюзорного» избытка свободной воли. Но возможно и иное толкование мира актантов, и это толкование возвращает им, вещам, тот остаточный диапазон свободных флуктуаций, который (как это теперь выясняется) все же не был окончательно перекрыт при переходе от хаоса к фюзису, в частности от мира элементарных частиц к миру бильярдных шаров. А то обстоятельство, что у науки нет к такому положению вещей никакого подхода, что она не может войти в положение беспокойных нечеловеков, то это ее, науки, проблемы, и от того, насколько она сможет с ними справиться, зависит второй и, быть может, последний шанс мира удержаться в свободе. То есть проявить уважение к тому, что природа любит скрываться, не срывать покровы для получения голого детерминизма, а научиться любоваться прозрачными одеяниями в виде стохастических шлейфов и относительно самостоятельности актантов. А в отношении индивидов, напротив, перестать прикрывать вновь явленную миру свободу воли покрывалом, сшитым из сукна бильярдных столов.

* * *

Стоит, пожалуй, рассмотреть еще один пример того, как легко отыскать закономерность, опровергающую свободу воли, как легко выдергивать и соединять друг с другом выборочные нити: и именно это обычно называют «открывать закономерности». Всякое более или менее убедительное ограничение свободы воли индивида претендует на роль открытия. Если, например, оказывается, что решение поднять руку принимаешь не ты, а кто угодно или что угодно за тебя, какая-нибудь команда, инструкция или даже *твой собственный мозг* (который в этом случае *не ты*), наука тут же вздыхает с облегчением: удалось объяснить необъяснимое. С необъяснимым

[6] Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2011. С. 75.

она, понятно, не может смириться — на то и наука, — а к свободе воли статус необъяснимого прикреплен наукой навеки.

Благодаря научной революции XX века квантовые флуктуации и спонтанное ветвление миров были допущены при условии, что они происходят за порогом строго каузальной вселенной. И похоже, что наука даже смирилась с этим скандалом, отделив квантовую реальность от нормальной реальности — но уж «нормальная реальность» есть плацдарм, за который наука готова сражаться до последнего. Поэтому физика, скажем, в упор не видит преемственности между квантовыми флуктуациями, существующими где-то там, в стране чудес, в Зазеркалье, и фазовыми переходами здесь, у нас под боком, переходами, сохранившими — если, конечно, присмотреться — мерцающий характер флуктуаций в качестве подкладки. Относительно автономную роль актантов, описываемую АСТ, наука рассматривает как фигуру речи — да и мало ли какие причуды могут быть у философии? Что же касается проявлений индивида, его сознания и его психики, то здесь приветствуются любые попытки развенчания «мнимой свободы воли». Вот, например, сновидения. Казалось бы, неплохой образец спонтанного ветвления миров. Или «слабых шумов», исходящих от сенсориума, работающего на холостом ходу. Или пример образования суперпозиций, именуемых в психоанализе сгущениями.

Но разве может допустить такое рассудок, заточенный на поиски каузальных связей, или разум, настроенный на распознание и извлечение смысла? Разум не может оставить сновидения просто так, они должны что-то значить, например, быть письменами судьбы, требующими расшифровки, или посланиями того или иного бога, с которыми тем более необходимо разобраться. Тут важно, чтобы смысл не был самоочевидным, важно обеспечить разум работой интерпретации; проблема, однако, в том, что эта работа неизбежно уклоняется в гиперосмысление, и всякая остаточная свобода (и свобода воли, разумеется) рассматривается как недоработка осмысляющих. Многочисленные практики толкования сновидений от античной Греции до средневекового Китая (включая и европейское средневековье, и альтернативную магию эпохи Возрождения) оставляли науку не у дел, поскольку явно были ближе к арканам Таро и астрологии, чем к парадигмам Галилеевой или Декартовой науки, так что более трех столетий столь лакомый кусочек оставался недоступным для гильдии ученых и для науки как их корпоративного занятия.

Ситуация изменилась с появлением «Толкования сновидений» Зигмунда Фрейда. Эта скандальная книга поначалу была воспринята в штыки физиологией и естествознанием в целом, но вскоре был сделан правильный вывод: за неимением лучшего эта версия очень даже подойдет. Конечно, являемые в сновидении скрытые мотивы бессознательного, побуждения и позывы либидо — все это не очень хорошо. Вот если бы снились муки совести или хотя бы появлялось по одной дохлой кошке из суперпозиции Шрёдингера... Но альтернативой расшифрованному Фрейдом языку сновидений оказывалось только спонтанное ветвление миров — а это гораздо хуже, это прямо-таки какой-то подземный источник свободы и необузданности. Поэтому психоаналитическая интерпретация была в итоге принята, ибо сновидения могли теперь являться под покрывалом. Пусть даже это одеяние, наброшенное на сон, поначалу казалось слишком неприличным, оно, по крайней мере, санкционировало психологический детерминизм и давало приемлемые объяснения: засыпающий покидает зоны ответственности сознания, но тут же попадает в другую зону ответственности, так что сны предстают как следствия неких причин или причины.

Правда, тогда должно было бы выполняться правило, что оргазм гарантирует сон без сновидений — ну или, по крайней мере, интенсивная сексуальная жизнь должна

способствовать этому. Подобное предположение, однако, не подтвердилось, на что коллеги и указали Фрейду почти сразу же после выхода «Толкования». Впрочем, если в психоаналитическом толковании снов есть доля истины, а она, несомненно, есть, подтверждение должно быть иным: должны происходить изменения, так сказать, спектрального состава сновидений, уменьшение сексуальной компоненты и увеличение каких-нибудь других. Проводились ли подобные эксперименты, мне неизвестно, но вполне достаточно того, что сны продолжали сниться, будучи по своему содержанию контрпримерами любой монопольной трактовки смысла и причин сновидения.

Но как еще можно объяснить сновидения, если отказаться от приписывания им значения в принципе? Можно сказать, что в основе их лежит что-то вроде датчика случайных чисел (ну или генератора спонтанных образов), на который опирается сознание, а когда оно отключается, генератор продолжает работать на холостом ходу, выдавая в эфир фоновое ветвление миров. В этом ветвлении не только могут, но даже должны попадаться связные фрагменты и даже целые спектральные линии. Причем некоторые из них прослеживаются также и сознанием, другие — нет (Фрейд, похоже, придерживался установки, что истинная причина и должна быть глубже всего скрыта). И все же трудно отделаться от мысли, что близкородственным процессом для такой работы на холостом ходу являются квантовые флуктуации — а это означает, что и сознание опирается на феномен свободы, что и оно, каким бы собранным и целеустремленным ни было, должно крутить барабан, а если барабан вдруг заест, то и само сознание угаснет.

Научиться быть в свободе — значит уметь ухаживать за питомником внутренних времен, где есть дикорастущие побеги, тоже рвущиеся к солнцу, к окну проживания, им нужно *позволить быть* (Lassensein), и индивид, культивирующий только товарные сорта времен, уже одним этим ставит под угрозу свою свободу.

Что ж, без всякого сомнения, со свободой можно переборщить, и есть предел ее выносимости. Работающее сознание так или иначе контролирует этот предел — и все же тотальный контроль ведет к обессмысливанию совокупного сознания. Человек может выпасть из восходящего потока времени — и разбиться. Или уцелеть в отвалах безопасного, отработанного времени, но уцелеть не как человек, а как антрацит.

Анатолий СОБЕННИКОВ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ: ОТ ФАКТА К МИФУ

15 (28) июля 1914 года Австрия объявила войну Сербии, а 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России. Так началась Первая мировая война. В российском обществе она была встречена с энтузиазмом. В газетах публиковались репортажи с заседания Государственной думы, в «Новом времени» появилась колонка «ВОЙНА. От штаба Верховного главнокомандующего», сообщалось о сборе средств «В помощь русским воинам». В периодической печати говорили о «зверствах немцев» и о великодушии русских солдат[1]. Уже 14 августа 1914 года в газете «Новое время» сообщалось о положении русских в Германии: «За мужчинами, женщинами и детьми охотятся на улицах, нанося им побои; слово „Русский“ является сигналом для сбора толпы, готовых растерзать на части несчастных людей, доверившихся «романтической стране»[2].

4 (17 августа) 1914 года в «Новом времени» публикуется за подписью «Русские женщины» призыв: «А теперь, когда Бог послал им великую честь послужить своей родине, когда народ носит на руках будущих героев, мы, женщины, должны гордиться, что на долю нашего поколения выпало великое дело обновления и объединения всей России»[3]. В многочисленных рассуждениях о причинах войны всегда находился один виновник — и это была Германия: «На пространстве сорока лет ее гегемонии

Анатолий Самуилович Собенников — доктор филологических наук, профессор. Родился в 1952 году в селе Хоринск Бурятской АССР. Окончил филологический факультет Иркутского госуниверситета (1974), аспирантуру Томского госуниверситета (1985) Автор литературоведческих статей и монографий, сборников стихов «Свет» (Иркутск, 1999), «Sic transit» (Иркутск, 2002), «Помедли, время» (Иркутск, 2010), критических статей. Публиковался в журналах «Русская литература», «Вестник Московского университета. Серия «Филология», «Сибирском филологическом журнале», «Байкале», «Сибирских огнях», «Сибири», в альманахах «Зеленая лампа», «Иркутское время». Работы опубликованы в Болгарии, Германии, Канаде, Польше, США. В апреле 2024 года вышла монография «Мифы русской литературы: история, поэт, Россия, народ» (СПб.: ООО «Издательство „Росток“», 2024).

[1] См., например: Немецкие зверства // Война. СПб., 1914, № 1; Меньшиков А. О великой европейской войне. 1914—1915 гг. Вятка: Губернская тип., 1915. С. 125—132; Шляпкин И. «Немецкое зло». М.: Тв-во «Типографии А. И. Мамонтова», 1915 и др. Процесс мифологизации шел и в Германии. Так, известный ученый Ульрих фон Виламовиц-Меллендорф говорил о Гинденбурге как о мифологическом герое: «Но взглянем же на него. Его лик известен теперь всякому ребенку. <...> И мы знаем, что ни замыслил этот Гинденбург, то будет сделано». См.: Гаврилов А. К. О филологах и о филологии: Статьи и выступления разных лет. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. С. 269.

[2] Ч. В стране дикарей // Новое время. 1914. № 13788, 1 (14) августа. С. 4.

[3] Новое время. 1914. № 13791, 4 (17) августа. С. 3.

в Европе мы не видим ни одной животворной идеи, которую бы она воплотила в жизнь, и видим только одно стремление: вытеснить всех, поглотить, кого можно, чтобы занять их место»[4]. Демонизации образа врага способствовали сами немцы. 20 июля (2 августа) они заняли г. Калиш. Ночью случилась перестрелка. В ответ немцы расстреляли заложников (более ста человек), а уйдя из города, подвергли его артиллерийскому обстрелу[5]. В газете «Русское слово» за 19 сентября (2 октября) 1914 года сообщалось о разграблении церкви в Радоме.

На этом негативном для Германии фоне создавался образ неизбежной победы правого дела. «Для России начинается как бы новая молодость народная, новый героический период истории, новый век побед и одолений», — утверждал М. О. Меньшиков[6]. В многочисленных свидетельствах с «поля боя» говорилось о «праве» воевать и о «правде» войны. Главная «патриотическая идея» эпохи — это единство народа и всех ветвей власти. «Идите, наши славные войска, идите не оглядываясь и помните, что бы ни случилось, народ до последнего человека с вами. <...> Идите, и дай вам Бог геройской победы!»[7]

В редакционной статье первого январского номера газеты «Новое время» за 1915 год говорилось: «Война захватила всех и все. К ней устремлено общее внимание, в ней сосредоточены все помыслы, все заботы, все ожидания и тревоги. Все остальное, чем обычно поглощаются интересы общественной и политической жизни, кажется мелким, незначительным»[8].

Военно-патриотический дискурс любой эпохи с неизбежностью приобретает мифологический характер. Враг всегда является воплощением Зла и Лжи, а своя армия воплощением Добра и Правды. Армия выступает в роли защитницы Отечества и в этом качестве пользуется поддержкой всех социальных слоев населения. В Думе только фракция большевиков выступила против войны. Ленина, Троцкого и других большевиков, эмигрировавших в Швейцарию, называли *пораженцами:* «Слава Богу, за исключением двух ничтожных групп — германофилов-реакционеров и каких-то „левых пораженцев“, приютившихся не то в Австрии, не то в Швейцарии — все русское общество единодушно согласилось с тем, что вести войну с домом Гогенцоллернов надо решительно и твердо», — писал Георгий Чулков[9].

Мобилизация была встречена с одобрением. «Из всех уголков родины прибывали солдаты в Москву и Петроград. Трезво и красиво встречала их столица, как будто что-то высшее, сильнее нашего разума, сказало нам „надо“, и без слез отпустили матери, жены, невесты своих любимых в далекий, трудный и, может быть, безвозвратный край»[10].

Особое место в процессе мифологизации занимала поэзия, так как она могла оперативно откликаться на факты дня, интерпретировать их по аналогии с Ветхим и Новым Заветом или народным преданием. Даже в официальном, правительственном, издании «Летопись войны. 1914—15—16» мы находим стихи. Так, целям демонизации врага послужило стихотворение А. Роговича «Немцам — ненависть, проклятье (Посвящается памяти 5000 расстрелянных русских пленных)»:

---

[4] Афанасьев Г. Е. Причины теперешней войны. Пг.; Киев: Сотрудник, 1916. С. 91.

[5] См.: Джошуа Санборн. Великая война и деколонизация Российской империи. СПб.: Academic Studies Press/Библиороссика, 2021. С. 93.

[6] Меньшиков М. О. Письма к ближним. 1915. Пг.: Тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1916. С. 2.

[7] Ал. Кс. На войну // Новое время. 1 (14) августа 1914. № 13788. С. 5.

[8] Новое время. 1915. 1 (14) января 1914. № 13939. С. 2.

[9] Чулков Г. Судьба России. Пг.: Корабль, 1916. С. 8.

[10] Н. Р. На войну // Наши герои. Пг., 1914. № 1. С. 11.

Война всегда была жестока,
В сраженьях кровь лилась рекой,
Но даже полчища Пророка,
Когда стихал кровавый бой,
Щадили раненых и пленных,
И тот неписанный закон
Был крепче правил неизменных
Великодушьем утвержден.
Но немцы все переменили
И в разоряемой стране
Все подчиняя грубой силе,
Усердно служат сатане.
<...>
Они кичатся просвещеньем?
Хвала германскому уму —
Мы зверя видим с отвращеньем
В густом отравленном дыму[11].

Но не только инвективы мы находим в прессе тех лет. Во многих газетах и журналах были юмористические колонки. В Харькове издавался журнал «Война. Обозрения, пародии и карикатуры на злобу дня». В начале войны в журнале было опубликовано сатирическое стихотворение «Германская политика»:

В Берлине не зевали,
В Берлине лбы ломали,
Ночей не досыпали,
Все думали, как быть?

Как лучше, без сражений,
Без нот и осложнений,
Без верных поражений
Россию победить.
<...>
(Лакей советует кайзеру)
В Германии не мало
Приезжих позастряло:
Когда война настала,
Они у нас в плену!

Нас бьют теперь... Ну, что же!
Мы снимем с пленных кожу,
И, право же, похоже
То будет на войну! —

От счастья кайзер млея,
В министры ввел лакея,

[11] См.: Летопись войны. 1914—1915. № 52. С. 837—838.

И, перьев не жалея,
Сам написал приказ:

— Солдаты! Без боязни
Чините пленным казни!
Благословляю вас![12]

В сатирическом журнале «Война народов» было опубликовано стихотворение «Любимцы сатаны». Утром Вельзевула разбудила пушечная канонада. Он спрашивает новых грешников, за что они оказались в аду.

— Кто ты? — первому он предлагает вопрос,
— Мелкий вор, жулик уличный, верно?
Но ответила тень, гордо вздернувши нос,
— Я служил в гарнизоне Цаберна.
Тень другую спросил Сатана: — Кем ты был?
— Лейтенант заслуженный я прусский,
Вместе с Прейскером в Калиш победно вступил,
Да нарвался на штык острый русский[13].

В сниженном ключе позволял также увидеть действующих лиц мировой бойни жанр басни. А. Измайлов вспомнил И. А. Крылова и написал о новом Тришке и о его кафтане:

За картой сидя Ильина,
Замыслил мир поправить Тришка.
— «Вот что-то тут мала страна,
А тут как будто есть и лишка!
Здесь краске голубой лежать как раз черед,
А здесь должно быть бело»...
Портняжны ножницы тут Тришка наш берет
И, руки засучив, — за дело!
— «Возьму-ка здесь расширю я Эльзас,
Сюда от Бельгии прирежу котловину»...
Хвать ножницами — р-раз!
Ан, от Галиции отрезал половину!
Тут Тришка охать и вздыхать, —
Убавит тут, прирежет сбоку,
Сувалки с Калишем готов к дыре пригнать, —
Да нет уж никакого проку,
И карту бросили в растопки у печи...

Ой, Тришка, молвлю без ироний:
Умело с картой хлопочи,
А то, смотри, лишишься и колоний!..[14]

[12] Мишин М. Германская политика // Война. Обозрения, пародии и карикатуры на злобу дня. Харьков: А. А. Гермейер, 1914. — С. 3.
[13] Война народов. Худож. сат. журнал: пародии, обозрения, карикатуры. Харьков, 1914. № 5. С. 4.
[14] Измайлов А. Басни Крылова // Русское слово. 1914. 8 (21) октября. С. 4.

В журнале «Лукоморье» мы находим пародийный вариант колыбельной песни:

Спи, малютка Франц-Иосиф, —
Баюшки-баю!
Для меча костыль забросив,
Портишь жизнь свою.
<...>
Где-то там визжат шрапнели,
От огней светло,
Но зато в твоей постели
Мирно и тепло.
<...>
В Буковину уж забралась
Россов грозных рать.
Все ж не хнычь ты, ведь осталась
У тебя... кровать.
Знает Росс победам цену;
Черновцы — тю-тю:
Спи ж, пока не взяли Вену, —
Баюшки-баю!
<...>
Веря крепко в «оборону»,
Все же старикан,
Уложи скорей корону
В старый чемодан.
В поезд сядешь в миг опасный,
Всем сказав: «Адью»;
А пока — храпи, мой ясный, —
Баюшки-баю![15]

В журнале «Лукоморье» была опубликована также песня о штыке:

Шумит-шумит лес темный,
Да трусить я отвык.
Не суйся, глупый немец,
Напорешься на штык.

Эх, штык ты, мой товарищ,
Не выдай, выручай,
Авось, мы путь-дорожку
Проложим невзначай.

Не каркай, ворон — сердце.
Лес темный, не шуми,
Видали тоже виды,
Иным нас чем пройми.

[15] Доль (Дм. Ник. Тигер). Австрийская колыбельная песня // Лукоморье. Пг., 1916. № 27. С. 20.

Авось-небось, товарищ,
Верна моя рука,
Да только ты, товарищ,
Не выдай паренька.

Держися, не сломися,
Не гнися, не дрожи,
По совести да в дружбу
Мне службу сослужи.

Шумит-шумит лес темный,
Да трусить я отвык.
Не суйся, глупый немец,
Напорешься на штык.[16]

Война вносила изменения в повседневную жизнь воюющих стран. Так, Италия запретила вывоз из страны макаронных изделий. И в газете «Минский голос» был опубликован стихотворный фельетон «Макароны»:

Визжит шрапнель,
Солдат колонны...
О, вермишель!
О, макароны!
Печаль вдвойне:
Скорбит невеста, —
Ганс на войне,
Нет дома теста.
Уныл и скуп
Пейзаж базара:
Нет даже круп...
— Ан, это старо!
Воюет Ганс,
Горюет Грета.
Какой там шанс,
Коль тут диета!
Летит шрапнель.
В рядах уроны...
Вот вермишель!
Вот макароны!
Несется стон
В проходах узких:
Ганс «макарон»
Не любит русских...[17]

Поэтические отклики на начало войны мы найдем и у Александра Блока, который публикует в газете «Русское слово» два стихотворения «На войну (Петроградское

[16] А. А. Б. Песня о штыке // Лукоморье. Пг., 1916. № 34. С. 14.
[17] Минский голос. 1915. № 1631. С. 2.

небо мутилось дождем...)» и «Россия (Грешить бесстыдно, беспробудно...)»[18]. В первом стихотворении лирический герой свидетель и очевидец события. На австро-венгерский фронт уходит эшелон с новобранцами. Стихотворение далеко от ура-патриотической лирики эпохи, в которой говорилось о единении всех социальных слоев под эгидой российского императора. Так, Сергей Городецкий в стихотворении «Сретенье царя» утверждал:

Народ с утра спешил на площадь
К Дворцу на сретенье Царя.
Теснилась флагов русских роща,
Цветами яркими горя.
Национальных песнопений
Опять катился мощный вал,
И Александра вещий гений
Венок победы поднимал[19].

Блок же говорил о России, а не о Российской империи, о людях, а не о героях, готовых умереть за Царя, за Родину, за Веру. Начало войны, ее ход воспринимались многими поэтами как обновление страны, как путь к святости. Вот стихотворение С. Городецкого «Четырнадцатый год»:

Начало века запоздало:
Пришло в четырнадцатый год.
Какое дивное начало!
Какой торжественный восход!

Из мук, сомнений и несчастий,
Из тьмы почти небытия
Взлетает к небывалой власти
Россия вечная моя.

Могучим подвигом народа
На ржавом поприще войны
Вновь завоевана свобода
Всечеловеческой весны.

Столетья, радостней стремитесь!
В потомстве чутком не умрет
Ваш смелый вождь, ваш светлый витязь,
Святой четырнадцатый год.[20]

Российская империя, ведущая войну с Германской, Австро-Венгерской и Османской империями, в поэзии тех лет тоже мифологизировалась. Можно выделить две формы мифологизации: фольклорную и православную. В газете «Новое время» были перепечатаны из «Утра России» псевдонародные частушки:

[18] Русское слово. 21 сентября (4 октября) 1914 г. С. 4.
[19] Городницкий С. Четырнадцатый год. Пг.: Лукоморье, 1915. С. 15.
[20] Там же. С. 7—8.

Вот так Немцы, ой-да ну,
Объявили нам войну.

<...>
Бьем Германцев, этих хамов,
Они стали хуже ханов.

Император их — вампир,
Пролил крови на весь мир.

Автор публикации писал: «Народные частушки свидетельствуют о глубоко сознательном отношении масс к войне»[21]. В журнале «Лукоморье» на обложке был изображен казак с пикой (акв. Е. Нарбута) и приведены стихи:

Видит немец — казак едет с пикой...
— «Казак» — и заныло в печени:
«Ох! Ждет нас конфуз великий!..
Грозит он бедой неметчине»!
Долетел быстрее птицы
Казак до немецкой границы,
Гикнул, молвил слово с заковыркой,
Глядь! Уж царство немецкое с дыркой[22].

Следует заметить, что героизация этого воинского сословия в периодике носила в основном мифологический характер. В реальности казаки, например в Галиции, выделялись жестокостью к местному населению, грабежами и пьянками[23]. Однако в поэзии военных лет был нередок псевдонародный, лубочный, образ казака. Так, Любовь Столица писала:

От цветных степей донецких
Вглубь седых болот немецких
        Он, удалый, поскакал,
На коне гнедом поджаром,
С ликом темным, юным, ярым,
        Обнажив зубов оскал.
<...>
Так ширяй, казак, и гикай,
И неси с победной пикой
        Вглубь чужих туманных стран
Дух наш орлий, взгляд соколий —
        Золотую птицу воли
        Из земли младых славян![24]

---

[21] Среди газет и журналов. Новое время. 1914. 9 (22 октября). № 13857. С. 5.

[22] Лукоморье. 1914. № 18. С. 1.

[23] «Как писал губернатор Львова в октябре 1914 года, он ежедневно получал жалобы местных жителей «на постоянные грабежи и насилие со стороны казаков, как следующих через этот район на свои позиции, так и тех, кто здесь размещен» // Джошуа Санборн. Великая война и деколонизация Российской империи. СПб.: Academic Studies Press/Библиороссика, 2021. С. 102.

[24] Столица Л. Русь. М.: Новая жизнь, 1915. С. 140.

Фольклорную форму мифологизации происходящих событий мы находим у Сергея Есенина и Николая Клюева. В стихотворении Есенина так говорилось о всеобщей мобилизации в деревнях:

Потонула деревня в ухабинах
Заслонили избенки леса.
Только видно на кочках и впадинах
Как синеют кругом небеса.

<...>

Понакаркали черные вороны
Грозным бедам широкий простор,
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.
Грянул гром, чаша неба расколота,
Тучи рваные кутают лес,
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.
Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину[25].

Поэт из народа Н. Клюев, подобно Есенину, в поэме «Беседном наигрыше, стихе дописном» создает фольклоризированный образ *крещеной Руси,* узнавшей о войне:

Мать-Планида на Руси крещеной
От страды келейной задремала.
Был ли сон, аль малые просонки,
Только въявь Планидушке явились
Петр апостол с Пятенкою-девой.
И рекли святые: «Мать — Планида,
Под скуфьей уснувши стопудовой,
За собой и Русь ты усыпила!
Ты вставай-ка, мать, на резвы ноги,
Повести-ка Русь о супостате.

<...>

И запела ангельская птица
О невзгоде Русь оповещая[26].

Если говорить о жанре, то перед нами псевдоолонежская былина о том, как Русь проснулась, как сто ее племен накажут супостата. Любая война ведет к росту национального самосознания, и 1914 год не был исключением. Не случайно немецкий топоним *Санкт-Петербург* был заменен русским *Петроградом*. В. Опочинин, участник боевых действий и поэт, так описывает известие о начале войны:

[25] Есенин С. Русь // Северные записки. Литературно-политический ежемесячник. 1915. Июль—август. С. 77—79.

[26] Клюев Н. Мирские думы. Пг.: Изд. М. В. Аверьянова, 1916. С. 35—37.

Около той водокачки
Что-то читается вслух, —
Плачут, я вижу, казачки,
Скачет казак во весь дух...
Лица задумчиво-строги,
Замер подавленный крик...
На повороте дороги
Крестится дряхлый старик...
Все говорят, что хорунжий
Громко рассказывал тут,
Будто бы с Терека, с Сунжи
Наши полки уж идут...
Сбор объявили сегодня, —
К вечеру выступит полк...
Отперта церковь Господня,
Колокол грянул и смолк[27].

Донской казак-поэт Сергей Сулин создал целую портретную галерею героев-казаков («О казаке Крючкове», «Казак Лавин», «Вахмистр Исаев», генерал Каледин), которые напоминают былинных богатырей. В стихотворении «О казаке Крючкове» однополчане говорят герою:

Коль по дюжине ты
Станешь немцев сражать,
Сгинут наши мечты
Нам самим воевать!
Коли все, как ты сам,
Станут немцев косить,
что ж останется нам,
Ты позволь-ка спросить?[28]

Аполлон Коринфский вспоминает былинных богатырей:

Я видел сон...
Под гул громов
Распались древние курганы,
И встали — жизнью осияны —
Богатыри иных веков.
<...>
Старик Илья, Алеша млад,
Поток Михайло, свет-Добрыня,
С тысячелетней выйдя скрыни,
На Русь родимую глядят[29].

[27] Опочинин В. Грезы и жизнь. Стихотворения. Пг.: Сириус, 1915. С. 81. В военно-патриотическом дискурсе поэты первого ряда и второго тематически не различались.

[28] Сулин С. Вторая Отечественная война 1914—1915 гг. 2-е изд. Новочеркасск: Обл. в. д. тип., 1915. С. 6.

[29] Современная война в русской поэзии. Пг.: Тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1915. Вып. 1. С. 273.

Он публикует также в иллюстрированном журнале «Война и герои» историческую балладу «Бывальщина X века (из времен борьбы славян с немцами)», в которой речь шла о славянском племени бодричи, о князе Мстивое, внуке Боривоя, готового мечом отстаивать свободу своего племени[30].

И. Калинников написал колыбельную песню, в которой мать обращается к младенцу с таким напутствием:

Ушли богатыри
Спасать родимый край
От лютого врага — твой отец в бою!..
Пусть вьюга за окном,
Ты прикурни ко мне...
Тепло горит светец — баюшки-баю[31].

Второй путь мифологизации — это Священное Писание, христианская символика. Тот же Сулин писал в стихотворении «Императорский бой»:

По грудь в воде в атаку роты
Безостановочно идут:
То страшный сам — в лице пехоты —
Идет на немцев Божий Суд[32].

В 1915 году в Петрограде вышел сборник стихов «О войне. Стихи современных поэтов»[33]. В сборнике приняли участие А. Ахматова, К. Бальмонт, А. Блок, Н. Гумилев, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб и другие известные поэты. Вяч. Иванов писал в стихотворении «Недугующим»:

Ты, совесть русская, себе
Дитя, верна и в бездорожьи
Скитаний темных! И Судьбе
Самой кричишь: «суди по-божьи!»

Когда решеньем Вышних сил
Русь ворога превозмогает, —
Архистратиг ли Михаил,
Иль ей Георгий помогает.

И, на вселенские весы
Бросая подвиг достославный,
Своей не видишь ты красы,
Своей не веришь правде явной.

---

[30] См.: Коринфский А. Бывальщина X века (из времен борьбы славян с немцами) // Война и герои. 1914. № 8. С. 4—7.

[31] Каллиников И. А. Кошеверов. Братьям героям. Орел, 1915. С. 14.

[32] Сулин С. Вторая Отечественная война 1914—1915 гг. 2-е изд. Новочеркасск: Обл. в. д. тип., 1915. 20 с.

[33] О войне. Стихи современных поэтов. Пг.: Тип. И. Г. Брауде, 1915. В 1917 году он будет переиздан под другим заглавием — «Военные стихи современных русских поэтов».

В самоотверженной мечте,
Стыдясь знаменоваться кровью,
Так ты блуждаешь во Христе
И соблазняешься любовью.

О, совесть русская! Пора
Тебе, переболевшей ложью
Уединенного добра, —
Беглянке отчего двора, —
Войти с народом в Правду Божью[34].

Если с поэтического языка перейти на язык ясной прозы, то мы увидим, что лирический герой Иванова обращается прежде всего к русской интеллигенции, «переболевшей ложью». Победа над врагом невозможна без общих усилий нации, нужно переступить через кровь врагов, ибо «Русь ворога превозмогает» «решеньем Вышних сил». Упоминание святого Георгия Победоносца тоже не случайно, так как на Руси он считался покровителем воинов.

К. Д. Бальмонт в стихотворении «Благовест боя», как и другие поэты, обращается к христианской мифологии и создает свой миф о побеждающей врага России:

Я слышу, как в пустыне темной,
Где полночь ширит свой шатер,
Над бездной благовест объемный
Заводит с Богом разговор.

Водоворотное стремленье
Враждебных полчищ пронеслось, —
И выше грома пушек — пенье,
И ярче крови — росы слез.

Пусть Дьявол брани бьет в свой бубен,
Багровя битву и пожар, —
Призыв от Бога многотрубен,
И правый меч несет удар.

Над взбудораженною тучей,
Над миллионной грудой тел,
Я слышу колокол могучий, —
Он в дни невзгод всегда гудел.

Кипи же, страшная стихия,
В войне да выкипит весь яд, —
Когда заговорит Россия,
То громы неба говорят.

Следует обратить внимание на слово «Правда». В русской аксиологии Правда — одна из главных ценностей, ибо она Божья. Германия и ее союзники служат сатане,

[34] Отечество. 1914, № 6. С. 2.

а не Богу, поэтому победа Российской империи неизбежна. Ф. Сологуб писал в стихотворении «Имени Твоему»:

Еще сражаться надо много,
И многим храбрым умирать,
Но все ж у нашего порога
Чужая разобьется рать.

В победу мы смиренно верим
Не потому, что мы сильней.
Мы нашей верою измерим
Святую правду наших дней.

Когда над золотою рожью
Багряные текли ручьи,
Не опозорили мы ложью
Дела высокие свои.

Да, не одною сталью бранной
Народ наш защититься мог:
Он — молот, Господом избранный!
Не в силе, только в правде Бог.

Разрушит молот козни злые,
Но слава Господу, не нам, —
Он дал могущество России,
Он даст свободу племенам[35].

Бог покровительствует Российской империи, Россия несет свободу от тевтонского плена славянским племенам, «наше дело правое», «победа будет за нами» — вот основные смысловые и аксиологические центры патриотической лирики тех дней. Николай Гумилев заявлял в стихотворении «Война»[36]:

И поистине светло и свято
Дело величавое войны;
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Не отставал от современника Михаил Кузмин:

О, Феодор Стратилате,
О, Георгий, апрельский цвет,
В пресвятой вы во палате,
Где ни плача, ни скорбей нет.

[35] Правда становится у него ценностным центром и Гимна России: «Не в силе Бог, не в силе, // а только в правде Он». См.: Сологуб Ф. Гимн России // Отечество. Иллюстрированная летопись. Народная война. Пг., 1914. № 5. С. 2.

[36] Первая публикация была в журнале «Отечество». Иллюстрированная летопись. Народная война. Пг., 1914. № 4. С. 5.

Выходите вы со полками
Из высоких злаченных врат.
Ваш оплот надо всеми нами:
Божий воин земному брат.
<...>
На пороге же Божья Мати
Свой покров простирает вслед,
Чтобы царь Христос своей рати
Дал венец золотых побед.

Христос, Богоматерь, святой Георгий, пожалуй, занимают первое место по частотности упоминаний. Сергей Михеев так и назвал свое стихотворение — «Святой Георгий»:

Трепещет сердце в святом восторге,
Услыша вести в родном краю:
«Святой Георгий
Опять в бою!..»
В рядах славянства Он местью дышит.
И змей слабеет и ищет нор,
Но ясно слышит
Свой приговор...[37]

Стихотворение Н. Б. Хвостова называлось «С нами Бог!»:

Русь! К рубежу твоему подошел
Враг беззастенчивый, смелый, лукавый.
В бой ополчайся на подвиг кровавый!
Выше взвивайся, красавец двуглавый,
Мощный, победный, державный орел![38]

У А. Блока в цикле «Стихи о России» Христос и Богоматерь тоже были аксиологическим центром мифа о России[39].

Для поэзии тех лет характерна идея святости родины. Так, в сборнике «Студенчество жертвам войны» Сергей Буданцев писал: «Люблю, о, родина святая / Твой неожиданный простор»[40]. Идея святости родной земли объединяла авторитетных и начинающих поэтов. Поэтому в жанровом составе стихов о войне, конечно же, была и молитва. Обратим внимание на стихотворение «Спаси, Господи» Александра Кошеверова:

У Святого Распятья Страдальца-Христа, —
Так ничтожна молитва моя...
Все же с твердою верою шепчут уста:
«Спаси, Господи, люди Твоя!»

[37] Современная война в русской поэзии. Пг.: Тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1915. Вып. 2. С. 42.

[38] Современная война в русской поэзии. Пг.: Тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1915. Вып. 2. С. 91.

[39] См.: Собенников А. С. Мифы русской литературы: история, поэт, Россия, народ. СПб.: Росток, 2024. 224 с.

[40] Студенчество жертвам войны. М.: Тип. А. А. Левенсон, 1916. С. 12.

<...>
И тебе я молюсь среди пламени битв —
Веру, Боже, в победу тая,
И звучит к небесам чаще всех из молитв
«Спаси, Господи, люди твоя!»[41].

В этих сборниках мы находим и миф о Святой Руси, и демонизацию противника. Евгений Наметниченко:

Мужайся, родина моя,
Великая, святая!...
Горит во тьме заря твоя,
Горит, не угасая!...
С тобою Бог...С тобою Царь...
С тобою правда Божья...
Не ты ли в мире, как алтарь,
Алтарь средь бездорожья?..[42]

Михаил Кузмин обращался к противнику:

Вы можете разрушить башни
И осквернить святой собор,
Вы можете спалить все пашни
И заповедный, старый бор.
<...>
Испепеляйте, грабьте, жгите!
Презренье вам ответ, — не страх.
С небес невидимые нити
Восстановляют падший прах[43].

Еще один вид мифологизации, который мы находим в военно-патриотическом дискурсе эпохи — это история, военные победы предков, великие полководцы. А. Блок включает в свой цикл «Стихи о России» микроцикл «На поле Куликовом», который впервые был опубликован еще в 1909 году. Главная идея Блока в аспекте аксиологии — это миф о «вечной» России, России кенотической, о *Святой Руси.* Победа русского воинства над татарами *тогда* — предвестие новой исторической победы над немцами *сейчас*. В. Бестужев писал в стихотворении «России».

Все это было так недавно:
Боян отпел, — и встал иной,
Чтобы размеренно и плавно
Воспеть печаль страны немой.
<...>

[41] Каллиников И. Александр Кошеверов. Братьям героям. Орел, 1915. С. 37.
[42] Современная война в русской поэзии. Пг.: Тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1915. Вып. 2. С. 94.
[43] Современная война в русской поэзии. Пг.: Тип. т-ва А.С. Суворина «Новое время», 1915. Вып. 1. С. 199.

Все это было так недавно:
Не Святославу ль снится сон,
И грустно плачет Ярославна
Среди неутоленных жен.

<...>

Пусть Святослав не верит встрече,
Пусть Ярославна ждет домой, —
Неистовые — Божьи сечи
Нам гневной суждены судьбой[44].

Рюрик Ивнев в стихотворении «Русским воинам» вспомнил о чудо-богатырях Суворова.

Когда от вражеских напоров
Разящий дрогнет меч в руке,
Пусть промелькнет у ваших взоров
Генералиссимус Суворов
В своем походном сюртуке.

И в каждом воине проснутся
Сердца прославленных времен, —
И, сжатые со всех сторон,
Германские полки метнутся
Под свист разорванных знамен.

Пусть совещаются в Бреславле,
Как мощь России сокрушить, —
Вы будете опять тушить
Пожар Европы; мы молить,
Чтоб враг жестокий был раздавлен.

Над вами слава, точно мать,
Склонилась нежно. Ваши муки
Слезами будем омывать
И ваши раненые руки
С любовью нежной целовать[45].

М. Долинова вспоминает в стихотворении «Перед гробницей адмирала Нахимова» защитников Севастополя:

Не гнется в бурю старый тополь
И не боится ветра клен.
Твердыня юга, Севастополь,
И ты в ненастьи закален!

<...>

[44] Отечество // Иллюстрированная летопись: Народная война. 1914. № 7. С. 125—126.
[45] Отечество // Иллюстрированная летопись: Народная война. 1915. № 4. С. 9.

И снова лиру перестроив,
Забыв на время вольный стих,
Я севастопольских героев
Сегодня вижу, как живых...

<...>

Сошел бесшумно с пьедестала
Нахимов — бронзовый моряк.
Душа томиться не устала,
Он чуткий слух едва напряг.

<...>

«Здорово, братья, славных стая,
Спешите правнукам помочь!»
...И рассветала, улетая,
Над ним таврическая ночь[46].

Стихи, которые мы привели в своей статье, были в основном написаны в конце 1914-го, в начале 1915 года. В конце 1915 года обстановка на фронте и в тылу складывалась не в пользу правящих элит. Немцы оккупировали значительную часть Польши, взяли Варшаву. На фронте не хватало снарядов и патронов, снабжение войск продовольствием тоже оставляло желать лучшего. В редакционной статье газеты «Новое время» за 1 января 1916 года говорилось: «Истекающий политический год оставляет русское общество столь мало удовлетворенным, что на прощание ему хочется сказать: он прошел — и слава Богу!»[47] Миф о Святой Руси, ведущей священную войну с тевтонами, оказался исторически несостоятельным, потому что реальность была иной. Вслед за экономическими трудностями пришли политические разногласия в Государственной думе. Если в начале Первой мировой войны и монархисты, и либералы, и социал-демократы были за Отечество (Российскую империю), то в 1917 году единства уже не было. Власть столкнулась еще и с нежеланием простых солдат умирать в окопах. А на горизонте маячили новые политические силы со своим идеологическим мифом — мировой революцией. Война, которую вела Российская империя, будет названа ими «империалистической». Но это уже другая страница нашей истории и другая мифология.

[46] Современная война в русской поэзии. Пг.: Тип. т-ва А.С. Суворина «Новое время», 1915. Вып. 2. С. 24.

[47] Новое время. 1 (14) января 1916 г. № 1431. С. 1.

Владимир КОВАЛЕНКО

НЕФОРМАТНАЯ И НЕФОРМАЛЬНАЯ:

атипичные произведения в мировой литературе

Экспериментальная проза прочно ассоциируется с началом XX века, футуристами и новаторами в искусстве. Но история необычных книг и приемов выразительности в литературе куда старше, чем кажется. Она является чуть ли не ровесником печатного книгоиздания, а может, уходит корнями в рукописную традицию книги. Факты говорят следующее: как только у людей появились возможности, они начали экспериментировать с литературой.

Из статьи вы узнаете о появлении антиромана (еще в XVII веке), об истории экспериментов в литературе, о самых необычных литературных явлениях, о том, как люди дополняли обычный текст изобразительными элементами, о самых удивительных литературных произведениях классики.

Когда мы рассуждаем об искусстве, о том, чем является литература, мы обречены рассуждать о неизмеряемых вещах, проще говоря, об абстракциях. В реальности нам не даны никакие стили, никакие формы и виды искусства — это все мы конструируем. Люди сами определяют жанр, обосновывают его существование и отделяют один от другого. Точнее, не все люди, а те, которым мы делегируем право рассуждать об искусстве. В случае литературы это будут филологи, критики или историки литературы. Об особом влиянии на интеллектуальный процесс представителей тех или иных корпораций (ученых, деятелей искусств) писал очень подробно французский социолог Пьер Бурдье, поэтому мы не будем здесь отдельно останавливаться.

Можем зафиксировать только, что так происходит во всех сферах человеческого мышления. Любой дисциплине присущ процесс создания и классификации абстракций, без этого она просто не может существовать. Отсюда и произрастают, например, споры по поводу принадлежности творчества к каким-либо направлениям тех или иных поэтов и писателей, тех или иных авторов к разным жанрам — это вечная тема, которая не закончится, как дискуссии по поводу разграничения постмодернистской и постструктуралистской философии.

Говоря о литературе, также опасно принимать устоявшиеся абстракции за определенный, нерушимый фундамент. История литературы через призму филологии строится на выработке литературного канона, условно говоря, отборе каких-либо авторов, которые достойны изучения или не достойны.

Примером здесь может выступить популярность Сергея Есенина и практически полное забытье Николая Клюева. Как так получилось, что Есенин вошел в школьные учеб-

Владимир Коваленко — старший преподаватель СЗИУ РАНХиГС, писатель, литературный обозреватель Vatnikstan, победитель форума «Липки-2022», публиковался в журналах «Нева», «Москва», «Дон».

ники, через это получил популярность, а Клюев, этот «патриарх» крестьянской поэзии, собственно, приведший Сергея Александровича на «большую сцену», практически забыт?

Ответ кроется как раз в конструировании того самого литературного канона в СССР, который достался российской школьной программе по наследству. Поэтому, рассуждая о литературе, мы попробуем использовать подход из социальных наук — конструктивистский, применяемый для анализа возникновения народов и культур.

Конструктивистский подход говорит, что все национальные языки и культуры были сформированы благодаря появившимся впервые в истории национальным правительствам. Логика простая: литературная норма языка устанавливается в столице и распространяется на всю территорию государства через школы, газеты и... книги. Тем самым диалекты языка вымирают, а устанавливается единая национальная норма языка.

Вот что пишет об этом профессор Корнеллского университета, автор книги «Воображаемые сообщества» Бенедикт Андерсон:

> Почему эта трансформация должна была быть так важна для рождения воображаемого сообщества нации, можно будет лучше всего увидеть, если мы рассмотрим базисную структуру двух форм воображения, впервые расцветших в Европе в XVIII в., а именно: романа и газеты. Ведь именно эти формы дали технические средства для «репрезентирования» того вида воображаемого сообщества, которым является нация.

Поэтому литературный канон — это не только про школьный учебник, это про понимание народа о себе самом, он напрямую связан с национальным мифом. Находясь внутри литературного канона, выработанного на рубеже XIX—XX веков и ставшего основой для школьной программы, мы привыкли связывать понятие нетипичной литературы, понятие «антиромана» и графических элементов выразительности с движениями футуристов и литературными экспериментами начала XX века.

Однако это канонизированная призма рассмотрения. Дело в том, что сам по себе термин «Антироман» возник еще в 1633 году. Его использовал Шарль Сорель как подзаголовок своего произведения «Сумасбродный пастух». Дело в том, что еще тогда, в XVII веке, написанное им произведение уже надламывало привычные каноны европейского романа, переосмысляя, цитируя «Дон Кихота» и, что наиболее важно, европейские рыцарские романы. При этом Сорель ведет себя как настоящий постмодернист своего времени: он не столько прибегает к механическому заимствованию, сколько к сатире на сам жанр.

Следующей отправной точкой можно назвать творение Лоренса Стерна, а именно роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Это произведение было опубликовано в 1759 году. И многие вещи, которые мы видим в современной экспериментальной прозе, уже были там, почти 300 лет назад.

Произведение достаточно новаторское. Автор как персонаж ломает четвертую стену и присутствует в самом повествовании, что, как считается, нетрадиционно для того времени. Устоявшаяся структура романов была подорвана, так как Стерн прибег к смешению множества фрагментарных событий, накладыванию нескольких сюжетов друг на друга.

Сама книга — это повествование главного героя Тристрама о своей жизни. Главной особенностью является потоковость: рассказчик не может выдать нам никакую информацию коротко; он постоянно расширяет свое повествование и не может остановиться; по поводу каждой мелочи рассказчик поясняет все необходимые и бесполез-

ные факты. Поэтому, собственно, хронологическое начало романа «наступает» только с середины текста. Кроме основной ветки повествования, в книге присутствует множество отступлений и описаний, никак не соотносящихся напрямую с повествованием о главном герое, и получается, что о биографии самого Тристрама мы узнаем крайне мало. Не напоминает «Дом листьев» Марка Данилевского?

Трудно поверить, но в то время автор уже прибегал к приемам гипертекста, например, подмешивал в структуру множество различных чуждых фрагментов, накладывая множество сюжетов друг на друга. Например, Стерн использовал в своем детище отрывки из «Анатомии меланхолии», «О смерти», а также отрывки из многих других произведений.

Ну и самое важное — графика. Стерн включил в произведение разнообразные визуальные методы: цветная бумага в некоторых эпизодах, пустые страницы, что отражает важность участия читателя в романе, черные страницы там, где был печальный отрывок. Самое удивительное, что назвать это произведение экспериментальным просто невозможно. А знаете почему?

Потому что в то время сами каноны европейского романа только складывались. Еще будет творить Руссо, а после него, почти через сто лет, окончательную форму европейского романа создадут Чарльз Диккенс, Лев Николаевич Толстой и многие другие. Можно сказать только то, что эта книга является отправной точкой для всей истории экспериментальной литературы.

Но как это возможно? В XVIII веке, по убеждению большинства историков литературы и филологов, канон классики только формируется. Как литература может играть сама с собой до оформления классики?

Достаточно революционную идею закладывает американский литературовед, почетный профессор в Университете Вирджинии Патрисия Мейер Спакс в монографии «Начало романа: эксперименты в 18 веке английской литературы».

Одной из ее главных идей является то, что к XVIII веку литература уже начала рефлексировать сама над собой. То есть литература той эпохи уже осмысляла и воспроизводила наследие предыдущих лет. Этот тезис разрушает миф о «классике литературы», демонстрируя, что сама по себе привычная нам классика — это переосмысление литературы более ранних эпох, вплоть до средневековья и античности. Поэтому Мейер Спакс и завершает свою книгу как раз главой о труде Стерна — о романе «Жизнь Тристрама Шенди, джентльмена». Она говорит, что этот роман как раз является более чем нормальным для XVIII века, он является не отклонением, а классикой литературы.

Это подтверждает большое количество примеров — можно вспомнить и роман Дени Дидро «Жак-фаталист и его хозяин», который создан как драматургическое произведение, то есть буквально состоит из реплик. Здесь можно привести и работы Эдгара Алана По. Речь идет о его романе «Повествование Артýра Гóрдона Пи́ма из Нантáкета». На этом романе можно остановиться подробнее.

Произведение отличается рыхлой структурой и распадается на две неравные части. Одна часть посвящена описанию событий путешествия, а вторая — фантастическая, связана с идеей полой земли. Рассказ стилизован под подлинные записки главного героя, повествование ведется от имени молодого жителя Нантакета по имени Артур Гордон Пим. Оформление как первых изданий, так и переизданий сделано в форме, отражающей двухфакторную структуру.

И это все 1838 год. Золотой XIX век классической литературы — буквально год назад трагически погиб Пушкин. Читатель может сказать, что пока автор этой статьи привел только несколько примеров атипичных романов. И правда, на страницах обзорной статьи подробно мы можем описать только несколько произведений. Одна-

ко сейчас в зарубежном исследовательском поле идет пересмотр призмы восприятия классической литературы.

Группы исследователей и энтузиастов находят тексты и актуализируют их, потому что для официальной истории литературы, той самой, которую изучают в школах и университетах, они просто не существуют. Среди недавно найденных атипичных произведений можно назвать повесть, стилизованную под научную статью «Открытия, недавно сделанные сэром Джоном Гершелем, доктором философии, на мысе Доброй Надежды» 1838 года. Повесть была настолько искусно создана (в ней были описаны открытия о том, что люди и животные существовали на Луне), что на короткое время докладу поверили в научных кругах Соединенных Штатов и Европы. Разумеется, когда стилизация вскрылась, был большой скандал, даже в академиях наук.

Здесь можно вспомнить и «Век науки: газета двадцатого века». Повесть, стилизованная под газетные материалы, которая издавалась под псевдонимом «Мерлин Нострадамус», оригинальным автором была Фрэнсис Пауэр Кобб, ирландская журналистка и активистка женского движения. Это фантастическое антиутопическое произведение, описывающее жизнь в XXI веке, изобретение и социальные изменения. Дата газеты — 1 января 1977 года. Самое забавное в наше постковидное время то, что Фрэнсис Кобб описала, что медицина в будущем особенно могущественна и парламент полностью состоит из медиков, которые действуют в своих собственных интересах. Людей казнят за такие ереси против науки, как гомеопатия, религия и отказ от вакцинации.

Сюда же можно отнести труд Эдварда Бульвер-Литтона «Странная история», которая публиковалась в журнале Диккенса круглый год с августа 1861-го по март 1862 года под названием «Автор моего романа Риенци». Она вышла отдельной книгой в 1862 году с предисловием, добавленным по предложению Диккенса. Рассказчик и главный герой Аллен Фенвик — врач и научный исследователь экстраординарных явлений. Роман представляет собой последовательный диалог между его собственным рациональным материализмом и персонажами, выражающими противоположные взгляды на реальность. Этот диалог помещает странную историю в контекст дебатов середины века о месмеризме и связанных с ним проблемах, включив многочисленные намеки на литературные и научные труды, сопоставление которых иллюстрируется в двух сносках.

Примеров подобных трудов — большое количество. Существуют даже специальные альманахи, чья цель состоит в поиске, исследовании и актуализации утраченных атипичных текстов.

Можно сказать, что современное восприятие истории литературы опирается на канон, ориентированный на «классическую» литературу, на всем знакомый текст, рассказывающий про героя, его историю, «дугу характера», завязку, кульминацию и прочее. Нетипичным, экспериментальным и необычным форматам подачи истории обычно уделяется очень мало внимания. А вспоминают об этом только в рамках футуризма, авангардизма или современных явлений, вроде книг Марка Данилевского.

Однако мировая литература хранит большое количество образчиков уникального подхода к тексту как к линейному повествованию, как совокупности приемов изобразительности, где картинки, текст, верстка, стилизация являются способом донести смысл. Можно пойти еще дальше и вспомнить древние индийские вееры в виде книг или чворогранистые стихи Симона Полоцкого и т. д. Оформления текста, который сейчас начинает актуализироваться и становится нормальным, использовали и такие классики, как Милош Црнянский, Павел Зальцман, Хулио Кортасар, Станислав Лем, Милорад Павич и многие другие.



Территория памяти

Елена ВОСКОБОЕВА

ТВОРЧЕСКАЯ И СЦЕНИЧЕСКАЯ ИСТОРИИ САТИРИЧЕСКОГО ОБОЗРЕНИЯ Е. Л. ШВАРЦА «ПОД КРЫШАМИ ПАРИЖА»

(к постановке темы)

В 1952 году Аркадий Исаакович Райкин выступает на сцене Ленинградского театра миниатюры со спектаклем «Под крышами Парижа»[1]. Этот спектакль для него написали Константин Алексеевич Гузынин (1900—1993) и Евгений Львович Шварц (1896—1958). Оба автора к этому времени были достаточно известными в своей среде: Гузынин — как автор фельетонов и сатирических обозрений, Шварц — как драматург и писатель. Оба состоялись как творческие личности, пережили войну и получили медаль «За оборону Ленинграда».

Несмотря на очевидные биографические и театральные пересечения создателей, соавторство давалось тяжело: Шварцу непросто было работать не в одиночку, он до-

Елена Владимировна Воскобоева — кандидат филологических наук, шварцевед, специалист в области русской литературы XX века. Научный редактор Издательского дома «Петрополис» (Санкт-Петербург). Автор публикаций по истории русской литературы. Автор-составитель сборников «Е. Л. Шварц. Стихотворения» (СПб., 2016), «Е. Л. Шварц. Стихотворения. Раешники» (СПб., 2018), «Е. Л. Шварц. Голый король: Пьесы» (СПб.: Вита Нова, 2019), «Е. Л. Шварц. „Ленинград стал фронтом...“: произведения 1941—1945 годов» (СПб., 2022).

[1] Текст пьесы не опубликован. Машинопись спектакля см.: архив Е. Л. Шварца // РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 3. Ед. хр. 11.

статочно ревностно относился к своим текстам и редко подпускал к ним близких людей и друзей. Гузынин не был ни близким человеком, ни другом.

Аркадий Райкин был для Шварца человеком не новым:

> Увидел я Райкина задолго до войны. Году, вероятно, в 35-м. <...> Совсем юный, высокий, кудрявый, черноволосый с наивными, печальными, огромными глазищами <...> И в нашей маленькой столовой показал он кусочки своих номеров так скромно и изящно, что ни разу я не смутился, слушая. И уже тогда угадывалась в нем одна его черта: это был неутомимый работник (запись от 19 апреля 1956 года)[2].

Эта запись появилась в дневнике Е. Л. Шварца лишь в 1956 году, когда писатель создавал свою «Телефонную книжку». Первые же записи о Райкине и работе над эстрадным спектаклем/сатирическим обозрением/«пэсой» (по выражению директора Театра миниатюр Григория Давидовича Тихантовского) появились в дневнике в сентябре 1951 года:

> Я согласился переделывать для Райкина обозрение, которое ставил у него Акимов. Репертком требует больших переделок. Автор обозрения — Гузынин. <...> Я немедленно отказался работать. Райкин (дух этот исходил отнюдь не от него) и Гузынин (тоже обезоруживающий добродушием), и Акимов стали уговаривать меня, и я дрогнул. И вот сел работать. Работа, к моему удивлению, вдруг пошла. Я написал заново первую сцену обозрения. Потом, уже сегодня, монолог в четыре страницы для Райкина. Все это как будто получается ничего себе. Все это приятно писать, оттого что я застоялся. Эстрадная атмосфера <...> сейчас забыта мной начисто. Виной этого ощущения был, вероятно, Тихантовский, директор театра. Он выслушал план переделок холодно. <...> Он стал говорить, что при таком плане переделок получится не обозрение, а «пэса». Пьесы же их театр играть не может (запись от 26 сентября)[3].

Шварц подробно описывает творческую историю пьесы, свои взаимоотношения с Райкиным и Гузыниным. Эта работа дается ему нелегко:

> Итак, пустой и мрачный этот год [1952] приходит к концу. Для меня он затемнен мучительной работой для Райкина (запись от 31 декабря 1952 года)[4].

Очень долго в дневнике не появляется название пьесы, даже рабочее, Шварцу это не свойственно: версии, редакции названий и текстов всегда присутствуют в дневниковых записях, поэтому и восстановить творческую, сценическую, киноисторию произведений достаточно легко. Итак, впервые название обозрения «Под крышами Парижа» отмечено в записи от 2 апреля 1952 года:

> Спектакль у Райкина идет сегодня в пятьдесят второй раз, а денег за него не перевели до сих пор. <...> Я устал. Я сегодня смотрел спектакль у Райкина — все тот же «Под крышами Парижа». Он хотел, чтобы я посмотрел, как получается он у них в Выборгском Доме культуры на большой аудитории. «Никогда мы не имели такого

---

[2] Е. Л. Шварц. Ленинградская телефонная книжка / Предисл. В. Перельмутера, коммент. К. Н. Кириленко. М.: АСТ, 2019. С. 383.

[3] Дневниковая запись не опубликована. Машинопись дневника см.: архив Е. Л. Шварца // РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 54.

[4] Дневниковая запись не опубликована. Машинопись дневника см.: архив Е. Л. Шварца // РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 58.

> успеха, — рассказывал Райкин. — Нас не отпускает публика. Приезжайте посмотреть. Я за Вами заеду». Я согласился. И немедленно почувствовал, что сегодня спектакль будет идти хуже. Так оно и вышло. Успех был и даже больше, чем в эстрадном театре, но меньше, чем обычно в Доме культуры. Самый маленький успех за семь дней, что они тут играют[5].

Возможно, для Шварца прописывание названия в дневнике обозначало завершение «мучительной» работы над текстом. С другой стороны, спектакль на тот момент прошел уже более пятидесяти раз! Но работа над ним продолжалась: сам Райкин постоянно менял сцены, добавлял новые, убирал наигранные и устаревшие. В процесс создания также включались Главлит и Министерство иностранных дел: Тихантовский постоянно ездил в Москву согласовывать текст и возвращался в Ленинград со множеством замечаний и «пожеланий» корректуры.

Источником сюжета для Райкина стал французский фильм «Под крышами Парижа» (1930), первая звуковая режиссура Рене Клера. В России фильм вышел на экран 25 февраля 1935 года, он имел оглушительный успех и вдохновлял советских режиссеров и актеров на сатирическую и юмористическую работу: так во второй половине 1930-х годов открылись Московский театр эстрады и миниатюр (в труппу которого вошли М. Миронова, Р. Зеленая, Т. Пельтцер, А. Менакер, Р. Юрьев и др.), Театр миниатюр при Доме печати в Ленинграде (здесь играли актеры Н. Копелянская, А. Арди, А. Орлов, И. Горин, Е. Грановская, К. Гибшман, С. Тимошенко), Театр миниатюр при Доме Красной Армии, Театр миниатюр под руководством И. Дунаевского в помещении бывшего Ленинградского мюзик-холла[6]. К сожалению, театральная судьба была недолгой, театры не выдерживали больше одного сезона и закрывались.

Исключением стал Ленинградский театр эстрады и миниатюр, который открылся в 1939 году и существует до сих пор. Аркадий Исаакович аккуратно подбирал репертуар, сотрудничал с лучшими режиссерами и актерами Ленинграда и Москвы, оттачивая технику мгновенного перевоплощения. Жанр микроминиатюры, так горячо любимый артистом и так изящно раскрывавший его талант, в очередной раз объединил Райкина и Шварца. В 1940-е годы, уже во время войны, они активно сотрудничали: Шварц написал для него скетч «Ать-два!»[7], собрав «отходы»[8] от пьесы «Принцесса и свинопас», над которой в то время работал. Райкин и артисты его театра читали эту миниатюру на фронте:

> Ф е л ь д ф е б е л ь. Опять штатские штучки? Опять штатские дрючки? Запомните — отныне вы будете делать все по команде! Поняли? Только по команде. Говорить по команде, думать по команде, чувствовать по команде. А пока я не скомандовал — стой смирно. Я эту пьесу, согласно приказа, выучил наизусть, так что командовать теперь могу вполне отчетливо. Начнем. Рядовая! На середину плаца, полная нетерпения, грациозно выпо-о-о-р-хни! Грациозней! Еще грациозней, корова! Так. Рапор-туй!

---

[5] Дневниковая запись не опубликована. Машинопись дневника см.: архив Е. Л. Шварца // РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 56.

[6] Подробнее об этом см.: Е. Д. Уварова. Аркадий Райкин. М.: Искусство, 1986. С. 58—59.

[7] Впервые опубликован: Е. Л. Шварц. «Ленинград стал фронтом...». Произведения 1941—1945 гг. / Сост., подг. текстов, вступ. ст. и коммент. Е. В. Воскобоевой. СПб.: ИД «Петрополис», 2022. С. 370—374. Машинопись выступления см.: архив Н. П. Акимова // РГАЛИ. Ф. 2737. Оп. 1. Ед. хр. 295.

[8] Е. Л. Шварц в письме Н. П. Акимову от 20 января 1943 года «отходами» назвал фрагменты пьесы, не вошедшие в окончательную редакцию текста: «В качестве новогоднего подарка посылаю Вам скетч моего сочинения под названием „Ать-два!“. Написал в октябре. Сделал из отходов „Принцессы и свинопаса“, идет у Райкина. Может, пригодится Вам» (Из переписки Е. Л. Шварца. 1913—1958 / Подг. текстов, сост., вступ. ст. и коммент. Е. М. Биневича. СПб.: ИД «Петрополис», 2016. С. 277).

А к т р и с а. Ах, ах, луна сияет так приветливо и ласково, а мой дорогой Ганс не пришел...

Ф е л ь д ф е б е л ь. Нет, нет, нет! Не то, не то... Разве так рапортуют, балда? Рапортуй ровно, отчетливо, лихо.

А к т р и с а *(ровно, лихо, без интонаций)*. Ах, ах, луна сияет так приветливо и ласково, а мой дорогой Ганс не пришел на свидание[9].

Поэтому когда режиссер Н. П. Акимов, работавший над постановкой «Под крышами Парижа», обратился за помощью к Е. Л. Шварцу, Райкин был только рад. Известный лирический сюжет был адаптирован для советского зрителя: артист и музыкант Парижского мюзик-холла Пьер Жильбер, творческий и свободолюбивый человек, вставляет без согласования с руководством в свои фельетоны и сценки вольнодумные реплики. Ситуация осложняется тем, что Франция, изображенная в спектакле, оккупирована американцами. Жильбер становится символом противостояния двух властей: свободной духом Франции и яростной, жестокой Америки — двух культур, двух совершенно разных идеологий. Тяжелая политическая ситуация подталкивает Пьера к революционным действиям, призыв к активности и освобождению звучит как раз через его сценки; искусство, по его мнению, должно освободить от насильственной власти:

На что я здесь вам намекал,
Все поняли вы сами.
Но я ведь вас предупреждал,
Что это между нами.

Я, между нами говоря,
Подсказывает разум,
Что можно их прогнать, друзья,
Поднявшись дружно, разом!

Одной стеной! Одной волной!
Да вспыхнет гнева пламя!
Тогда и мерзости такой
Не будет между нами![10]

Жильбера после исполнения этой песенки и сатирических куплетов-карикатур на политических деятелей (песня «Коллекция жуков») увольняют из театра, вслед за ним уходят другие актеры. Разозлившееся руководство и судебные приставы, получившие соответствующий приказ, лишают Пьера и его жену квартиры; они вынуждены поселиться на мансарде, где вместе с другими актерами — без финансовой поддержки, без декораций, без костюмов, но с надежными, ответственными людьми — основывают собственный народный театр, целью которого становится достучаться до общества и противостоять той власти, которая сейчас главенствует в Париже. Союзником Франции в борьбе за свободу выступают Советский Союз и советские граждане:

П ь е р *(обращаясь к окнам)*. Выше голову, друзья! Громче голос! Мы не одни! С нами люди великой Советской страны. Плечом к плечу мы вместе боремся за счастье, за жизнь.

В с е. За мир!

[9] Ать-два! // Е. Л. Шварц. «Ленинград стал фронтом...». Указ. изд. С. 371.

[10] Текст песни написал поэт М. А. Светлов.

Первая рецензия на спектакль вышла спустя полгода: 9 июля 1952 года в газете «Советское искусство» была опубликована статья Ю. Дмитриева «Вопреки теме и жанру», которая окончательно расстроила Е. Л. Шварца:

> <...> за обозрение, написанное с таким отвращением и мучениями, и унижениями, меня ругают. Прощай, Райкин! (запись от 10 июля 1952 года)[11].

Автор статьи объективно оценивает спектакль: он отмечает отсутствие целостности композиции и образов произведения. Пьеса, на его взгляд, создана для Райкина специально, чтобы предоставить ему «возможность для гастрольного самовыражения»[12]. Единственным плюсом спектакля Ю. Дмитриев назвал обращение к важнейшим темам современности, но, увы, тема эта недостаточно раскрыта.

Так, проблема жанра, точно подмеченная современниками и не разрешенная авторами обозрения/пьесы, привела к негативной оценке. Гузынин и Шварц не существовали гармонично, соавторства не состоялось: Гузынин — эстрадник, Шварц — прежде всего именно театральный, а не эстрадный драматург. Каждый из них постоянно пытался перетянуть другого на свою жанровую сторону, поэтому и обозначения произведения были различными: для Гузынина — сатирическое обозрение, для Шварца — пьеса, для Тихантовского (напомним) — пэса.

Эстрадный опыт оказался для Шварца неудачным, и по завершении работы над спектаклем «Под крышами Парижа» он полностью посвятил себя сказке «Обыкновенное чудо».

Приложение

По окончании работы над пьесой Евгений Львович Шварц написал «Шуточные стихи, посвященные труппе Ленинградского театра миниатюр под руководством А. И. Райкина в связи с премьерой спектакля „Под крышами Парижа“»[13].

Мон ами Райки́н, мон шер конфрер,
это пишу тебе я — Пьер Жильбер!
Побывал я у вас инкогнито́ —
и, клянусь, вы играете не то!
Не то что наши гнилые варьете
под управлением Мюрте.
Шлю большое мерси с далекого Монмартра
и тебе, мон ами, и всей труппе театра.
Привет тебе, дорогая Ро́ма,
твой голос громче грома,
а игра крепче рома.
Когда в кафе
ты кричала американцу — фэ!
Или, когда в музее,
вся в роскошной парижской бумазее,
ты вопила дочке: «Жюли!» —
я шептал: «Ай-люли, ком се жоли!»

[11] Дневниковая запись не опубликована. Машинопись дневника см.: архив Е. Л. Шварца // РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 56.

[12] Ю. Дмитриев. Вопреки теме и жанру // Советское искусство. № 55 (1443) от 9 июля 1952 года. С. 3.

[13] Читай, соблюдая ударения! Р. Gilbert *(прим. автора)*.

И тебе шлю приве́т,
мадемуазель скеле́т,
она же мадам Жильбер,
она же полицейский офицер,
погибающий между прочим, как-то
в начале второго акта.
Говоря всерьэз,
в Комеди Франсэз
артистке хватило бы этих ролей на века,
дорогая Горше́нина Вика́,
задевшая мое сердце слегка.
Привет, Малоземова Ольга́, —
тебе не дали играть ни фига́,
но ты не падай душой,
талант у тебя большой.
Возьмешь свое в следующей программе,
но это между нами.
Расцветали яблони и груши,
сокращали авторы музей,
шлю привет, Сипавина Катюша,
ты теперь в числе моих друзей.
О Птицина Тамара́!
Ты достойна выступать в Гранд Опера!
Твоя прелестная фигурка
соблазнит и европейца, и турка!
При виде тебя и во мне просыпается звэр,
хотя я положительный Пьер Жильбер.
И вы, Маслюковы братья,
придите в мои объятья,
и ты, Герма́н Новико́в,
и ты, Вади́к Деранко́в.
Вади́к ты или Ва́дик,
но подчас ведешь себя как гадик.
Нынче играешь как бог,
а завтра — как блох
(мужской род от блоха),
а эта манера плоха.
Привет тебе, Юзи́к,
за твой отличный мюзи́к,
а тебе, Ю́зик,
за твой мю́зик.
Еще раз целую всех оптом
и делюсь с Аркадием опытом.
Мон шер Аркаша́,
только ты спектакля душа.
Ну, актеры еще нужны,
пока мы меняем пиджак и штаны,
но все эти авто́ры, режиссеры — просто нуль, зеро.
Я бы всем им вставил перо.
Да и вставляю после премьеры —
вот мы какие, Пьеры Жильберы.
Впрочем, делай это с лаской и приветом,
чтоб люди и не догадывались об этом.

Ты с ними не говори, а воркуй,
на все отвечай им: «Уй»,
или, по-вашему, — «Да»,
но не связывай себя этим никогда.
Глядишь — и автор тю-тю,
и режиссер тю-тю, —
играй себе эмпромтю!

Прощай навек, мон шер конфрер,
Известный тебе (Пьер Жильбер)[14].

Примечания

Мон ами — мой друг (франц. *mon ami*).

Райкин — Аркадий Исаакович Райкин (1911–1987), актер театра, эстрады и кино, конферансье, театральный режиссер и юморист.

Мон шер конфрер — мой дорогой маэстро (устаревший вариант: собрат, коллега) (франц.: *mon cher confrère*).

Варьете, / под управлением Мюрте. Имеется в виду место действия спектакля «Под крышами Парижа» — Парижский мюзик-холл Мюрте.

Дорогая Ро́ма... Рома — псевдоним актрисы и литератора, жены А. И. Райкина Руфи Райкиной-Иоффе (1915—1989).

«Ай-люли, ком се жоли». Ай-люли — компонент припева в народных песнях; *comme ce jolie* (франц.) — какие миленькие.

«Комеди Франсез» — Comédie-Française, или Французский театр (Théâtre-Français) — единственный во Франции репертуарный театр, финансируемый правительством. Имеет неофициальное название «Дом Мольера». Основан в 1680 году.

Дорогая Горше́нина Вика́... — Виктория Захаровна Горшенина (1919–2014) — актриса Ленинградского театра эстрады и миниатюр под руководством А. Райкина (1943–1987). В кино актриса практически не играла. А. И. Райкин почти не позволял Горшениной сниматься, исключая некоторые картины ее мужа, режиссера Яна Фрида (например, «Сильва», «Прощание с Петербургом», «Вольный ветер», «Дон Сезар де Базан», «Тартюф»). Критики называли ее «королевой эпизода советского юмора». Написала автобиографическую книгу «Прошлое не отменяется» (2007).

Привет, Малоземова Ольга́... — Ольга Николаевна Сурина (Малоземова) (? — 1988) — актриса, заслуженная артистка РСФСР (1969). В 1925–1930 годах работала в театре «Кривое зеркало» (Ленинград), в 1930–1933 годах выступала в Театре малых форм, с 1939 года и до выхода на пенсию — в Ленинградском театре эстрады и миниатюр под руководством А. И. Райкина.

Сокращали авторы музей — вероятно, Е. Л. Шварц пишет здесь про Музей Гревен (Музей восковых фигур в Париже), куда отправляются мадам с дочерью Жюли (отделение 2, картина 5, интермедия 6). Они видят в музее восковых фигур Пьера Жильбера, который в это время находится в бегах (его ищет жандармерия). Неожиданно фигура оживает: «Сторож. Музей Гревен не отстает от жизни ни на один час, мадемуазель... Преступление только что совершено, иной раз преступник еще не найден, а восковой слепок негодяя уже стоит в нашем всемирно известном кабинете <...>» (архив Е. Л. Шварца // РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 54).

[14] Впервые оп.: Е. Л. Шварц. Стихотворения. Раешники: Сборник / Сост., вступ. ст. и коммент. Е. В. Воскобоевой. СПб.: ИД «Петрополис», 2018. С. 227—229.

Шлю привет, Сипавина Катюша... — Екатерина Григорьевна Сипавина, актриса театра А. И. Райкина, затем — актриса Центрального театра кукол им. С. С. Образцова.

О Птицына Тамара́! — Тамара Абрамовна Птицына (1918–1974) — артистка цирка и эстрады, акробатка, заслуженная артистка РСФСР. Во время блокады Ленинграда выступала в составе различных концертно-фронтовых бригад. В 1947 году вошла в состав труппы Ленинградского театра миниатюр под руководством А. И. Райкина, где работала до 1949 года.

«Гранд-опера» — Grand Opéra — французский оперный театр и крупнейший центр музыкально-театральной культуры. Основан в 1669 году как Королевская академия музыки королем Людовиком XIV.

И вы, Маслюковы братья... — имеются в виду Леонид (1913–1992) и Александр Семеновичи (1912–1984) Маслюковы, акробаты, цирковые артисты, выступавшие в паре. Работали в цирке до 1937 года, в дальнейшем на эстраде. Л. С. Маслюков с 1940 года выступал в паре с Тамарой Птицыной. К труппе театра А. И. Райкина присоединились в 1947 году (вплоть до 1949 года), затем выступали на Мосгосэстраде, ВГКО (Всероссийском гастрольно-концертном объединении), Росконцерте (1954–1965).

И ты, Герма́н Новико́в... — Герман Андреевич Новиков — заслуженный артист РСФСР (1969). В 1920-е годы — актер Ленинградского ТРАМа. Был одним из ведущих артистов театра А. Райкина (Малого художественного эстрадного театра).

И ты, Вади́к Деранко́в... — Вадим Деранков — актер Ленинградского Нового ТЮЗа с 1943 года (театр находился в эвакуации в Сибири), в 1940–1950-х годах играл в Ленинградском театре миниатюр (был партнером А. И. Райкина), затем перешел в Ленинградский театр им. В. Ф. Комиссаржевской, но в 1960–1970-х вернулся в театр А. Райкина.

Привет тебе, Юзи́к... а тебе, Ю́зик... По мнению известного композитора, пианиста и музыковеда С. М. Слонимского, автором музыки к спектаклю был Исаак Шварц, к нему и обращено стихотворное приветствие Евгения Шварца (а именно так — Юзиком — называли его друзья и близкие). В кн.: Уварова Е. Д. Аркадий Райкин. М., 1986. С. 145 — указано, что автором музыки к спектаклю был Г. В. Свиридов. Однако в кн.: Георгий Свиридов: Полный список произведений (нотографический справочник) (М.; СПб., 2001) — музыка к этому спектаклю не обозначена. Судя по всему, Свиридов не являлся настоящим автором.

Мон шер — мой дорогой, милый (франц. *mon cher*).

На все отвечай им: «Уй» — да (франц. *oui*).

Играй себе эмпромтю! — импровизация (франц. *Impromtu*), экспромт.

Искусство чтения

Андрей ГОРБАЧЕВСКИЙ

КАРТИНА МИРОЗДАНИЯ В РОМАНЕ «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Несмотря на то, что с момента публикации романа прошло более полувека, споры критиков о нем не прекращаются и, видимо, не прекратятся никогда. Причина понятна — выдающийся мистический роман и не может быть трактован однозначно. Ответить на два главных вопроса читателю придется самому:

— Кто является главным героем?

— Какое послание хотел передать автор миру?

Разгадку главного героя указал сам Булгаков, использовав известный прием: когда нужно спрятать какую-то вещь, то прячь ее на самом видном месте. Уже в эпиграфе написано: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Действительно, все герои Романа действуют по сценарию Воланда и его свиты. Однако ответы и на этот достаточно простой вопрос разнообразны. Например, в одном из современных учебных пособий по литературе доказывают, что главным героем является Иван Бездомный. Он единственный добился успеха: сделал карьеру и стал профессором. Как авторы ухитрились позавидовать душевнобольному? Осталось дело за «малым»: догадаться, что автор хотел поведать миру.

В отличие от булгаковедов я решил изучать только текст, публикуемый по последней прижизненной редакции, хранящейся в рукописном отделе РГБ с исправлениями и дополнениями, сделанными под диктовку писателя его женой, Е. С. Булгаковой. Можно следить за тем, как развивалась мысль автора от редакции к редакции, но невозможно догадаться, под действием каких озарений эти изменения произошли. Соответственно, нельзя и искажать волю автора. Булгаков перерабатывал роман много раз и отверг множество сюжетных ходов. Изменения образов происходили радикальные. Маргарита в ранней версии во время бала ведет себя как ведьма-развратница, но в окончательной версии от этого не остается и следа. Большинство булгаковедов либо разыскивают прототип, навеявший писателю тот или иной образ, либо исследуют,

Андрей Алексеевич Горбачевский родился в 1948 году в Латвии. С 1955 года проживает в Москве. В 1973 году окончил Московский физико-технический институт. Радиоинженер. Работал в оборонных НИИ. Печатал только научно-технические статьи. Данная статья — первый литературный опыт.

что символизируют различные явления природы. Поскольку каждый волен видеть в любом символе что-то свое, то такие трактовки будут продолжаться до скончания времен (но не в данной статье).

К сожалению, желающих заняться скучной работой по систематизации картины мироздания по Булгакову, которая связала бы все планы романа, не находится. Зато находятся желающие обвинить автора в дьявольщине, «ударить, и крепко ударить, по Пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить ее в печать». Заранее прошу прощения за самонадеянную попытку защитить Булгакова от таких обвинений.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ФИЛОСОФСКАЯ ЦЕЛЬ РОМАНА. РОЛЬ СВЕТА И ТЬМЫ

Загадочность в изображении сил природы

В богословских текстах часто утверждается, что «Бог есть Свет и нет в нем никакой тьмы». Однако у Булгакова картина света и тьмы оказывается значительно более сложной. В первую очередь бросается в глаза описание воздействия солнца. Нигде в романе солнце не светит мягко и ласково. Начиная с первой сцены солнце для всех является мучителем. Берлиозу и Бездомному на Патриарших прудах так жарко, что, «кажется, и сил не было дышать». В сцене допроса Иешуа прокуратор увидел, что «луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца». Но самое изнуряющее описание действия жары приведено в сцене казни. Страдают и толпа зевак, и легионеры, и казнимые. Никакого вреда солнце не приносит только ящеркам и Крысобою. В остальных эпизодах воздействие солнца не описывается, оно нейтрально.

В противоположность солнцу, луна всюду благотворна. После окончания Воландом рассказа о Понтии Пилате «появилась полная Луна. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами звучали мягче, по-вечернему». Во время полета Маргариты на купание перед балом свет луны ее приятно согревает, и вода в реке теплая. Во время последнего полета в финале романа луна всех успокаивает и выявляет все тайны. В прощальных сценах герои уходят по лунным дорожкам, а Иван Николаевич счастливо засыпает тогда, когда луна будто закипает и заливает своим светом его комнату.

В последующих главах придется искать ответа на вопрос: почему в романе Луна явно благотворнее Солнца?

Действие грозы и огня не столь загадочны. Грозовые тучи появляются в критические моменты перехода героев из земного плана бытия в более высокий. В сцене казни туча является еще и грозным предупреждением, показывающим отношение Высшей силы к происходящему. Поэтому во время казни туча страшна.

«Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из нее время от времени вываливались огненные нити». Эта туча появляется как ответ на страстную молитву Левия Матвея о даровании смерти его безвинному учителю. Она же обращает в бегство участников казни.

Похожая гроза происходит и во время прощания Мастера и Маргариты с Москвой после их отравления. Перед грозой очистительный огонь сжигает дом, связывающий их с прежней жизнью, а гроза как бы смывает все следы. Поэтому и действие этой грозы уже гораздо мягче. Только первый удар молнии в тот момент, когда Воланд исчезает

с крыши дома Пашкова, сотрясает Москву, но последующие удары уже никого больше не пугают. Во время этой грозы Иванушка спрашивает у Прасковьи Федоровны о судьбе пациента № 118. В тот момент, когда она отвечает, что пациент скончался, вспышка молнии освещает ее. Наиболее безобидная гроза происходит во время написания Иваном, попавшим в клинику Стравинского, заявления в милицию. Эта гроза знаменует переход от Ивана прежнего (атеистического) к Ивану новому (задумавшемуся).

Огонь у сил тьмы играет особую роль: «Тогда огонь! — вскричал Азазелло. — Огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем». Такой огонь действует подобно богу Шиве в индуизме, который уничтожает все отжившее. Огонь сжигает Массолит, Торгсин, нехорошую квартиру... Новые здания будут лучше прежних.

Воланд действует

Мнения читателей о Воланде обычно полярны. Одни считают его врагом человечества, другие замечают, что наказывал он только тех, кто это заслужил. По моему мнению, нельзя смешивать господствующее в народе отношение к сатане и образ сатаны, даваемый Булгаковым. Не зря автор уже в эпиграфе подчеркнул, что темная сила в итоге «сотворяет благо». Важно отметить, что Булгаков не удовлетворился известными переводами с немецкого, а сделал перевод эпиграфа сам.

Кого Воланд наказал жестче других? В романе это безбожник Берлиоз. Но почему его напарник по безбожию Иван наказан гораздо мягче? Ответ в романе не приводится, но догадаться нетрудно. Берлиоз был убежденный атеист, обладающий широкими познаниями в религиоведении и сознательно желающий насадить безбожие. Иван был невежда, который слепо повторял лозунги большевистской пропаганды. Впечатление о беседе Воланда с этими атеистами складывается такое, что приговор Берлиозу был вынесен еще до встречи. Воланд, как и Пилат, должен лишь проверить дело и утвердить приговор. Тем не менее он как Высший прокурор дает Берлиозу с Иваном последний шанс. Вначале Воланд убеждается что они не верят ни в Иисуса, ни в Бога и они атеисты. Затем он приводит различные доказательства бытия Божия. Берлиоз оказался неисправим, а Иван, хоть и впоследствии, свой шанс использовал. Даже кажется, что Воланду тоже ничто человеческое не чуждо. Наверное, он вначале не собирался наказывать невежду, как и других москвичей, строго, но усилил наказание Ивана за то, что Иван оказался упрям: «Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету!» В результате Иван сам стал душевнобольным, встретился с Мастером и получил разъяснения о таинственном консультанте.

Тяжесть наказаний других персонажей тоже можно выстроить по ранжиру. Второй погибший — барон Майгель — был отвратительным наушником, а под конец решил последить за самим сатаной. Он не чувствовал, с какой энергетикой он решил поиграться, безрассудно полез в будку высоковольтного трансформатора и, прикоснувшись, сгорел.

Немало пострадало и все руководство Варьете, которое тоже образцом морали не назовешь. Больше других пострадал финдиректор Римский, узнавший от вампира Варенухи о вопиющих безобразиях директора Лиходеева: «— Ага... Ага... Ну ладно, ладно... — не проговорил, а как бы пропел Римский. Глаза его засветились желтеньким светом. В голове сложилась праздничная картина снятия Степы с работы». Сам Степа не был столь сладострастно мстителен. Он всего лишь: «вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыс-

лят в том, что им поручено. Начальству втирают очки! — Машину зря гоняет казенную! — наябедничал и кот».

Поэтому наказание Степе пошло только на пользу. «Его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку, настоянную на смородиновых почках, отчего очень поздоровел. Говорят, что стал молчалив и сторонится женщин».

Пострадали и сотрудники Варьете, и зрители, желающие пощекотать нервы, посмотрев в Чистый четверг сеанс черной магии с полным ее разоблачением. Чуть-чуть пострадал даже бухгалтер Ласточкин, который на представлении вообще не был, но он сдавал денежную выручку за бесовский сеанс.

Среди зрителей больше других был наказан раздувшийся от осознания собственной важности председатель акустической комиссии Семплеяров. Он потребовал разоблачения черной магии, а оказался разоблаченным сам.

Иногда свита (но не сам Воланд) позволяла себе повеселиться. Например, регент и запевала приучил работников зрелищной комиссии петь хором даже тогда, когда они этого не желали. Ведь участвовали же они во множестве кружков в угоду начальству и в ущерб работе. Да и роль самой зрелищной комиссии в сталинские времена позитивной не назовешь. В основном она запрещала постановки неугодных авторов. Не зря вместо ее председателя в кабинете вполне мог сидеть костюм.

Теперь подходим к главному в этом разделе. Рассмотрим роль, которая, по Булгакову, в мироздании отведена самому сатане. В первую очередь он искуситель (искус — проверка), изучающий качества людей. Иногда колеблющемуся змей-искуситель (например, Азазелло — последнему гостю бала) намеренно нашепчет что-то соблазнительное, и морально нетвердый проверяемый падет. Если человек оказывается особым грешником, то такого сатана забирает в свое подземное «ведомство» на перевоспитание. Если слово «наказание» считать производным от слова «наказ» (наставление), то получается, что сатана всего лишь объясняет грешникам, как себя вести не следует.

Для простоты можно сравнить роль Воланда с ролью начальника отдела технического контроля (ОТК) на заводе. Он подвергает изготовленные детали множеству испытаний: жарой, холодом, тряской, кислотой, высоким напряжением и т. д. Для рабочих завода он сущий дьявол, бракующий их продукцию, лишающий премии и практически никогда, не поощряющий. Однако Высший Директор завода никогда не откажется от ОТК, так как знает, что без таких придирок рабочие быстро перестанут стараться, и продукция завода станет непригодной.

Можно привести и биологический пример. Общеизвестно, что волк является злейшим врагом зайцев. Однако биологи доказали, что волки легко ловят и пожирают только больных зайцев. Если волков уничтожить, то число зайцев сначала растет, а затем начинаются эпидемии и число зайцев резко уменьшается. Природа нуждается в балансе добра и зла. В итоге оказывается, что во всем романе явных высказываний автора с осуждением роли сатаны нет.

Изображений сил света в романе почти не встречается. Большинство персонажей московских глав романа являются обычными людьми со своими страстями и недостатками. Само государство также не образец добродетели. Из-за его политики «квартирный вопрос их испортил», а другие вопросы решаются «где надо». За какие заслуги учреждениями руководят степаны богдановичи и прохоры петровичи, автор даже и не намекает. Писателями считаются не обладатели таланта, а обладатели удостоверения и т. д. Единственным исключением в этой подпорченной массе персонажей можно посчитать добрую и праведную фельдшерицу Прасковью Федоровну.

Роман в романе (Понтий Пилат)

Многие авторы критикуют библейские главы романа за искажение Евангелий и даже называют их антиевангелием. Однако Булгаков намеренно изложил историю так, чтобы с Евангелием не совпала почти ни одна деталь, кроме имени Понтий Пилат. О нем эти главы и написаны, а в этом случае Булгаков имеет право создать своего Иешуа. Профессор Ужанков называет его бродягой Иешуа Га Ноцри. Воланд же представляет свой вариант сына Света — Иешуа. В рассказе о суде Пилата происходит несложная проверка: примет ли читатель такую версию или основательнее познакомится с Евангелием. В тридцатые годы еще сохранялись последователи Толстого, проповедовавшего, что Иисус был не Богом, а просто праведным человеком, к тому же не воскресавшим. Вначале кажется, что булгаковский Иешуа олицетворяет непротивление злу насилием Толстого. Он ведет себя как бродячий философ, несущий свое романтическое слово истины народу. Вера Иешуа непоколебима: «Все люди добрые, в том числе Крысобой, просто другие люди ожесточили его. Если бы с Крысобоем поговорить, то он резко изменился бы и вернулся к естественному доброму состоянию». Такая вера творит чудеса. Разве не чудо, что сборщик податей бросает деньги на землю и обретает веру, сопровождая Учителя, ради которого он готов пожертвовать жизнью.

И «настанет царство истины». Конечно, люди должны измениться, и это убеждение не противоречит мировым религиям. В христианстве это происходит после второго пришествия Господа, в Ведах — при наступлении Золотого века. В даосизме человек должен изменить свой внутренний мир и достигнуть просветления.

Но воздействие образов Иисуса у Толстого и Булгакова во многом противоположно. Толстовцы церковь не посещали, а в СССР многие неверующие после чтения романа заинтересовались Евангелием и пришли к вере.

Какова же сила проповеди Иешуа?

Вначале Пилат думает, что перед ним один из тех, кто стал жертвой внутриеврейских разборок. У него так болит голова, что ему не до выяснения обстоятельств дела. Когда Иешуа называет Пилата «добрый человек», он приказывает Крысобою наказать Иешуа. Отношение к Иешуа начинает меняться после знаменитого вопроса «Что есть истина?» и ответа: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова...» Пилат еще не понимает, кто стоит перед ним, и думает, что Иешуа — это великий врач. Отношение меняется еще раз после вопроса: «А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова „добрые люди“? Ты всех, что ли, так называешь? — Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете. — Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнувшись, — но, может быть, я мало знаю жизнь!»

Классическая картина — прагматик усмехается над наивными, как он думает, рассуждениями романтика. Еще раз усмехнуться, уже горько, Пилату пришлось после появления пергамента со вторым, страшным обвинением. Во время рассказа Иешуа о любознательном Иуде Пилат задает прагматический вопрос о действиях Иуды: «Светильники зажег?» Чистая душа — Иешуа — никого не подозревает в коварстве и не думает о том, что Иуда устраивает провокацию и светильники нужны для опознания его соглядатаями.

Даже после второго обвинения Пилат продолжает меняться. Он постепенно приближается к тому, чтобы, подобно Левию Матвею, бросить все и пойти с Иешуа. По крайней мере, Пилат ждет этого 2000 лет и «более всего в мире ненавидит свое бес-

смертие и неслыханную славу. Он утверждает, что охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем».

Жестокий и бесстрашный прокуратор пытается как-то загладить чувство вины за проявленную трусость и приказывает убить Иуду. Но обмен не равноценен, и вина не исчезает, и он постоянно жалуется, что у него плохая должность.

Во время суда прокуратор отдает Крысобою жестокий приказ избить Иешуа. В конце романа он обращается к Крысобою: «У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите...

В величайшем изумлении Марк глядел на прокуратора».

Суть христианского милосердия Пилат осознал раньше Левия. Встретившись с ним после казни, Пилат предлагает Левию деньги. Левий отказывается, и Пилат говорит:

«Ты считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо, если бы это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь... Ты жесток, а тот жестоким не был».

Если так меняется жестокий прокуратор, то, значит, прав Иешуа: злых людей нет на свете, есть несчастливые. Проповедника, достигшего такого уровня сознания, уже нельзя посчитать просто бродячим философом. Булгаков изобразил духовного Учителя, но он не дал однозначного толкования природы Иешуа. Только во второй главе это бродячий проповедник (как бы по Толстому), но в последних он — глава ведомства Света. Различие с Толстым очевидно. Читателям есть о чем поспорить.

Имеется в романе и пример страстной и парадоксальной молитвы. Это молитва Левия во время казни: «Тогда Левий закричал: — Проклинаю тебя, бог! Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости бога и верить ему более не намерен. — Ты глух!..» Левий страстно верит и в существование Бога, и в его доброту, но он не в состоянии переносить вид страданий Учителя. Молитва такой силы, фактически крик души, не может быть не услышана и не исполнена. Индийские учителя наставляют: при молитве будьте предельно откровенны, не преукрашивайтесь, просите то, что реально желаете, и тогда исполнится.

Свет против тьмы?

Явное преобладание количества персонажей, представляющих темные силы, заставляет задуматься об общей картине мироздания в романе. Какой философской или религиозной системы придерживается автор? Чаще всего обращают внимание на то, что Булгаков был сыном профессора Киевской духовной академии, многим последователям православия роман явно не нравится: чувствуют они в нем много неканоничного. Попробуем, кроме православных мотивов, разыскать в романе еще и индуистские, и даосские, несмотря на отсутствие прямых упоминаний их писателем. Востоковедение в начале XX века развивалось бурно, а великие писатели первыми воспринимают новые идеи.. Рассмотрим эти идеологии в предельно схематичном изложении.

В индийских Ведах картина мироздания отличается от христианской. Душа вечна, и никогда не умирает, и не рождается. Она сотворена Богом и, являясь частью мирового Духа, действует в теле и после смерти переселяется в духовный мир. Через какое-то время она воплощается в новом теле (реинкарнация). Пребывание и в раю, и в аду лишь временное. После множества воплощений Душа окончательно переходит в духовный мир, где также общается с Богом. И добрые, и злые поступки человека возвращаются к нему (закон кармы), поэтому необходимо получать духовные знания и совершать только благие поступки.

Из китайских буддийской и даосской систем используем только символ Инь-Ян. Этот символ представляет собой диалектическую модель мироздания, отражающую принцип единства и борьбы противоположностей, извечное противостояние светлого и темного начал, которые существуют лишь взаимно и гибнут при отсутствии другого элемента. Этот символ олицетворяет принцип постоянных перемен, но это не хаотичность. За периодом спада всегда следует период «взлета». Знак Инь-Ян обозначает союз двух начал — мужского (Ян) и женского (Инь). Ян — это огонь, действие, развитие, апофеоз светлого, творческого начала. Инь — это вода, потенциал, состояние покоя. Прогресс достижим лишь при равноценном союзе двух противоборствующих начал. В любой борьбе не может быть победителя, если в итоге силы не уравниваются. Любая система стремится к балансу. Черные и белые кружочки в символе означают то, что в любом полностью черном проявится что-то белое и наоборот. Остается только выяснить, к какой из картин мира склоняется автор романа — христианской или восточной? При выборе картины мироздания можно воспользоваться принципом «бритвы Оккама», согласно которому необходимо использовать минимальное число предположений, то есть удалять все те утверждения, без которых можно обойтись для доказательства выдвинутой гипотезы.

Православных людей в романе не видно. За все время пребывания Воланда в Москве, а это главные дни Пасхальной недели, никто о Пасхе и не вспомнил. Хочет перекреститься только кухарка застройщика в момент отлета Азазелло с Мастером и Маргаритой из горящего дома. Однако и она оказалась не тверда в вере: не стала осенять Азазелло крестным знамением, когда тот пообещал отрезать ей руку. Нельзя же православным посчитать председателя жилтоварищества Босого, стенающего, что «Господь наказует меня за скверну мою».

Момент появления в Москве выбирается Воландом совсем не случайно. Предыдущий визит был, видимо, задолго до революции, и Воланду необходимо понять духовное состояние москвичей «в массе». Именно поэтому проверяется, пойдут ли москвичи на сеанс черной магии в Чистый четверг? Результат проверки оказался средним. С одной стороны, народ повалил валом, а с другой — оказался не столь безнадежен. «Ну что же, — задумчиво отозвался Воланд, — они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...»

Православные булгаковеды имеют по поводу романа о Пилате полярные точки зрения. Одни утверждают, что он внушен Мастеру Воландом и должен соблазнить неустойчивых. Другие говорят, что Булгаков предупреждает о сатанинских кознях и подталкивает читателя ознакомиться с Апокалипсисом. Третьи обвиняют Воланда в том, что он в начале действия овладел душой Мастера, а затем эту душу и погубил. Маргарита у них ведьма и развратница. Забывают о том, что в последней редакции Маргарита является примером любящей и преданной женщины. Воланду она доверяет — он ее не обманул.

Православные мотивы появляются только в воспоминаниях Елены Сергеевны Булгаковой. За три дня до кончины, находясь уже в тяжелом состоянии, Михаил Афанасьевич жестами попросил ее принести рукопись, долго крестил жену, себя и роман и, возвращая рукопись, сказал: «Пусть знают».

Найти в романе мотивы, связанные с Ведами, нетрудно. Есть шутка автора. Метрдотель Арчибальд Арчибальдович в прошлой жизни был капитаном пиратского брига и в этой жизни не менее адекватно ведет свой ресторан. А есть и примеры посерьезнее. Коровьев объясняет Маргарите смысл роли хозяйки бала: «Разрешите, королева,

вам дать последний совет. Среди гостей будут различные, ох, очень различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества! Если кто-нибудь и не понравится... Я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице... Нет, нет, нельзя подумать об этом! Заметит, заметит в то же мгновение. Нужно полюбить его, полюбить, королева. Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала!»

Неожиданное окончание монолога — черт требует благорасположения ко всем грешникам. Православные читатели скажут: «Это дьявол изображает из себя любящего, а на самом деле...» Но уже в следующей сцене обнаруживается, что речь идет вовсе не о безрассудной любви. Свита прекрасно понимает, кто такие их подопечные: «Где же гости? — спросила Маргарита у Коровьева. — Будут, королева, сейчас будут. В них недостатка не будет. И, право, я предпочел бы рубить дрова, вместо того чтобы принимать их здесь на площадке. — Что рубить дрова, — подхватил словоохотливый кот, — я хотел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет». Оказывается, что Воланд возглавляет ведомство теней и зла и поэтому отвечает за порученных ему Свыше подопечных и их исправление. В индуистском эпосе Махабхарата приведена беседа воплощения бога Кришны с его земным другом Арджуной, где дается главное наставление Вед: «Послушай, Арджуна, в конце всех путей стою я один». Отсюда вытекает, что душа не вечно пребывает в аду, а пострадав, начинает тянуться к свету и в конце концов возвращается к Богу. Получается, что Воланд Булгакова играет роль не только главы Следственного комитета, но и директора ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний), которая должна не столько наказывать, сколько перевоспитывать.

Христианство и ислам призывают своих последователей стремиться к свету и приводят в пример образы множества святых. Сатана/шайтан в этих примерах — сугубо отрицательный персонаж. В индуизме понятие сатаны отсутствует. Есть демоны, среди которых встречаются и великие злодеи, но в ходе перевоплощений исправляются и они. Закон кармы в царстве Воланда работает неумолимо — грехи наказываются, но в аду находятся только тяжкие грешники.

Вот теперь можно перейти к символу Инь-Ян.

Принцип Инь-Ян требует, чтобы в мироздании был баланс совершенного света и совершенной тьмы. Примеров совершенных состояний Булгаков не описывает — земному человеку эти состояния не известны. Иешуа и Воланд, возможно, не идеальные, но близкие к тому представители Света и Тьмы. Описывать идеальный Свет — Христа — для читателей христианской страны Булгаков не стал, видимо, осознавая непосильность такой цели. Весь роман подчинен решению другой задачи — устранению перекоса баланса в сторону света, которым охвачено все человечество, и описанию действия энергии Инь. Ближе всех к вершине Инь у Булгакова находится Воланд. Поэтому не роман о Понтии Пилате, а весь роман «Мастер и Маргарита» следовало бы назвать евангелием от Воланда.

Сам о себе Воланд нигде не рассказывает. «Вы — немец? — осведомился Бездомный. — Я-то?.. — переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец...» Наиболее четко его сущность проявляется в сцене на крыше дома Пашкова, где появляется Левий Матвей, вид которого — «оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне» — показывает, что он за прошедшие 2000 лет не очень-то осознал учение Иешуа, так путаником и остался. Воланд таких фанатиков высмеивает: «— Я к тебе, дух зла и повелитель теней, — ответил вошедший, исподлобья недружелюбно глядя на Воланда. — Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей? — заговорил Воланд сурово. — Потому что я не хочу, чтобы ты

здравствовал, — ответил дерзко вошедший. — Но тебе придется примириться с этим, — возразил Воланд, и усмешка искривила его рот, — не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она, — в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ты глуп».

Но когда речь заходит о просьбе Иешуа, тон Воланда резко меняется: «Он прислал меня. — Что же он велел передать тебе... — Он прочитал сочинение мастера, — заговорил Левий Матвей, — и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла? — Мне ничего не трудно сделать, — ответил Воланд, — и тебе это хорошо известно. — Он помолчал и добавил: — А что же вы не берете его к себе, в свет? — Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий. — Передай, что будет сделано, — ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул: — И покинь меня немедленно. — Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже, — в первый раз моляще обратился Левий к Воланду. — Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи». Чем вам это не сценка перепалки представителей двух отделов в приемной Высшего директора.

В романе Воланд дважды упоминает о том, что он возглавляет некое ведомство. По уважительному тону Воланда чувствуется, что Иешуа находится в равной с ним должности. Один возглавляет ведомство света, другой тьмы. Иешуа никого не осуждает и готов любить и помогать каждому, поскольку все люди добрые. Воланд всех экзаменует беспристрастно и берется за добрые дела только в исключительных случаях. Тем не менее оба ведомства образуют единое Учреждение.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ В ОБРАЗАХ РОМАНА

Весенний бал Сатаны

Наиболее ясное описание личности и роли Воланда дано в главах 23 и 24. Поэтому их требуется рассмотреть подробнее. Этот бал критики воспринимают как преднамеренный шабаш противников Воскресения Христова. Ну а что же изобразил Булгаков? Оказывается, и здесь картина света и тьмы симметрична. Там, где у Христа свет, у Воланда тьма, но и здесь они не уничтожают, а дополняют друг друга. Перед балом Маргариту представляют Воланду. В комнате она видит предметы, предназначенные для черной мессы. Имеются и предметы церковной утвари (золотая чаша для священных даров), и сатанинские символы (канделябр на когтистых птичьих лапах). Пахнет серой, в темноте летают то ли птицы, то ли летучие мыши. Сам Воланд одет подчеркнуто неряшливо.

Традиционная для христианства картина шабаша Булгаковым полностью изменена. Воланда на балу нет, отсутствуют сцены оргий. Нет и традиционной финальной свадьбы Сатаны с ведьмой — королевой бала. Хотя Маргарита и присутствует на балу, как и все ведьмы, обнаженной, ей даются символы власти: «...в волосах у нее блеснул королевский алмазный венец. Откуда-то явился Коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя на тяжелой цепи. Это украшение чрезвычайно обременило королеву. Цепь сейчас же стала натирать шею, изображение тянуло ее согнуться. Но кое-что вознаградило Маргариту за те неудоб-

ства, которые ей причиняла цепь с черным пуделем. Это — та почтительность, с которою стали относиться к ней Коровьев и Бегемот». Черный пудель — символ Воланда.

Размах праздника поражает воображение. После подземелья гости получают ярчайший свет, такой, что, «пожалуй, хорошо было бы, если б его было поменьше». В числе музыкантов оркестра приглашены одни мировые знаменитости, и ни один не заболел, и ни один не отказался. Так и в СССР народ милицию побаивался, но быть приглашенным на концерт в честь Дня милиции считалось высшей честью для артистов. Гулянье превращается в разгул с купанием в бассейнах шампанского и коньяка. Но хозяин бала не желает играть роль в третьеразрядной пьесе и в шабаше не участвует. Ему это «не к лицу». Когда после бала кот заявляет: «Бал имеет свою прелесть и размах», то Воланд отвечает: «Никакой прелести в нем нет и размаха тоже, а эти дурацкие медведи, а также и тигры в баре своим ревом едва не довели меня до мигрени». Бал дается для грешников, на нем королева должна вызывать восхищение и быть благосклонной ко всем гостям. Зачем же устраивать этот спектакль, если хозяева не заблуждаются относительно моральных качеств гостей?

По христианскому учению, сам Христос накануне Пасхи сходит во ад, чтобы вывести грешников, раскаявшихся и обратившихся к нему. В эту же ночь гости бала признаков раскаяния не проявляют. Они всего лишь хотят, чтобы властители их мира про них не забыли. Это будет поддерживать их до следующего бала. Единственное исключение — раскаявшаяся Фрида, но и ей Маргарите предложить нечего: «Так вы напейтесь сегодня пьяной, Фрида, и ни о чем не думайте». Устрашающий смысл бала проясняется в конце, когда происходит последний великий выход Воланда — ровно в полночь с пятницы на субботу, то есть в тот момент, когда Христос сходит в ад, чтобы вывести раскаявшихся грешников.

«Маргарита, к удивлению своему, услышала, как где-то бьет полночь, которая давным-давно, по ее счету, истекла. С последним ударом неизвестно откуда слышавшихся часов молчание упало на толпы гостей. Тогда Маргарита опять увидела Воланда».

В полной тишине Воланд идет, намеренно не приукрашиваясь, в затрапезном одеянии, хромая, используя шпагу как трость. Но в бальном зале уже никто не танцует. Весь зал, оцепенев, наблюдает, как Воланду подают блюдо с отрезанной головой Берлиоза. «Михаил Александрович, — негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. — Все сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы, — голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что поотрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна, и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие». От шабаша не осталось и следа. Как ни удивительно, но даже после этих слов обвинения Воланда в том, что он лжец, губитель душ и противник жизни, продолжаются.

Утверждение о том, что все теории стоят друг друга, лежит в основании йоги. Для постижения Бога вы можете придерживаться любого духовного учения, но главное — имеется ли за учением соответствующая практика. В йоговскую или даосскую практику ученика должен посвятить духовный наставник. У москвичей таковых нет.

После бала

Главные черты образа Воланда раскрываются в главе 24 «Извлечение Мастера». В ней Маргарита подвергается нескольким проверкам. Вначале, за дружеским ужином после бала, ей долго ничего не говорят о Мастере. Она не подает вида, что ждет обещанного, и, не получив его, в отчаянии собирается утопиться. На вопрос: «Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?» — отвечает: «Ничего, мессир». Тогда Воланд и произносит один из принципов темного царства: «Верно! «Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд, — так и надо!

— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда. Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!» Тем самым Воланд подчеркивает, что он олицетворяет высшую справедливость и сам даст то, что полагается. Он не из царства любви и просьбы не принимает. В царстве света главенствует: «Просите, и дадено будет вам, стучите, и отворят вам». Воланд ценит стойкость и чувство собственного достоинства. Только после проверки Маргариты Воланд воспринимает ее достойной и предлагает ей фактически любую награду. «Говорите! И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я». И в этот момент Маргарита слышит молящий голос: «Меня зовут Фрида!»

Сцена прощения Фриды разыграна для окончательной проверки Маргариты. В этот момент действие романа достигает кульминации. Маргарита вместо просьбы о Мастере просит о прощении Фриды, и поскольку раскаяние Фриды заранее принято, то просьба Маргариты удовлетворяется. Заметим, что Воланд не хочет, чтобы его заподозрили в милосердии, и после просьбы Маргариты разыгрывает сцену: «Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!.. Я о милосердии говорю».

Получается, что в предпасхальную ночь Христос проводит массовую амнистию грешников, обратившихся к нему, а Воланд — индивидуальное помилование по конкретным просьбам (молитвам). При этом Воланд нарушает им же высказанный принцип «никогда не просите». Чем это не белое пятнышко в черном символе Инь.

Огненный глаз Воланда свидетельствует о том, что сцена проверки продолжается: «Вы, судя по всему, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек? — Нет, — с силой ответила Маргарита, — я знаю, что с вами можно разговаривать только откровенно, и откровенно вам скажу: я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она верит в мою мощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь! Так уж вышло. — А, — сказал Воланд, — это понятно». Такая неброская реакция Воланда не должна вводить в заблуждение. Ответь Маргарита не столь искренно, и судьба ее была бы менее благополучна. То есть речь идет не о доброте Маргариты, а о том, что Воланд ее ответом доволен. Для него несомненно, что мощь требуется подтверждать и обещания выполнять. Опять возникает вопрос: считает ли Булгаков Воланда обманщиком? Малейшую попытку схитрить Воланд обнаружит мгновенно, воспримет хитрость как неуважение и общение прекратит: «Так вы сделаете это? — тихо спро-

сила Маргарита... — какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? Итак, я этого делать не буду, а вы сделайте сами». По-другому и быть не может: Воланд у Булгакова осознает свою роль в мироздании и за славой не гонится. Он, как это ни банально, суров, но справедлив.

Принадлежность к духовному миру позволяет ему, как и йогам, преодолевать ограничения физического пространства-времени. Разговаривая с Маргаритой в сцене знакомства, он поворачивает глобус, видимо одновременно занимаясь другими делами.

Мы же вернемся к тексту главы 24. После того как Маргарита использовала свою единственную дозволенную просьбу на прощение Фриды, следует: «Ну что ж, Бегемот, — заговорил Воланд, — не будем наживать на поступке непрактичного человека в праздничную ночь, — он повернулся к Маргарите, — итак, это не в счет, я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?» Вот тут проверка закончена, и Мастера возвращают.

Однако Мастер выглядит ужасно: «Небритое лицо его дергалось гримасой, он сумасшедше-пугливо косился на огни свечей». Тогда следует: «— Да, — заговорил после молчания Воланд, — его хорошо отделали. — Он приказал Коровьеву: — Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить». «После того, как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными. — Ну вот, это другое дело, — сказал Воланд». Далее Воланд интересуется судьбой романа и, узнав, что Мастер его сжег, произносит знаменитую фразу: «— Простите, не поверю, — ответил Воланд, — этого быть не может. Рукописи не горят. — Он повернулся к Бегемоту и сказал: — Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман. Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез: — Вот она, рукопись! Вот она! Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила: — Всесилен, всесилен!»

Тут огонь критики становится особенно яростен. Как это рукописи не горят? У скольких писателей они сгорели. А уж то, что кот сидел на рукописях, трактуется как издевка: рукопись пошла коту под хвост. Почему-то не хотят принять версию, что Булгаков, сам являющийся творцом, хочет сказать, что истинные творения не исчезают и Творения, достигшие духовных высот, не горят. Наоборот, при пожаре Массолита вся их высокохудожественная макулатура сгорела. Ну а сама бумажная рукопись Мастера являлась подарком Воланда Маргарите. Схожие положения можно найти и в йоге. Не существует индивидуального мыслящего. Есть мировой процесс мышления. Творческая личность, концентрируясь на какой-либо задаче, привлекает к себе соответствующие мысли. Результаты мышления остаются в мировом пространстве мышления и, соответственно, не горят.

Далее Воланд проявляет чуть ли не отеческую заботу и предлагает Маргарите выбрать, что им нужно. Маргарита просит вернуть их обратно в подвальчик. Воланд помогает и тут, выбрасывая из подвальчика Алоизия Могарыча. В конце встречи он удаляет свою свиту и беседует с ними наедине. Воланд понимает, что план Мастера жить в подвале и нищенствовать нереален, но все равно желает им счастья. Это пожелание для выдержавшей все испытания Маргариты подтверждается золотой подковкой, которая уж точно не превратится в резаную бумагу. Когда Маргарита, уходя, говорит: «Прощайте», он, зная о нереальности их плана, отвечает «До свидания».

Завершение участия Воланда в судьбе Мастера происходит в последней главе. Мастер не может сам определить свою судьбу, даже после того как он освобождает Пилата. То ли ему следовать за Пилатом по лунному пути, то ли возвращаться в Москву. И здесь следует прощальное наставление Воланда: «О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацве-

тать, а вечером слушать музыку Шуберта?.. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте! Мне пора. — Прощайте! — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер».

И здесь критики находят, как обвинить Воланда в обмане. Оказывается, по их мнению, Мастер больше ничего написать не может. Ведь в последнем абзаце этой главы сказано: «...и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера». Ответ критикам приведен в работе И. Белобровцевой и С. Кульюс «„Мастер и Маргарита“. Комментарий». В последней редакции Булгаков этот абзац вычеркнул, а фразу про исколотую память отнес в эпилоге к Ивану, ставшему профессором Поныревым. После смерти писателя Е. С. Булгакова вернула вычеркнутый абзац, и получилось, что фраза про исколотую память появляется в романе дважды. До настоящего времени встречаются работы, в которых утверждается, что Мастер и Маргарита попали в ад. Игнорируется то, что им дарован покой и вечный дом, причем по инициативе Иешуа, а не Воланда. К Богу они не пришли, поэтому им рай недоступен. Их удел покой. В Ведах утверждается, что такой покой не будет вечным и, когда они будут готовы, последует новая инкарнация. Опять вопрос критикам: если бы Воланду требовалось погубить Мастера, то нельзя ли было это сделать как-то попроще?

Образ Воланда

Центральный образ романа у Булгакова написан ярко, но о природе Воланда читателю приходится догадываться самому. Маргарита восклицает: «Всесилен!» Но его могущество разумно и проявляется только в критические моменты. Свою почти всесильную свиту, желающую похвастаться своими возможностями, Воланд даже окорачивает. Когда Фагот хочет свистнуть (пошутить) на прощание, следует предупреждение: «Но ты смотри, смотри, — послышался суровый голос Воланда с коня, — без членовредительских штук!» С другой стороны, он не является чисто духовной сущностью — не может избежать человеческих проблем. Больное колено, которое необходимо лечить бабушкиными рецептами: «Приближенные утверждают, что это ревматизм, — говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты, — но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах, на чертовой кафедре».

С другой стороны, и Воланд, и свита явно находятся на очень высоком месте по уровню возможностей. Они могут свободно перемещаться в пространстве и переходить из материального мира в астральный. В последней главе они исчезают из земного мира, с шумом бросаясь в провал. По учению йоги, шум сопровождает процесс дематериализации атомов, из которых состоит физическое тело. В христианстве сына Божьего Иисуса называют Богочеловеком, а его противоположность — Сатаночеловеком. Какими же чертами наделяет Булгаков Воланда? Любит ли он кого-нибудь? Пожалуй, только свою свиту, да и то, скорее, как капитан любит членов своей команды. В его устах высказывание «Ах ты подлец!», произнесенное после того, как Бегемот спрятал шахматного короля, звучит как восхищение. Такие шутки Воланда забавляют.

Команда Воланда не постоянна. Фиолетовый рыцарь Фагот, неудачно пошутивший, свой счет оплатил и закрыл и, видимо, будет отпущен. В свое «ведомство» Воланд кого попало не берет. За Наташу просит Маргарита, которой, как уверена Наташа, «власть дана», и Воланд соглашается. К мелкой душонке Николаю Ивановичу отношение противоположное:

«Вот кого с особенным удовольствием отпущу, — сказал Воланд, с отвращением глядя на Николая Ивановича, — с исключительным удовольствием, настолько он здесь лишний». Про администратора Варенуху Воланд ничего и не знал. В вампиры его превратили Азазелло с Геллой: « — Это еще кто? — брезгливо спросил Воланд, рукой заслоняясь от света свечей. Варенуха повесил голову, вздохнул и тихо сказал: — Отпустите обратно. Не могу быть вампиром. Ведь я тогда Римского едва насмерть с Геллой не уходил! А я не кровожадный. Отпустите». Азазелло его и отпускает, наставляя: «Врать не надо по телефону».

Сам Воланд практически не принадлежит физическому миру. Он скорее не действующее лицо, а наблюдатель. Во время суда над Иешуа он присутствует тайно. Проводить сеанс в Варьете он не станет. Это ему «как-то не к лицу!» Во время бала он ставит только финальную точку. Соблазны мира сего на него не действуют. Красавица Маргарита нужна ему как хозяйка бала. Ее выбирают из 121 кандидаток, видимо, по признаку благородства крови, и Воланд доверяет ей эту роль. Достойно сыгранная роль и пройденная проверка достойно вознаграждаются. Ни малейшей попытки оставить ее в своем «ведомстве» Воланд не делает. Подготовка Маргариты к возврату в свое истинное состояние начинается сразу после извлечения Мастера. Маргарита начинает терять облик ведьмы. Непонятно как, но она уже не нагая, а в плаще, кудри развились, и волосы стали, как прежде, прямыми. Окончательный облик возникает после отравления Маргариты. «На глазах лицо отравленной менялось. Даже в наступавших грозовых сумерках видно было, как исчезало ее временное ведьмино косоглазие и жестокость, и буйность». Скрытые черты ведьмы у Маргариты проявлялись и до встречи с Мастером, но настоящей ведьмой она пробыла менее суток, теперь это просто любящая женщина, а «тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». Повторяется вопрос: какие еще поступки должен был бы совершить Воланд, чтобы критики перестали считать, что он желает погубить Мастера и использует Маргариту как свое орудие?

Во время прощального полета Луна проявляет истинный облик всех летящих. Только Воланда разглядеть невозможно. «Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, что это лунные цепочки и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд». То есть Воланд не имеет какого-либо конкретного облика и воспринимается как темная, иньская энергия.

Подробно рассматривать остальные образы романа нет возможности: объем статьи и без этого чрезмерно велик. Однако нельзя не отметить противопоставление пары Иешуа—Воланд. Почему Иешуа почти не описан? Ответ таков же, как и ответ на вопрос: почему Луна в романе благотворнее Солнца? Задача Булгакова состояла не в том, чтобы подробно описать Свет, упор на который делают все религии, а описать важность учета и темной энергии.

В заключение необходимо сделать замечание о любимом занятии литературоведов — поиске прототипов Воланда. Фантазия здесь настолько разыгрывается, что перечислить всех найденных кандидатов невозможно. Возразить хочется только против одного — Сталина. На основании какой логики авторам удается в тиране, погубившем миллионы безвинных, отыскать прототип Верховного прокурора, наказывающего тяжких грешников и не осуждающего грешников мелких? Встречаются даже мнения, что роман писался для единственного читателя — Сталина. Будто бы смысл романа заключен в призыве к Сталину не преследовать творцов. Роковая неудача Булгакова — создать привлекательный образ вождя в «Батуме» — является аргументом в пользу того, что Сталин до Воланда явно не дотягивает.

Второй лик Воланда

Интересно сравнить манеру поведения Воланда на балу и конферансье/следователя во сне Никанора Ивановича. Следователь разыгрывает роль мягкого и сочувствующего. «— Сидите? — спросил он мягким баритоном и улыбнулся залу. — Сидим, сидим, — хором ответили ему из зала тенора и басы.

— Гм... — заговорил задумчиво артист, — и как вам не надоест, я не понимаю? Все люди как люди, ходят сейчас по улицам, наслаждаются весенним солнцем и теплом, а вы здесь на полу торчите в душном зале! Неужто уж программа такая интересная?»

Воланд знает сущность Берлиоза еще до прилета в Москву и по результатам допроса приговор Берлиозу утверждает. Следователь сущность Никанора Ивановича знал еще до вызова того на сцену, называя его заведующим диетической столовкой. Слово «столовка» говорит и о качестве блюд, и о качестве заведующего как руководителя.

Конферансье имитирует повадки вкрадчивых следователей ГПУ, но реально служит по тому же ведомству, что и Воланд. Это показывает его взгляд: «Ведущий программу уставился прямо в глаза Канавкину, и Никанору Ивановичу даже показалось, что из этих глаз брызнули лучи, пронизывающие Канавкина насквозь, как бы рентгеновские лучи». Получаем повтор сцены взгляда Воланда во время знакомства его с Маргаритой. Однако встреча с конферансье для Никанора Ивановича заканчивается сравнительно благополучно: он, в отличие от Берлиоза, всего лишь продолжает оставаться в зале. Гораздо лучше закончился спектакль для Канавкина. Он расстался с валютой, привязывающей его к материальному миру, и, счастливый, уехал. Сосед Никанора Ивановича уже почти готов получить такое же освобождение, как и Канавкин. Его спасает любовь, и неважно, что это любовь к гусям.

Возвращаемся к смыслу романа. Подчеркнутая неряшливость Воланда во время великого выхода никого не вводит в заблуждение. Этот выход страшен, как неумолимый рок. В отличие от сцены с конферансье, здесь никто не проронил ни слова. Но смысл обеих сцен одинаков. У конферансье — сдавайте валюту и возвращайтесь домой: «Обедайте, ребята, — кричали повара, — и сдавайте валюту! Чего вам зря здесь сидеть? Охота была эту баланду хлебать. Поехал домой, выпил как следует, закусил, хорошо!»

Воланду слов не требуется — не покаетесь, будете находиться в аду вечно!

Остается предположить, что Булгакову глава со сном Никанора Ивановича потребовалась для того, чтобы подчеркнуть, что темная энергия может проявляться в двух формах. Для закоренелых материалистов это ад Воланда, в котором они вместо Бога преклоняются перед Сатаной. Мелким же грешникам конферансье даже мягко посочувствует. Его специальность пробуждать что-то человеческое в ростовщичьих душонках. Нераскаявшемуся Дунчилю ад будет устраивать его жена.

Свита Воланда

Несмотря на обилие параллелей романа с «Фаустом» Гёте, образ Воланда отличается от образа Мефистофеля, действующего без помощников. Воланд руководит ведомством тьмы и редко вмешивается в конкретные дела. Свита действует самостоятельно, но старается получить одобрение мессира. Состоять в свите для них — честь. Например, свита превратила Варенуху в вампира, но Азазелло, увидев, что мессир его прощает, сам решает, с какими наставлениями его отпустить. Роли членов свиты распределены, все они являются первоклассными профессионалами, но и им Воланд

не дает заскучать, иногда давая несвойственные поручения. Азазелло, демон безводной пустыни, демон-убийца, получает задание договориться с Маргаритой: «Вот спасибо за такие поручения! — обидевшись, воскликнул рыжий и проворчал в спину уходящей Маргарите: — Дура! ... зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил Бегемот, он обаятельный... в мое положение тоже нужно входить. Надавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, или подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде, это моя прямая специальность, но разговаривать с влюбленными женщинами — слуга покорный».

В московской жизни все перевернуто с ног на голову, все напоминает дурдом. Единственным местом, где все замечательно, как раз и является сумасшедший дом профессора Стравинского. Ну как в таком городе не расцвести сатирическим талантам неразлучной парочки гаеров.

«Бегемот и Коровьев уже оказались на тротуаре бульвара, как раз напротив дома Грибоедовской тетки. Коровьев остановился у решетки и заговорил: — Ба! Да ведь это писательский дом. Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом! Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов. — Как ананасы в оранжереях, — сказал Бегемот и, чтобы получше полюбоваться на кремовый дом с колоннами, влез на бетонное основание чугунной решетки... — Совершенно верно, — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев, — и сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор „Дон Кихота“, или „Фауста“, или, черт меня побери, „Мертвых душ“! А? — Страшно подумать, — подтвердил Бегемот». Разница между ними оказалась в том, что шутовство Бегемота природное, а Коровьев — мрачный фиолетовый рыцарь, пострадал за неудачную шутку о свете и тьме. Возможно, поперничал о творении Божьем. Когда Бегемот берется вместо Маргариты разобраться с критиком Латунским, на него смотрят снисходительно: «Разрешите мне, мессир, — вскричал радостно кот, вскакивая. — Да сиди ты, — буркнул Азазелло, вставая, — я сам сейчас съезжу...»

Гелла изображает распутницу, но багровый шрам на шее выдает, что ей пришлось познакомиться с вампирами: «...в передней появилась совершенно нагая девица — рыжая, с горящими фосфорическими глазами. Варенуха понял, что это-то и есть самое страшное из всего, что приключилось с ним». Однако Воланд ее ценит: «...служанку мою Геллу рекомендую. Расторопна, понятлива, и нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать». Образ Абадонны остался почти нераскрытым. В чем тайна его взгляда? Возможно, это аналог народного поверья о старухе Смерти, которая косой перерезает нить жизни человека. Отношения внутри свиты вполне дружеские, побалагурить они мастера: за ужином после бала «Маргарита смотрела, как Бегемот намазывает горчицей устрицу. — Ты еще винограду сверху положи, — тихо сказала Гелла, пихнув в бок кота. — Попрошу меня не учить, — ответил Бегемот, — сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал! — Ах, как приятно ужинать вот этак, при камельке, запросто, — дребезжал Коровьев, — в тесном кругу». К свите Воланда условно можно отнести и конферансье/следователя во сне Никанора Ивановича. Такое изощренное искусство выбивать валюту и организовывать публичные судилища было доступно только изощреннейшим из гэпэушников. Черти, не входящие в свиту Воланда, гораздо менее совершенны. Подвыпивший толстяк, который во время купания на реке обознался и назвал Маргариту Клодиной, явно готов унижаться, лишь бы его простили. Он упоминает о том, что напился он на кровавой свадьбе, видимо жестокой. Требовать от такого некоего благородства не приходится, и встреча с ним никого не порадует.

Эпилог

Автору удалось создать удивительно гармоничный роман. В нем свет и тьма взаимодействуют. Великий ученый Ньютон провел опыт и доказал, что белый свет содержит в себе все цвета, а черного света не существует. Есть отсутствие белого. Великий поэт Гёте выдвинул свою версию, что сочетание белого и черного порождает все цвета. Великий писатель Булгаков согласен скорее с Гёте. У него все краски бытия образуются диалектическим взаимодействием белого и черного, то есть Булгаков идет путем интуиции, а не науки. Абсолютное зло у него совершенно, ибо оно и само полно внутреннего достоинства, и ценит его в других. «Все будет правильно». Свита уже не столь совершенна и поэтому действует по освоенным специальностям и под контролем. Невежды, подобные Варенухе, попавшие в злодеи по неосмотрительности, после раскаяния освобождаются. Злодеи-эгоисты, мелкие душонки презираются и вылетают вверх тормашками. Судьба Мастера и Маргариты определена совместно Высшими добром и злом. Их отравили безболезненно и для их же блага. Выдохшемуся и измученному Мастеру дают путевку в дом отдыха. Маргарита получает ту же награду — по ведическим наставлениям, жена, способствовавшая возрастанию мужа, получает плоды всех его достижений автоматически. В финальной сцене романа проявляется благотворное влияние энергии Инь. «Луна властвует и играет, луна танцует и шалит». Иешуа и его ученик Пилат выходят на лунную дорогу и наконец договариваются: «— Боги, боги, — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, — какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, — тут лицо из надменного превращается в умоляющее, — ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было? — Ну, конечно, не было, — отвечает хриплым голосом спутник, — тебе это померещилось. — И ты можешь поклясться в этом? — заискивающе просит человек в плаще. — Клянусь, — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. — Больше мне ничего не нужно! — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника». К Луне уходят и Мастер с Маргаритой. «Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает: — Так, стало быть, этим и кончилось? — Этим и кончилось, мой ученик, — отвечает номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит: — Конечно, этим. Все кончилось и все кончается... и я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо. Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к луне. Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом. Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат».

Так, стало быть, этим и заканчивается выяснение сути послания Булгакова миру: не восхищайтесь одним голым светом и не умаляйте роль теней. Естественно, такая картина мироздания понравится не всем. Придется мне спрятаться за широкую спину Булгакова. «Ах так? Вранье? — воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: — История рассудит нас».

Рецензии

ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ БЕССПОРНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Паола Буонкристиано, Алессандро Романо. Охота на Ореста. Неизданные материалы о жизни и творчестве О. А. Кипренского в Италии (1816—1822 и 1828—1836). М.: Новое литературное обозрение, 2023. — (Очерки визуальности)

Сама серия очень интересная, давно ее заприметила . Однако от этой книги впечатление двойственное. Захотелось в возникшей двойственности разобраться не столько даже в жанре рецензии, сколько небольшого эссе.

Монографий и статей об Оресте Кипренском, замечательном русском художнике-романтике, современнике Пушкина и авторе, пожалуй, лучшего его прижизненного портрета, достаточно много. Но все равно в его жизни и творчестве остается множество лакун, неясного и вызывающего споры. О нем писали лучшие российские исследователи — тут и Дмитрий Сарабьянов, и Валерий Турчин, и Евгения Петрова. В 1994 году под редакцией Якова Брука вышел фундаментальный сборник «Орест Кипренский. Переписка. Документы. Свидетельства современников» (СПб.: Искусство-СПб.). Развернутые комментарии к этому изданию писали тот же Брук и Петрова. Оно очень облегчило поиски документов о художнике, объединив их в одном томе, но вопросы все равно остались.

Линию «строго документированных» свидетельств подхватывают и наши итальянские исследователи, обнаружившие в архивах, в основном итальянских, целый ряд новых свидетельств о художнике и выдвинувших много новых атрибуций. Это, конечно, можно только приветствовать. Работа проделана поистине огромная. Она тем более важна, что Кипренский дважды подолгу жил в Италии (1816—1822 и 1828—1836). В Италии он женился на итальянке Мариучче (Анне Марии Фалькуччи), бывшей в детстве его натурщицей и воспитанницей. В Италии он и умер.

Но необходимо заметить, что «историческая правда» восстанавливается и «ложные рассказы о художнике» опровергаются итальянскими авторами (фразы из аннотации) вовсе не впервые и не только в этой книжке. Еще Карл Брюллов, друг Ореста и тоже итальянский пенсионер, в 1839 году, давая письменные разъяснения высшим чиновникам по поводу своего скандального разъезда с женой, писал о клевете, которая его преследует, как преследовала Кипренского. Соратники Кипренского в своем большинстве не верили этой клевете. Зловещие истории о «сожженной натурщице» и о якобы ее дочери Мариучче, ставшей женой Кипренского, брались на веру разве что в квазиромантической повести Константина Паустовского, написанной к столетию смерти художника. Но фактов и документов, опубликованных в сборнике под редакцией Якова Брука, вполне достаточно, чтобы клевету опровергнуть. Конечно, замечательно, что авторы обнаружили в итальянском архиве судебный документ, где прямо сказано, что к суду по делу о «сожженной натурщице» Кипренский «не привлекался». Привлекался его слуга. Именно об этом пишет в своих воспоминаниях и друг Кипренского, петербургский пенсионер в Италии скульптор Самуил Гальберг. Итальянские авторы затем приводят все это «дело» целиком, очень напоминаю-

щее итальянскую новеллу эпохи Возрождения, хотя и переведенную несколько коряво. На возрожденческую новеллу похожа и прослеженная авторами по судебным протоколам жизнь беспутной матери Мариуччи.

Самое интересное, что это лаконичное «не привлекался» не снимает, как мне представляется, всех возникающих вопросов. Если все закончилось столь мирно, почему Кипренскому пришлось еще и во Франции в 1822 году рассказывать приятелю-пенсионеру, как все было на самом деле. То есть слухи и прямая клевета вокруг его имени не рассеялись, были те, кто их распространял. Но конечно, этот новонайденный документ снимает вопрос о каких-либо претензиях к художнику со стороны итальянского правосудия. Все это так. И все же в книге итальянских авторов есть какой-то перекос в сторону документа, в особенности — документа официального. Он некий «жупел», нечто непререкаемое, «бесспорное свидетельство», которым авторы побивают все прочие материалы о художнике: воспоминания современников, письма, не имеющие по какой-то причине автографов, случайно сохранившиеся устные свидетельства.

Вот тут у меня и возникают серьезные сомнения. Дело, как мне представляется, не только в официальных документах и «бесспорных» свидетельствах. Многое в человеческой жизни остается недокументированным, таинственно «уплывает» от исследователей, требует какого-то иного, более вдумчивого подхода, интуиции и эмпатии, Да ведь и сам «официальный» документ не безгрешен. В России как раз привыкли документам не доверять! Кидаться к другим источникам, к случайно дошедшим устным свидетельствам, к письмам, по разным причинам не имеющим «автографа», документам, не соответствующим реальному положению дел. Так, в «Свидетельстве», выданном мальчику Оресту для поступления в Петербургское воспитательное училище при Императорской Академии художеств священником Петром Васильевым, утаивается тот прискорбный факт, что он был незаконнорожденным, а возраст уменьшен на год — все это было сделано для его успешного поступления. Вот тебе и документ!

Мне кажется, что эта абсолютизация документа во многом отразилась на какой-то напористо-скороговорочной, «внешней» интонации книги, на отсутствии вдумчивого вживания в мир художника, который как-то странно рассыпается, лишается внутреннего ядра. Все списывается на «противоречивость» натуры!

Видимо, потому, что авторы художнику не верят. Не верят его желанию после женитьбы на Мариучче, бесприютной итальянской девочке, которую он воспитал, вернуться с нею в Петербург, хотя он уже послал туда свое самое дорогое — картины, как всегда делал, переезжая. Не верят в его неколебимую любовь к Мариучче — почему же, вернувшись через шесть лет в Италию, сразу на ней не женился? Не верят до такой степени, что упоминание в письме Сильвестра Щедрина о желании Кипренского жениться готовы адресовать его мгновенной страсти к какой-нибудь неаполитанской красотке. Между тем практически все пенсионеры знали о любви Кипренского, и им не надо было ничего объяснять. Еще находясь в Петербурге, Кипренский просил академических пенсионеров — Гальберга, Басина, Тона — отыскать Мариуччу в Риме. Знал об этой любви и «анахорет» Александр Иванов. Вернулся Кипренский «без гроша», то есть совсем без пенсиона. Это был жест отчаяния и любви — отчаявшейся любви. Но он хотел, чтобы бедная Золушка, дожидавшаяся его все эти годы в римском монастырском «Приюте для неприкаянных» (этот приют уже в наши дни был найден в Риме российскими исследователями Иваном Бочаровым и Юлией Глушаковой), выйдя замуж, жила как принцесса. Деньги для этого ему требовалось заработать живописью. Постоянное стремление Кипренского помогать приехавшим пенсионерам авторы считают его «альтруизмом», подменяя этой не свойственной художнику чер-

той жажду «покровительствовать», то есть, напротив, демонстрировать свой вес и свои возможности. Он был, о чем я еще буду писать, вечный «звездный мальчик», хотя и происходил из низшего российского социального слоя — крепостных крестьян, да еще незаконнорожденный! Правда, при рождении он получил вольную.

Но... сменю регистр и напишу о том, что мне кажется бесспорным авторским достижением в изучении жизни Ореста Кипренского.

На основании официальных документов, найденных в римских архивах, нам рассказали о судьбе его вдовы итальянки Мариуччи и дочери Клотильды. В поздних, довольно злопыхательских воспоминаниях о Кипренском художника Федора Иордана есть сообщение о ее дальнейшей судьбе после того, как внезапная смерть мужа застала ее беременной и без средств к существованию. Между прочим, царь Николай I отказал ей в пенсионе, мол, Кипренский не был «на государственной службе». А ведь художник мог сказать о себе, как некогда Пушкин, что «числится по России». Но к делу. Иордан сообщал, что когда в 1844 году приехал в Рим вручить вдове деньги (на самом деле ничтожные!), полученные в академии от продажи вещей Кипренского, выяснилось, что она вышла замуж за итальянского маркиза и «сошла со сцены у наших благотворителей». Этот рассказ Иордана я привела в своей книге о художнике. И вот оказалось, что итальянские авторы отыскали-таки в архиве документальное подтверждение второго брака Мариуччи, причем маркиз происходил из очень древнего патрицианского рода. Вот так наша Золушка, из которой Кипренский воспитал-таки принцессу, продолжила свое восхождение, а не попала с малолетней дочерью опять в нищенский приют, что было вполне возможно. И второй момент — более печальный. Оказывается род Кипренских в Италии угас в 1917 году со смертью внучки художника. Жалко! А я-то в конце книги выразила надежду, что итальянские родственники Кипренского могут еще проявить себя. Увы!

В материалах о судьбе Мариуччи итальянские авторы продемонстрировали сильные стороны «фактографии». Ни ее второй брак, запечатленный в официальном документе, ни свидетельство о смерти внучки не подделать, да и зачем их подделывать? Но так бывает далеко не всегда.

Объектом ожесточенной критики авторов стал один из первых биографов Кипренского, написавший его биографию через 20 лет после смерти художника, журналист круга «натуральной школы» Владимир Толбин. Он как раз еще застал «устную» традицию, услышал живые рассказы современников и приятелей (а возможно, и неприятелей) художника, увидел копии и переводы писем, сделанные неизвестно кем и впоследствии утраченные. Но наши авторы чуть ли не все не имеющие «документальных» подтверждений или автографов материалы считают фейками, а Толбин у них прямо какой-то «фальшивомонетчик», придумывающий фантастические факты и сочиняющий несуществующие письма за Кипренского.

Самое занятное, что и наши адепты «бесспорных свтидетельств», приводя, к примеру, обнаруженные ими официальные документы папской канцелярии о «тяжбе» с Кипренским по поводу живущей у него воспитанницы и натурщицы Мариуччи, приходят к озадачивающим выводам, что строгие распоряжения о передаче ее в «богадельню» или матери (уже дважды судимой за беспутное поведение) почему-то не выполняются. Официальный документ есть, а жизнь идет своим путем, Мариучча по-прежнему у Кипренского. Через полтора года после первого «наскока» начинается второй . Кардинал Консальви письменно обращается к Италинскому, возглавляющему русскую миссию в Риме, и просит, чтобы тот поспособствовал возврату девочки. Чиновники папской канцелярии также в письменном документе уверяют кардинала, что дело наконец

«счастливо закончено» и девочка возвращена матери. Тут даже наши авторы несколько обескуражены. В самом деле, можно ли это считать «счастливым» окончанием? Да и окончание ли это? И мы вдруг понимаем, что документ бессовестно врет. Как пишет Самуил Гальберг в своих воспоминаниях, мать обычно возвращала к себе дочку исключительно в корыстных целях, чтобы побольше «содрать» с художника за ее «выкуп».

Как-то не веришь многим этим «точным данным бесспорных свидетельств». У меня закралось подозрение, что в реальности сработали какие-то «негласные», устные распоряжения, «сарафанное радио», которое донесло почтенным прелатам, что девочке у художника живется гораздо лучше, чем в богадельне или у продавшей ее матери. Препятствием было только разное вероисповедание. Итальянские авторы указывают и на возможные подозрения в «педофилии», но ни в одном из приведенных ими документов нет на нее ни малейшего намека! Опять, как я думаю, это следствие «устных» докладов кардиналу. И еще мне кажется, что не эти невыполняемые «ноты» папских властей стали причиной официальных писем, направленных против Кипренского российскими чиновниками в Италии. Имя Мариуччи в них нигде не упомянуто. Это был один из мелких фактов, а общая причина неудовольствия — неслыханная свобода Кипренского в поведении, нежелание подчиняться чиновникам «беспрекословно», что отмечает в своей статье о Кипренском в сборнике документов и Евгения Петрова.

Но вернусь к Толбину. Авторы пытаются опровергнуть несколько толбинских рассказов, которые кажутся им его «выдумками». Слишком фантастичны! Ну как он мог оставить надпись на своей карточке, не застав в гостинице короля Людвига Баварского, что не застал его «король живописцев»,обыгрывая подпись к адресованной ему записке действительного короля? Или поразительный факт, к счастью сохраненный в уже упоминавшейся статье Евгении Петровой и выброшенный, вероятно, по цензурным соображениям из биографии, написанной Толбиным, что, давая уроки рисования великой княгине Екатерине Павловне, он как-то на коленях признался ей в любви. Невозможно! — ужасаются авторы. И это фантазии Толбина! Между тем все подобные факты обращения с «сильными мира» вполне в духе художника, если взглянуть на его жизнь в целом и понять тот глубинный «личный миф», который руководил его поступками. А он, как я уже писала, всю жизнь вел себя как «звездный мальчик», инфант инкогнито. Причем загадочную личность реального или мнимого отца-лютеранина Адама Швальбе он представил на раннем портрете, как отметила И. В. Линник, в образе, во многом повторяющем рембрандтовский портрет польского короля Яна Собеского (сейчас этот портрет уже не в Эрмитаже, а в Вашингтонской национальной галерее и считается портретом польского дворянина). Кипренский, судя по всему, как многие талантливые люди, например Петров-Водкин, с детства лелеял архетипический миф о своей избранности и высоком происхождении. И крестьянина Адама Швальбе он видел неким «королем в изгнании». В католическом брачном свидетельстве он именует его Адамом Копорским, явно повысив в знатности. Да ведь и себя не обидит — в том же свидетельстве назовет себя «кавалером», что упоминают и итальянские авторы.

Владимир Толбин не был академическим ученым, довольно часто что-то путал, ошибался, искажал некоторые факты, и Брук с Петровой педантично отмечают в своих комментариях его многочисленные огрехи . Как без огрехов? Я сама недавно, к большой своей досаде, обнаружила в своей книге о Кипренском глупейшую путаницу с письмом из Рима сына Карамзина. Есть такая путаница и у наших авторов, поместивших картину Кипренского «Читатели газет в Неаполе» (1831) не в Третьяковку,

а в Русский музей. Или называющих замужнюю даму, сестру Александра 1 Екатерину Павловну не великой княгиней, а великой княжной.

Неприятно, но бывает! Однако какие бы замечания ни делались Толбину, никто из комментаторов не считал его автором фальсификаций, человеком, который «сочинил» письма Кипренского. Не то с итальянскими исследователями! Они-то добрались до истины! Поразительное письмо Кипренского перед его отъездом из Италии кардиналу Консальви, где он, в сущности, поручает ему свою Мариуччу и о котором упоминает в воспоминаниях его друг Самуил Гальберг, покоряющее торжественным тоном и аристократической свободой выражения мысли даже в переводе на русский,— они считают подделкой. Почему? Да все то же — не нашли в папских архивах его автографа. В конце концов письмо могло быть передано кардиналу из рук в руки, он мог его сжечь или хранить где-то в другом месте. Толбин пользовался итальянским черновиком письма, сохранившимся у профессора живописи Алексея Маркова. Кстати говоря, еще Карл Брюллов, покидая Рим в 1835 году для морской поездки в Малую Азию, все свое «хозяйство» (это могли быть, как я понимаю, не только вещи, но и книги, картины, письма) поручал этому Маркову, которого считал посредственным живописцем, но, вероятно, надежным «хранителем». Вот и какие-то личные бумаги Кипренского, впоследствии исчезнувшие, вполне мог «унаследовать» Марков, который, среди немногочисленных русских пенсионеров-художников, участвовал в его похоронах в 1836 году. Наличие бумаг Кипренского у Маркова итальянские исследователи тоже считают «недоказанным». Остальные их возражения против подлинности письма и вовсе поражают какой-то догматической узостью. К примеру, авторы недоумевают, как мог художник, вынужденно покидая Италию в 1821 году, знать, что через много лет вернется и обязательно женится на оставляемой Мариучче. Но это говорит только о том, что подлинного Кипренского наши авторы не видят и не понимают. Не понимают того, что уже Толбин прекрасно понимал: «Все, однажды задуманное и решенное в душе, Кипренский преследовал упорно, как римский гладиатор, отстаивая однажды занятое им поле до последнего истощения сил...» Да ведь он действительно вернулся и женился на Мариучче, проявив невероятные чудеса упорства! И снова забавный штрих: не веря подлинности письма Кипренского Консальви, авторы вынуждены признать, что, вероятно, что-то вроде этого письма и решило проблему девочки, по сути, сироты, включив в игру всесильного кардинала, поместившего ее в монастырский приют! Мне кажется, что прежние, «невыполняемые» распоряжения по поводу Мариуччи писались папской канцелярией и просто заверялись его подписью (как это часто бывает). Но тут он получил личное письмо, да еще от известного в Италии русского художника, да еще такое прекрасно-возвышенное, что и заставило кардинала действовать. Однако местонахождение девочки он «засекретил» от всех.

Мне кажется, что в толбинской биографии Кипренского приводятся живые и яркие личные материалы, без которых жизнеописание художника было бы во многом таким же безликим, как фотография на официальном документе. А он был причудливый, странный, «безумный»!

И несколько слов о новых атрибуциях. И тут удивляет какой-то узкий, чисто внешний, «документальный» подход, не учитывающий реальную жизнь художника. Авторы много пишут о возможном прототипе «армянского священника» на одноименном портрете, меняя его датировку и считая «шедевром» художника (Музей Торвальдсена, Копенгаген, нач. 30-х годов). Подходящей кандидатурой они считают Джоакино Валамонте, уроженца Ионических островов, то есть, по всей видимости, не армянина, а грека. Но сам Кипренский, как кажется, шедевром портрет не считал, изобра-

зив на оборотной стороне портрета (уникальный случай!) прелестного обнаженного мальчика-натурщика. Портрет священника в этом случае становится словно некой «ширмой», скрывающей работу, в которой затрагивались какие-то табуированные для художника мотивы. Табуирован, судя по всему, был для него мотив «натурной», а не со слепков женской наготы, о чем я много пишу в своей книге. И обнаженный мальчик словно бы был подступом к этой табуированной теме, при том, что в Петербургской Академии художеств молодой Кипренский с блеском писал обнаженных взрослых натурщиков-мужчин.

Вызывает сомнения и атрибуция замечательных женских графических портретов 1829 года из Русского музея, созданных в Неаполе. Авторы готовы все три сделать портретами сестер Рибопьер, живших в это время в Неаполе. В настоящее время только один из портретов атрибутирован как портрет шестнадцатилетней Софьи Рибопьер, в будущем замужестве графини Голенищевой-Кутузовой. Мне представляется более правдоподобной и гораздо более тесно сопряженной с жизнью художника атрибуция, предложенная российскими авторами в сборнике документов под редакцией Якова Брука. Там «Портрет молодой девушки с мальтийским крестом» предположительно атрибутирован как портрет Мариуччи (а не тринадцатилетней Марии Рибопьер, как у итальянских авторов). В самом деле, героиня портрета и поворотом головы, и нежным округлым овалом лица очень напоминает Мариуччу из раннего наброска художника (1821—1822). После второго приезда в Италию в 1828 году Кипренский наконец находит в Риме повзрослевшую и расцветшую Мариуччу, что, конечно, отразилось на образе изображенной девушки. Я бы еще добавила, что тут возникает поразительное противопоставление двух типов женской красоты. В глядящей искоса на зрителя неотрывным «сверлящим» взором Софье Рибопьер есть что-то зловещее, почти демоническое и искушающее. Это «дьяволица», вакханка. А в девушке со второго портрета явлена некая «ангельская», добрая и светлая природа, которую художник усматривал в своей Мариучче. Недаром свой последний холст «Ангел-хранитель детей», к несчастью утраченный, он писал с нее.

Вызывает сомнение и новая атрибуция анонимного автора некролога Кипренского, помещенного в «Художественной газете». По версии российских исследователей — это художник-пейзажист Филипсон (Филиппсон), хороший знакомый Кипренского, живший от него поблизости или даже в одном доме. Итальянские авторы приписывают авторство архитектору А. Горностаеву, приехавшему в Рим лишь за два года до смерти Кипренского, личное знакомство которого с художником весьма проблематично. В письмах Кипренского он не упоминается, в отличие от Филипсона. Почему же не Филипсон? Он, мол, по свидетельству Сильвестра Щедрина, уехал в 1824 году в Россию. Но в комментариях российских исследователей он действительно уехал, но потом возвратился в Италию. Так зачем же огород городить, предлагая совершенно постороннюю для Кипренского фигуру в качестве автора проникновенного, с массой личных подробностей некролога?

Повторюсь, в книге итальянских исследований есть множество новых ценных документальных свидетельств и новых фактов, но и много «пены», которая затрудняет ее чтение, а порой вызывает некоторые сомнения даже во вполне документированных свидетельствах.

Вера ЧАЙКОВСКАЯ

Книжный остров

Денис Хрусталёв. Димитриада. Начало. СПб.: Реноме, 2024. — 280 с.

15 мая 1591 года погиб царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного. Было ли это заказное убийство (и кто тогда заказчик) или несчастный случай (согласно первичному заключению следственной комиссии В. Шуйского), до сих пор остается загадкой. Документов мало, подозреваемые в убийстве царевича были сразу же убиты, улики уничтожены, ключевые свидетели, мать царевича и сам Шуйский, неоднократно меняли свои показания: несчастный случай, спасение, убийство. Денис Хрусталёв, специалист по истории Древней Руси, предлагает свой опыт художественной реконструкции гибели царевича. В беседе с корреспондентом «Литературной газеты» (12 августа 2024) он так говорит о своем замысле: «Мне интересно было представить, что думали современники, как они представляли события, как пытались разобраться. В их информационном поле не было статей, публикаций, интернета — в их распоряжении были только слова, рассказы, слухи, видения. Как они с этим справлялись? Что за круги расходились по водной глади истории? Вот погиб царевич. Мало ли такого случалось?! Детская смертность, несчастные случаи — частотное явление. Но в нашем случае не так — событие в итоге сотрясло страну, повергло ее в Смуту, многие страдали, многие погибли. Герои книги проходят через эти страсти». Среди героев — политики, военные, иноземцы, дьяки, торговые люди — и дети... Кто-то становится невольным свидетелем драмы, а порой и ее соучастником, кто-то плетет изощренные интриги, кому-то пришлось вести расследование смерти царевича. В каждой из шестнадцати глав — свой герой, и у каждого из них свой «ареал» обитания: царские палаты, боярские усадьбы, купеческие подворья, посадские дворы, лесные дебри. И у каждого — свои заботы и тревоги: масштабные государственные; частные своекорыстные; приземленные насущные. Иногда их пути пересекаются, иногда нет, ибо находятся они на разных концах сословной лестницы. Среди персонажей личности известные, исторические. Умный и расчетливый Борис Годунов, который в скоропалительно начавшихся московских пожарах разгадал замыслы Нагих, родственников матери царевича, отстраненных от престола и загнанных в глушь, желающих вернуть себе власть да всласть пожить. Это они после гибели царевича подговорили угличских посадских на бунт, намеревались перенести бунт в Москву и в другие города. Метод знакомый: еще памятно, как такие же пожары пошли гулять по Москве, когда бояре выступили против Глинских. Главное, возбудить народ против действующей власти. (Годится на все времена.) Не исключено, что в бунтах был и английский след: Афанасий Нагой, опытный дипломат, что десять лет провел в Крыму, из которых год под арестом, но даже оттуда умудрялся передавать вести в Москву, ныне едва ли не войско припас. Не на аглицкие ли деньги? Среди героев есть и аглицкий гость, лицо реальное, представитель Английской торговой компании англичанин Джером Горсей, по-русски Еремей, обворожительный красавец и предмет вожделения царицы Марии, балбес с точки зрения Посольского приказа. Который, однако, лоббирует интересы британской торговли, занимается шпионажем «под дипло-

матическим прикрытием» и готов поучаствовать в политической жизни «московитов». А в слугах при нем некто Уилл, Ульян, что рыдает над действом ярмарочных постановок, будущий Уильям Шекспир. Среди реальных лиц и хитрющий князь Василий Шуйский, мечтающий о московском престоле, и его соратники по следствию о гибели царевича. Ход сыска по «углицкому делу» изложен очень подробно, приведены обширные выписки из следственного дела. И в следствии, и в жизни героев романа особую, важную роль играют ведьмы и колдуны, свободно жившие в Угличе и окрестностях. Характерная особенность эпохи, когда сама вера в магические силы делала эти силы действенными. Вот и маленький, рыжий, прыщавый, с руками разной длины, с наростом на носу, с бородавкой над левым глазом, мальчик Юшка, сын московского стрельца и житель Углича, став невольным свидетелем злодейства, учиненного над царевичем (видел, но не понял, как получилось), вынужденно бежит из Углича. По дороге встретит своего ровесника — здравомыслящего мальчика Кузьму из Нижнего Новгорода, где у его отца Мины мясная лавка на торгу. Попадет к разбойникам, от них к ведьме, а там и к Горсею. А пережив околосмертный опыт, уверует, что он есть царевич, которого пытались убить. Не Юшка, а Дмитрий. Читай — будущий Лжедмитрий. Во времена, когда ждали конца света, верили в колдовство, потусторонние силы, воскрешение, ангелов и злых духов, неудивительно, что и Годунов, и мать Дмитрия, и весь народ впоследствии искренне считали, что в Отрепьеве могла воскреснуть душа царевича. Каждому герою посвящена отдельная глава. Дважды героиней — начальной и финальной глав — становится лишь мать царевича Мария Нагая, в первой главе юная девочка, в четырнадцать лет ставшая супругой великого царя, в финале — безутешная мать, потерявшая ребенка. Ткань романа насыщена историческими реалиями: история рода Шуйских, основание Угличского кремля, бунты против Глинских. Есть и досадные неточности: запорожский чуб у Годунова, монашеский куколь на голове бабы, троеперстие, хотя до реформы Никона единственно верной обрядовой нормой оставалось двуперстие. Книга написана подчеркнуто современным языком, в тексте встречаются слова вроде «беспредел» или «амфитеатр» (в применении к постройкам того времени), «кинематографическая дорога». Но прямая речь героев выдержана без модерной лексики. Не без классики. «Живая власть для черни ненавистна, любить они умеют только мертвых» — в устах Бориса Годунова. Узнаваемо? Окончательную версию давней гибели царевича Дмитрия автор не предоставит. Есть лишь намек. А не Мария Григорьевна, дочь Малюты Скуратова, тайно или явно подтолкнула убийц? Д. Хрусталёв соединил разные, но колоритные миры, наполнив их множеством персонажей, центральных ли, второстепенных, но безусловно «всамделишных», в единый большой многоголосый русский мир конца XVI века, охватив при этом широкое пространство Московской Руси: Москва, Поволжье — Углич, Нижний Новгород, Ярославль, — Архангельск. И мир этот получился очень достоверным.

Оленина А. А. Дневник. Воспоминания / Сост., коммент. Л. Г. Агамалян и В. М. Файбисовича. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2024. — 453 с.

Юной Анне Алексеевне Олениной (1807—1888) Пушкин посвятил более 10 стихотворений («Ее глаза», «Пустое Вы сердечным ты...», «Не пой, красавица, при мне»...) и многие строфы «Онегина». Она была младшей дочерью А. Н. Оленина, совмещавшего две важные должности — директора Императорской Публичной библиотеки и пре-

зидента Императорской Академии художеств, что делало его одной из центральных фигур в литературно-художественной жизни столицы. В доме Олениных собирались выдающиеся люди первой трети XIX века. И в съемном городском особняке на набережной Фонтанки, и в пригородной усадьбе Приютино, находившейся в 17 верстах от центра столицы, усилиями хозяина и его супруги была создана удивительная атмосфера гармонии и добра. Таланты маленькой Аннет расцветали в идиллической обстановке. Ей было чуть более девяти лет, когда дом Олениных впервые посетил «юноша Пушкин». Спустя десять лет поэт, вернувшийся из ссылки в Петербург, вновь стал частым посетителем салона Олениных и своим человеком в Приютине. Анна Алексеевна уже была назначена фрейлиною. При дворе считалась одной из выдающихся красавиц. Хорошо пела, кроме неизбежного французского, знала английский и итальянский языки, играла на фортепьяно и превосходно владела искусством верховой игры. Она выделялась блестящим игривым умом и любовью ко всему изящному. Была миниатюрна, очаровательна и жизнерадостна. Впервые испытала глубокое сердечное чувство, оставшееся безответным. А весной на ее горизонте появился А. Пушкин, затмивший возможных претендентов на ее сердце. О том, как складывались отношения Пушкина и Олениной, как проходили их встречи, подробно рассказывает во вступительной статье «Пусть все мысли мои в нем сохранятся...» В. Файбисович. Пушкин просил руки Анны Алексеевны, но получил решительный отказ. Существует несколько версий причин отказа, они также изложены в предисловии. В. Файбисович считает, что увлечение Анны Алексеевны Пушкиным было продиктовано тщеславием, столь простительным в 20 лет. Серьезность намерений Пушкина отрезвила ее, а его порывистой и безудержной натуры она просто побаивалась. 5 сентября 1828 года Пушкин нанес последний визит в Приютино, встречен был холодно. Анна Алексеевна вышла замуж в возрасте 32 лет. Ее мужем стал полковник лейб-гвардии Гусарского полка Ф. А. Андро. В 1844 году она переехала с ним в Варшаву, где прожила около 40 лет. Дневник Олениной дошел до нас по счастливой случайности, сохранившись в годы войн и революций у ее внучки. В 1920-х годах внучка отдала его своей двоюродной сестре О. Оом, эмигрировавшей во Францию. В 1936 году О. Оом опубликовала его, предпослав ему краткое посвещение. Публикация была замечена в СССР, но серьезно пушкинисты обратились к дневнику уже после войны. В 1966 году сын О. Оом, В. Звегинцев, принял решение отправить на родину часть семейного архива. Через И. Зильберштейна он передал в Центральный государственный архив литературы и искусства рукопись в темно-красном сафьяновом переплете с золотым обрезом и тисненной золотом надписью «Annette» — дневник А. Олениной. И две главы ее воспоминаний. Исследования показали, что в парижском издании текст дневника приведен не полностью, притом со многими неточностями, перестановками, изменениями. Недочеты были и в публикациях дневника в России. Со дня выхода предыдущего издания (СПб., 1999) дневника миновало почти четверть века. За это время появились важные публикации, связанные с семьей Олениных, обнаружены новые документы и изобразительные материалы. Настоящий текст публикуется по оригиналам, хранящимся в РГАЛИ, «журнал» и записки А. Олениной представлены в полном объеме, с дополнениями и исправлениями неточностей. Журнал велся на русском и французском языках, преимущественно в 1828—1829 годах, но в нем есть и отдельные записи 1830—1831 и 1835 годов. История семьи Олениных неразрывно связана с большой русской историей. Первенец А. Оленина, Николай, погиб в битве при Бородино. Кенотаф, установленный в 1813 году родителями в память о сыне, и по сей день, хоть и полуразрушенный временем, стоит в парке Приютина. Сын Петр служил в Семеновском полку, где в октябре 1820 года произошли беспорядки. Знако-

мые и родные Олениных оказались замешаны в движении декабристов. Только благодаря заслугам отца Петру удалось избежать наказания. Не обошло стороной Олениных и знаменитое наводнение 7 ноября 1824 года. Однако дневник А. Олениной не может служить ни хроникой ее эпохи, ни даже хроникой ее семьи: многие важные семейные события — свадьбы, рождения племянников, смерти близких — остались за пределами дневника. Есть отголоски. Отзвуком на декабрьское восстание является упоминание о благодарственном молебне, который она отслужила при известии, что с узников сняли цепи. Другим источником волнений в 1828—1829 годах для нее стала русско-турецкая война, в которой принять участие намеревался ее брат Алексей. Основной лейтмотив дневника — мечта о любви и создании семьи; его содержание — история увлечений Анны. А ее позднейшие воспоминания стали для нее внутренним убежищем от неурядиц лишенной тепла семейной жизни, прошлое приобретало идеальные черты. «Помните ли вы то счастливое время, где мы были молоды и веселы, и здоровы! Где Пушкин, Грибоедов и вы сопутствовали нам на невском пароходе в Кронштадте. Ах, как все тогда было красиво и жизнь текла быстрым шумливым ручьем...» — писала Анна Алексеевна П. А. Вяземскому 18 апреля 1857 года, как будто и не было в этом прошедшем страданий неразделенной любви, мучительной нервной болезни, уязвленного самолюбия красавицы, которую не берут замуж, — и даже бури с грозой и ливнем на обратном пути из Кронштадта. И все-таки дневник и воспоминания А. Олениной — ценнейший памятник русской мемуарной литературы, в котором имена Пушкина и Крылова, Вяземского и Грибоедова, Мицкевича и Виельгорского, Глинки и Гумбольдта органично и простодушно вплетены в ткань повседневного повествования. «Эти имена, — пишет В. Файбисович, — мелькают на исповедальных страницах засидевшейся в девушках красавицы, всплывают в потоке городских новостей (порою с легким привкусом сплетни), любовных драм и светских интриг». А обширные, богатые комментарии, в деталях воссоздающие далекую эпоху и страсти живших в ее время людей, делают прошлое близким.

Владимир Конецкий. Русь Новгородская: первые века. 2-е изд. СПб.: Крига, 2024. — 400 с.

Новгородский историк высказывает свой взгляд на древнюю историю северо-запада России и ее исторического центра — Новгорода. Владимир Конецкий опирается на исследования в области истории, археологии, антропологии, этнографии, языкознания. Его труд охватывает огромный период: с глубокой древности — эпохи неолита — до XI века. Автор идет по следам наших забытых предков, ищет исчезнувшее племя, оставившее длинные волнообразные насыпи-курганы на псковско-новгородских землях. Погребения, языческие храмы? Стремясь разгадать, кем были древние насельники нашего Северо-Запада, В. Конецкий создает яркую и динамичную картину, в которой есть место и скандинавам, и хазарам, и болгарам, и балтийским племенам — пруссам и курушам. Миграционные процессы древности, вызванные прежде всего перенаселением, во второй половине I тысячелетия привели в Приильменье первых славян. В настоящее время, указывает автор, единое мнение по поводу исходной точки миграции отсутствует. Традиционная и наиболее распространенная: будущую Новгородскую землю заселили выходцы из коренных славянских территорий севера Украины и юга Беларуси, согласно другой — предки новгородцев вышли из Балтийского Поморья. Сам автор отдает приоритет первой. По ходу книги он постоянно при-

водит разные, порой противоречивые гипотезы, толкования, интерпретации. Высказывает свою точку зрения. Разбирая летописи, исследователь стремится определить, что можно считать фактом, а что выдумкой, кто является реальным действующим лицом, а кто фантомом. Кто они, Словен, Буривой, Гостомысл, Вандал и пришедшие им на смену то ли скандинавы, то ли западные славяне — Рюрик со товарищи? А был ли Рюрик? Какое влияние на содержание летописей оказали международный фон, политические и социальные реалии Ладоги? Что можно считать оригинальным авторским воззрением, а что заимствованным? Откуда есть пошло имевшее много оттенков слово «русь», не раз менявшее свое значение во времени, и связано ли оно с Рюриком? Естественно, автор рассматривает и рождение «норманнской теории», и многовековые страсти вокруг нее. В. Конецкий подробно пишет о том, как происходил процесс освоения территории, являвшей собой почти сплошной массив лесов и болот, будущей Новгородчины. Пишет о рождении нового города, уходившего вниз по течению Волхова от первоначального центра — Рюрикова городища, о становлении Новгорода как центра Северной Руси. Он воссоздает жизнь древних новгородцев: образ жизни, торговля, быт, социальное устройство, материальная культура, сочетавшая славянские и скандинавские элементы. Реконструирует топографию средневекового города, отмечает характерные черты новгородских усадеб. Указывает, что мост через реку Великую — место публичных казней (обвиняемых сбрасывали в Волхов, передавая их судьбу в Божьи руки) и кулачных боев между жителями Софийской и Торговой сторон — для X века невероятен по конструкции. Он обозначает культовые места в Новгороде: языческие святилища и первые христианские храмы, раскрывает сакральные смыслы языческих обрядов, подробно с комментариями, пишет о том, как крестил Новгород Добрыня, которому, согласно Иакимовой летописи, противостоял главный языческий жрец Богомил, прозванный за красноречие Соловьем. Героями книги являются и первые русские князья: Олег, Ольга, Игорь, Святослав, Владимир. Поступки, мотивация, действия, достижения, отношения между собой и с новгородцами. Неожиданно ряд вопросов древней истории выглядит актуально. Так, автор дает ответ на вопрос, являются ли северные великороссы ославлянными финнами, или аборигенное население вовсе не принимало участие в формировании древнерусской народности. Исследуя, как были связаны между собой славяне (летописные кривичи), финно-угорские племена, загадочная чудь, опираясь на археологические данные и древние источники, автор доказывает, что русский народ, а соответственно, и новгородцы произошли от славян. Он считает, что финно-угры сыграли роль в формировании новгородцев как особой культурно-языковой группировки в составе населения Древней Руси, но пассивную. Что контакты племен на раннем этапе могли быть отнюдь не дружественными, но постепенно приобретали более мирный характер, и темпы ассимиляции существенно ускорялись с исчезновением хозяйственно-культурного барьера при заключении межэтнических браков. Это скандинавы были славянизированы, когда возникла необходимость контроля над северным отрезком торговых путей между Ладогой и будущим Новгородом, и скандинавы и славяне вынужденно консолидировались, когда потребовалось устоять против новых волн выходцев «из-за моря». В центре внимания автора находится ключевой момент национальной истории: а именно где начинается история нашего государства. В Киеве, провозглашенном «матерью городов русских»? Или в Новгороде, которому долгое время отводилась роль незначительной крепостицы, построенной киевскими князьями на окраине их владений? Безусловный приоритет Киева утвердился с конца 30-х до начала 80-х годов прошлого века по причинам, не имеющим прямого отношения к науке. Но

все-таки именно в Новгороде был установлен монумент, посвященный началу Руси, свидетельство признания важнейшего значения Северо-Западного региона с центром в Новгороде на раннем этапе сложения древнерусской государственности. Особая роль Новгорода в средневековой истории неоспорима. Необходимость контроля над международными торговыми путями Восточной Европы привела Олега в Киев. В дальнейшем Новгород стал гарантом единства Руси. Когда из-за княжеских междоусобиц возникала угроза распада государства, именно новгородские князья с помощью местных воинов и наемников-варягов овладевали Киевом, восстанавливая единство Севера и Юга. Новгородцы преследовали собственные интересы, но объективно они при этом способствовали становлению единого государства. Территория этого центра Северной Руси превосходила по площади любую из европейских стран того времени. Новгород надежно защищал границы русских земель от попыток агрессии с запада. Избежав монголо-татарского нашествия, он обеспечил непрерывность национального культурного развития. А объединение Новгорода с Москвой в конце XV века сыграло решающую роль в становлении России как одного из сильнейших государств в Европе.

Татьяна Верижникова. Иван Билибин. Эскиз портрета художника. Научно-популярное издание. СПб.: Аврора, 2023. — 64 с. , 46 ил. — (Серия «Библиотека» Авроры»).

С творчеством художника Ивана Яковлевича Билибина (1876—1942) знакомы даже те, кто никогда не слышал его имя. Это его иллюстрации к книгам, с которыми мы знакомимся в детстве, сделали зримым и ярким волшебный мир русских сказок и былин. Непроходимые лесные чащи, петляющие реки, прячущиеся озерца, окаймленные орнаментами, по которым бегают волки, растут подсолнухи и мухоморы, каркают воронята. Притулившиеся у дорог тихие деревушки, затаившиеся в дебрях избушки на курьих ножках, вышедшие на открытое пространство затейливые терема и роскошные царские чертоги. Мир, населенный сказочными красавицами, бесстрашными царевичами, могучими богатырями, говорящими животными и птицами, неведомыми зверюшками и существами. Сказочный мир русской старины Билибин творил и в театральных декорациях и костюмах, сделав серию блистательных работ в этой области. Много работал в журнальной графике, оттачивая различные типы композиций: титульные листы, заставки, виньетки, концовки, орнаментальные рамки. Он создал множество графических миниатюр: экслибрисы, марки-эмблемы, открытки, плакаты, меню, почтовые марки, этикетки. Это сложный и трудоемкий вид искусства, требующий ювелирной точности мельчайших линий и их обобщения и композиции. Билибин — автор ряд статей по русскому народному искусству, пробуждавших интерес к сохранению памятников русского деревянного зодчества и национального русского стиля, прикладного искусства. Россия всегда являлась центральной темой в творчестве художника. Но с той же чувственно осязаемой жизненностью и характерностью, с какой Билибин воссоздавал родную русскую старину, он воссоздавал экзотический Восток Черномора и окутанный иероглифической вязью Древний Египет, сурово-сдержанную, молчаливую Испанию и пряную, скрытую орнаментальной фатой Индию. В театре он одинаково свободно воспроизводил национальный стиль в эскизах декораций и костюмов по испанской, английской, египетской теме, в иллюстрациях к западноевропейским книгам искусно увязывал литературную идею

и графический образ. Он один из тех, кто творил Серебряный век русской культуры, превосходно знал историю, искусство, этнографию, археологию, с уважением относился к культуре разных стран и эпох. Культуру русского Серебряного века он нес и далеко за границы России. Но и новые впечатления обогащали его палитру. Татьяна Верижникова рассказывает о творчестве и судьбе художника. Семья, выбор пути — из правоведов в художники, становление художника, влияния, формирование манеры письма, рост профессионального мастерства, художественные задачи и решения, тайны мастерства, искусствоведческий анализ конкретных произведений и работ разных жанров, на родине и за рубежом, дополненный иллюстрациями. Исследователь считает, что важнейшие впечатления, ставшие для художника судьбоносными, определившими центральную тему в его творчестве, – поездка в 1899 году в тверскую деревню и картина В. Васнецова «Богатыри». Т. Верижникова дает определение тому, что вкладывается в понятие «билибинский стиль»: безошибочное чувство национального в образной идее, талант и мастерство. На репродукции с портрета работы Б. Кустодиева (1901) Билибин предстает как красивый, элегантный молодой человек, самодостаточный, уверенный в себе, с живым огоньком в глазах. «Он был большим эстетом, — пишет Т. Верижникова, — его строгий взыскательный вкус проявлялся во всем, что его окружало, — в обстановке квартиры или мастерской, похожих на музеи, в одежде». По воспоминаниям современников, он был «всегда слегка надушен, с выхоленными руками и кружевным белым платком, кокетливо выглядывающим из бокового карманчика пиджака (или визитки), он не любил ничего кричащего, пестрого и выглядел (на первый взгляд) натянутым „светским человеком“, будучи по натуре чрезвычайно прост и общителен». В 1919 году этот эстет оказался в трюме завшивленного эмигрантского парохода, отправившегося из охваченного паникой Новороссийска в Египет. Иван Яковлевич вспоминал: «Ехали в полутемном трюме, в темноте и духоте. Беженцы спали на полу, сбившись семейными кучками. Безостановочно стоял крик и плач детей». Зигзаг российской истории привел художника под Каир в концентрационный лагерь Тель-эль-Кебир в раскаленной пустыне. И здесь Билибин, выдержавший тяготы исхода, затосковал и впал в отчаяние. «Черный период» закончился, когда он получил разрешение на кратковременные отпуска в Каир. Его репутация и профессиональная работа спасли его и как человека, и как художника. Он делал эскизы интерьеров для тамошних греческих купцов, рисовал портреты, пейзажи, декоративные композиции, фрески во всех стилях и любых размеров. Но и Каир, а затем Александрия подарили ему новые, яркие впечатления, «словом, садись и рисуй восточную сказку». Европейская сказка оказалась все-таки ближе. В 1925 году Билибин переезжает в Париж, где много и плодотворно работает в театре и в книгоиздательствах. Множество оперных трупп, выехавших из России, забрасывают художника заказами. В 1936 году, несмотря на парижский успех, Бибилбин возвращается на родину. К северным лесам, наличникам и куполам. К людям, которые говорят на родном языке. Он едет в Ленинград и сразу же начинает преподавать в графической мастерской Всероссийской Академии художеств, получает заказы на оформление книг, на декорации и костюмы к спектаклям. Он все так же востребован, его оценивают по достоинству, присваивают степень доктора искусствоведения. Судьба Билибина не была легкой, а жизнь ровной. При всей своей творческой востребованности и внешнем благополучии он не раз был несчастлив в личной жизни: два расторгнутых брака и одна отвергнутая любовь — раны художника. В конце жизни он совершит гражданский подвиг. Он откажется эвакуироваться по «Дороге жизни» из блокадного Ленинграда – количество мест ограничено, надо оставить их для женщин и детей. И ска-

жет: «Из осажденной крепости не бегут, ее защищают». Иван Билибин умер в возрасте 66 лет в первую блокадную зиму в вековых подвалах Всероссийской Академии художеств, где в 1941—1942 годах размещался стационар-бомбоубежище для сотрудников. Жизнь и судьба художника и его творений в маленькой, но емкой книге.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит издательства
за предоставленные книги

Редакция журнала «Нева» поздравляет с семидесятипятилетием нашего давнего автора Дмитрия КАРАЛИСА — прозаика, сценариста, публициста и общественного деятеля, соучредителя Центра современной литературы и книги, автора двадцати книг прозы и публицистики, а также автора четырех сценариев документально-исторических и художественных фильмов, лауреата нескольких международных и общероссийских литературных и кинопремий.

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ХАРБИН — «РУССКИЙ КИТЕЖ»

Часть 18

ХАРБИН УШЕДШИЙ...

Многие помнят картину Павла Корина «Русь уходящая». В 20—30-е годы Русь «уходила» из Советской России, однако была жива в соседней Маньчжурии, по которой проходила КВЖД, с ее «столицей» Харбином. Здесь по-прежнему сохранялись христианские традиции, и лишь в 50—60-е годы китайские коммунисты «ушли» «Русь зарубежную»: большинство храмов было снесено, а их убранство предано огню. Но «рукописи не горят», и по запискам старожилов можно составить антологию под условным названием «Православный Харбин».

Вот некоторые свидетельства коренных харбинцев. Пишет Ольга Алексеевна Скопиченко[1]: «Среди текущих забот все время встает в памяти наш Харбин, Харбин прошлых лет, Харбин первых лет беженства, Харбин, где для многих из нас прошли наше детство и юность. И, переворачивая страницы памяти, невольно возникает в душе благодарность к прошлому, к тому прошлому, которое навсегда осталось в душе светлым воспоминанием минувших дней. По воле Божией, мы покинули свою страну, попали в уголок прежней России, так как Харбин был истинным русским городом. И долгие годы мы жили не на чужбине, а дома в городе, сохранившем русские обычаи, старую русскую жизнь»[2].

«Маньчжурия надолго стала оплотом старой православной России, которую мы тогда потеряли. Церковь служила нам утешением и прибежищем в скорбях, лишениях и утратах. Здесь нашли свое продолжение русские православные традиции, вытравленные и уничтоженные в России за годы безбожной власти, — пишет Георгий Виталье-

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

[1] Скопиченко Ольга Алексеевна (в замужестве Коновалова) (1908—1997))— русская поэтесса и писательница. С 1923-го по 1928 год жила в Харбине, затем в Тяньцзине и Шанхае. С потоком русских беженцев, уходивших от побеждавших в гражданской войне в Китае коммунистов, в 1948 году эвакуирована на о. Тубабао (Филиппины), где прожила два года в лагере русских беженцев. С 1950 года жила в Сан-Франциско, занималась литературной и общественной деятельностью; много лет сотрудничала с сан-францисской газетой «Русская жизнь».

[2] Скопиченко О. А. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1993. С. 56.

вич Хатковский[3]. — Для русских, живших в Китае, православные праздники были частью бытия людей: хождение со звездой на Рождество, Крещенское водосвятие, Масленица, Прощеное воскресение, Великий пост, Вербное воскресение, Пасха, Троица и другие праздники. Все это одухотворяло жизнь, вносило в нее нравственность, красоту, чувство единения и самосознания русских харбинцев»[4].

Свидетельствует уроженка Харбина Маргарита Павловна Таут[5]. «Люди, выросшие в эмиграции, в частности в Харбине, по общему признанию, отличаются своим менталитетом от типичных представителей советской формации. Дело в наших истоках. В Харбин, русский город на китайской территории, наши деды и отцы, строившие КВЖД и бежавшие от большевиков, привезли с собой бесценный багаж — нравственную атмосферу и понятие духовности, свойственные дореволюционной России. Видимо, промыслом Божиим этому городу было предначертано на более длительный, по сравнению с другими эмигрантскими центрами, срок законсервировать островок дореволюционного быта и русского православного духа. Хочется верить, что суждено это было не только для истории, но чтобы способствовать возрождению на нашей исторической Родине тех ценностей, которые старшие поколения харбинцев вывезли из России и свято берегли»[6].

Праздник Воздвижения Креста Господня

Праздник установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 325 или 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Иисуса Христа. В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, — его возвращение из Персии в 631 году после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. Персидский царь Хосров II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и в том числе увез Крест Иисуса Христа. Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии I (610—641), который победил Хосрова, был возвращен и торжественно принесен в Иерусалим.

Название праздника обусловлено обычаем Церкви на Востоке, восходящим к IV веку, ритуально воздвигать крест во время богослужения. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижение, отмечается Русской православной церковью 27 сентября и относится к числу 12 главных церковных праздников.

Епископ Нестор (Анисимов)[7]*:* «Осень все приближается. Жаркие дни сменяются уже прохладными и прямо холодными ночами, деревья становятся совсем золотистыми

---

[3] В 1922 году после победы красных на Дальнем Востоке в Харбине оказался Виталий Мечиславович Хотковский (Хатковский), царский офицер, прошедший Первую мировую и Гражданскую войны. Он эмигрировал в Китай вместе с женой и двухлетним сыном Георгием. Вся юность Георгия Витальевича прошла в Харбине. В 1947 году Георгий Витальевич вернулся в Россию, он жил в Тюмени до конца жизни.

[4] Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

[5] Маргарита Павловна Таут родилась, выросла и работала в Харбине. В 1960 году вместе с семьей вернулась в Советский Союз, семья поселилась в Ташкенте. М. П. Таут окончила Ташкентский институт иностранных языков и позднее психологический факультет Ленинградского государственного университета и там же аспирантуру по кафедре социальной психологии. Маргарита Павловна — автор многих статьей и воспоминаний в журнале «Русская Атлантида», который был организован челябинскими харбинцами в 1998 году. Живет в Подольске (Московская область).

[6] Таут М. П. «Храня в душе воспоминанья». http://pravsvet.ortox.ru/tvorchestvo/view/id/1108374. Дата посещения 03.05.2024.

[7] Нестор (Анисимов) (1884—1962) окончил Казанское реальное училище; послушник казанского Спасского монастыря. В 1907 году пострижен в монахи, отправлен миссионером на Камчатку.

и пунцовыми, но яркое маньчжурское солнце еще посылает на землю свои горячие лучи, и в многочисленных харбинских садах еще много прекрасных маньчжурских цветов,

И вот, когда наступает праздник Воздвижения Креста Господня, аналой, на который кладут святой крест, утопает в цветах. Торжественно и величаво проходит всенощная накануне Воздвижения. И под пение трисвятого, после великого славословия, чинно выходит из алтаря ряд за рядом сонм священнослужителей, свещеносцы, диаконы, священники, епископ на главе своей несет святой крест, священники поддерживают его, а иподиаконы с рипидами и свечами окружают епископа и священников, склоняя рипиды перед крестом. Медленно, медленно проходит эта процессия по церкви среди густой толпы народа. Сердца бьются тихим горячим пламенем, уста шепчут молитву, раздается приглушенный тихий плач, как волны моря, склоняется народ перед знамением креста.

Потом торжественно-победно, в знамение победы, победившей мир, епископ на кафедре воздвизает святой крест над всею церковью, осеняя четыре стороны, под мощное, умилительное пение хора: „Господи, помилуй". Незабываемы, действительно глубоко величавы и умилительны эти часы напряженной молитвы и пламенного молитвенного восторга»[8].

С. С. Троицкая[9]*:* «На всенощном бдении под праздник Воздвижения Креста Господня глубоко волнующие переживания испытывает христианская душа, когда архиерей, стоя на кафедре посредине церкви, медленно воздвизает (поднимает) Святой Крест и также медленно опускает его при многократном пении хора *Господи помилуй*, начиная с громкого, доводя до еле слышного и снова усиливая, так что последнее Господи помилуй звучит громко, торжественно»[10].

«Ноябрьские...»

Епископ Нестор: «Все холоднее становится осень. И, наконец, в одно холодное утро в белой одежде снегов просыпается Харбин. Густой пеленой покрывает снежный саван весь город — и улицы, и высокие серые дома деловой части города, и маленькие уютные домики предместья Модягоу — собственность русских жителей. Снег блестит яркими красками под улыбкой солнца и кажется каким-то таинственным сказочным одеянием под белым светом луны. Ах, как красив в первом свежем, чистом, снежном уборе Харбин. Еще ближе становится он тогда русскому сердцу.

Зловещим и грустным пятном на фоне харбинской жизни выделяются в эти дни празднования советской революции. Над консульством СССР, над управлением КВЖД,

С 1916 года епископ Камчатский и Петропавловский. В 1917—1918 годах член Св. Собора Православной Российской церкви. В 1919 году Нестор возвратился на Камчатку; после установления советской власти на Камчатке перебрался в Харбин, где основал Камчатское подворье (1921). В 1933 году возведен в сан архиепископа. В 1945 году встречал советские войска в Харбине. В 1948 году арестован, содержался в лагере в Мордовии. В 1956 году назначен митрополитом Новосибирским и Барнаульским, в 1958 году — Кировоградским и Николаевским (1958—1962). Похоронен в ограде храма Патриаршего подворья Троице-Сергиевой лавры в Переделкине.

[8] Епископ Нестор. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 37—38.

[9] Троицкая София Семеновна (в девичестве — Фесюнова) (1915—2013) — певчая харбинских церквей, в том числе в харбинском Свято-Николаевском соборе. Жена соборного регента Михаила Троицкого. Во второй половине 1950-х годов эмигрировала в Австралию, где также пела в храмах и была церковным регентом. Известный музыкальный деятель и церковный историк русской эмиграции. Автор книг о церквах и духовенстве Харбинской епархии и о музыкально-певческой культуре Харбина.

[10] Троицкая Софья. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. https://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1221.htm. Дата посещения 03.05.2024.

над Железнодорожным собранием и некоторыми другими официальными учреждениями загораются зловещим красным светом многочисленные иллюминации. Подданные серпа и молота вывешивают у своих квартир красные знаки. Когда-то этот день во времена тесной дружбы красной России и красного Китая праздновался в Харбине очень пышно. Теперь празднование его потускнело, и осталась только официальная часть, а православный русский люд в эти дни усиливает свою молитву за страдалицу Россию и оплакивает всех мучеников, убиенных на родной земле.

Крепчают морозы, холод пробирается уже в плохо отопленные дома бедноты, жжет холодным дыханием бедняков на улице, пробираясь под ветхие лохмотья их одежд»[11].

Святитель Николай Чудотворец — покровитель Харбина

Епископ Нестор (Анисимов): «В задушевной теплой молитве проходит праздник Николая Чудотворца — храмовый праздник кафедрального собора и нескольких городских церквей»[12].

Харбинский вокзал — главный узел железнодорожной сети Маньчжурии. Он был заложен и выстроен к концу сентября 1899 года. 1 октября 1899 года, в ознаменование окончания постройки вокзала, здесь отслужили молебен — впервые перед большим, в рост, образом святителя Николая, установленным в главном зале ожидания харбинского вокзала, в углу в большом красивом киоте. Перед ним днем и ночью мерцали и теплились десятки свечей, поставленных пассажирами, чтобы вымолить себе благополучное путешествие[13].

Эта икона находилась на вокзале с самого первого дня его существования и была почитаема не только православными, но и китайцами, которые, коверкая русские слова, называли Николая Чудотворца то *«Сталика вокзала»,* то *«Сталика Сунгали»,* то *«Его хороша сталика».* Возле иконы стоял свечной ящик, рядом на столе всегда лежали свечи и запечатанная металлическая кружка для денег, а также ящик с песком, куда ставили зажженные свечи[14]. Отправляясь в дорогу или возвращаясь, пассажиры считали своим долгом поставить свечку перед иконой и опустить деньги в кружку, а кто не имел возможности, тот ставил свечу бесплатно. Так поступали и многие китайцы. Поставив свечу, они опускались на колени, били поклоны и причитали на своем языке, а также прихлопывали в ладоши, чтобы святой их услышал[15].

Как на пример уважительного отношения китайцев к христианской вере и христианам можно указать на следующее обстоятельство. В Харбине на вокзале со времени постройки дороги находится икона святителя Николая. Когда пришли большевики, нашлись иуды-предатели русские, которые, желая выслужиться перед большевиками, предложили управляющему отдать распоряжение вынести икону. Но за святыню вступились китайцы, категорически заявившие: «*Эта старика 25 лет стоит, нам работа помогайла, его Ваша касайся не нады»,* и святая икона осталась на своем месте[16].

В 1926 году один пользовавшийся всеобщим уважением старик плыл в лодке через реку Сунгари, где она имеет более километра ширины. Началась буря, лод-

---

[11] Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 38.

[12] Там же (день святителя Николая — день памяти святого Николая Чудотворца, отмечаемый в православных церквах, использующих юлианский календарь, 6 (19) декабря).

[13] Там же.

[14] Тыкоцкий Г. Б. Православные храмы Харбина. Екатеринбург, 1999. С. 80.

[15] Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

[16] Баконина С. Н. Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 1920—1931 гг. На материалах Харбинской епархии. М.: Изд. ПСТГУ, 2014. С. 144—145.

ку опрокинуло, китаец, не умевший плавать, начал тонуть. В последнюю минуту он вспомнил про святого старца, изображенного в зале на вокзале, и возопил: *«Старика вокзала, помогай!»* И волны мягко донесли его до берега, выбросив на прибрежный песок[17]. Старик китаец в признательность за это чудо сделал перед чудотворным образом святителя Николая серебряные подсвечники и две серебряные доски, на которых по-русски и по-китайски было описано совершившееся с ним чудо. Этот китаец, считая, что своим спасением он обязан исключительно помощи святителя Николая, постоянно приходил на вокзал и ставил свечи перед образом святителя и молился перед ним по-своему[18].

В 1947 году вокзальный образ святителя Николая по распоряжению местных китайских властей был удален после долголетнего пребывания на харбинском вокзале и с подобающей честью перевезен в кафедральный Свято-Николаевский собор. Через несколько дней образ был установлен для постоянного пребывания в Иверской часовне при соборе. В кануны дней памяти святителя Николая у вокзальной иконы совершались ранние вечерние богослужения, а в самые дни праздника — молебны в течение всего дня[19].

Этот чудотворный образ, перенесенный в Свято-Николаевский собор, к сожалению, не избежал общей участи святынь, оставшихся в Китайской Народной Республике. Во время «культурной революции» 23 августа 1966 года он был сожжен хунвейбинами на огромном костре[20].

Новолетие

Г. В. Мелихов[21]*:* «Харбин... Конец 1916 года... Все ближе и ближе были драматические события, опрокинувшие сложившийся привычный уклад жизни не только в этом городе, как по мановению волшебной палочки выросшем за несколько лет на земле Китая в полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги, но и во всей матушке России. Но никто здесь об этих событиях и не подозревал, все оставалось пока по-старому, по-прежнему.

...В России старый стиль календаря, и Новый год, как ему и положено, наступает 13 января, после Рождества Христова. Установление позднее в советской России нового стиля (в полосе отчуждения он был введен только с 1 марта 1918 года) многими было встречено здесь в штыки и долгое время не принималось. „Не бывать тому, — говорили они, — чтобы Новый год родился ранее Рождества Христова!“ И только постепенно новый порядок вошел в повседневный обиход»[22].

---

[17] Нафанаил (Львов), архиепископ. Очерки русской жизни в Маньчжурии // Русская Атлантида. 2004. № 11. С. 30.

[18] Епископ Нестор. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 42.

[19] Падерин Николай, свящ. Указ. соч. С. 262.

[20] Поздняев Дионисий, свящ. Православие в Китае (1900—1997 гг.). М., 1998. С. 161.

[21] Георгий Васильевич Мелихов (1930, Харбин — 2019, Москва) — советский и российский историк, специалист по истории Китая. Родился в Харбине в семье железнодорожника, строителя КВЖД. Учился в лицее Святого Николая, Харбинском политехническом институте. В 1950—1955 годах преподавал русский язык в Народном и Пекинском университетах. По возвращении в СССР в 1955 году работал на целине в Казахстане. В 1964 году окончил Институт восточных языков МГУ. Работал в Институте китаеведения (Институт народов Азии АН СССР) (1959—1970), в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР (1970—1979), в Институте российской истории РАН (1979—2016). Кандидат исторических наук (1969). Доктор исторических наук (1988).

[22] Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 6.

Епископ Нестор (Анисимов): «Ночью собираются харбинцы в церковь 31 декабря старого стиля, накануне Нового года. В этот день совершается в полночь торжественный молебен во всех храмах, и с трепетным волнением заглядывают в этот миг русские люди вперед, в неизвестное будущее с одной мыслью, с одним заветным желанием, которое объединяет всех наших родных изгнанников во всех странах земли. И молятся, и плачут русские люди, и ждут с трепетом, с верою ждут, что все-таки час пробьет, что заветная надежда исполнится, что услышат они когда-нибудь снова родные колокола. Год проходит за годом, обманывая надежды, но твердо знает верующее сердце, что претерпевший до конца спасется»[23].

Л. Ю. Хаиндрова[24]*:* «Праздников в городе бывало много. Праздники русские православные — обязательные для всех. Я имею в виду пору доминирующего русского влияния в Полосе Отчуждения[25]. Праздники иностранцев, например, Новый год, стали праздновать официально по новому стилю. Китайские праздники. Заметное влияние на жизнь города оказывали и еврейские праздники. Торговля, главным образом, сосредотачивалась в их руках. Вспоминаю, что Новый год при желании можно было праздновать четыре раза. Многие и умудрялись так делать.

Первый Новый год был официальный по новому календарю. К нему готовились и в семьях, и в ресторанах, и в кабаре, которых было огромное число в Харбине. Проводы старого Нового года и встреча Нового года стоили огромных денег веселящемуся Харбину.

Затем через тринадцать дней начиналась подготовка к празднованию Нового года по старому стилю. Он проходил не менее шумно — в балах, маскарадах, с поездками на санках. Дальше был еврейский Новый год, который имеющие друзей евреев отмечали также.

И последним завершающим празднованием Нового года, всегда в разные месяцы и числа, был китайский Новый год. У китайцев лунный календарь и исчисление идет необычное. Почему-то запомнилось, что чаще всего он падал на апрель месяц. И взрослые, а особенно дети, любили наблюдать ход этого народного китайского праздника. Он отмечался стрельбою хлопушек, фейерверками, а, самое главное, торжественным шествием по улицам Пристани. Наверное, это шествие продолжалось и в Новом городе, но, живя на Пристани, мне казалось, что это привилегия только наша.

Шествие тянулось из Фуцзядяна. Костюмированные китайцы на высоченных ходулях двигались удивительно легко и изящно, свет факелов, но главное заключалось в огромном извивающемся драконе, извергавшим из своей широко открытой пасти огонь. Пылкая фантазия народа создала необыкновенной расцветки туловище и хвост дракона. Дракон был такой длины, что когда голова его едва виднелась где-то вдали, хвост еще намечался где-то позади. Празднование китайского Лунного года было

---

[23] Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 39.

[24] Лидия Юлиановна Хаиндрова (наст. фам. Хаиндра́ва, в замужестве Хаи́ндрова-Сереброва Л. Ю.) — русская поэтесса, журналистка. Родилась в 1910 году в Харбине, воспитывалась в имении деда в Грузии (с. Лехаиндрово, Кутаисская губерния), шестилетним ребенком увезена в Харбин к родителям. Начала печататься в 1928 году. Участвовала в литературном объединении «Чураевка». Уехала в СССР в 1947 году. Вначале жила в Казани, затем переехала в Краснодар, преподавала иностранный язык в школе. В Краснодаре вышел ее сборник «Даты, даты...» (1976). В 70-е активно работала в литературном объединении Краснодара. Умерла в 1986 году в Краснодаре.

[25] Полоса отчуждения — территория по обеим сторонам шоссейной или железной дороги, изъятая из другого землепользования, принадлежащая транспортным организациям и не используемая для другой хозяйственной деятельности.

всенародным. Самые бедные и те считали своей обязанностью включиться в него. Трудолюбивые китайцы на свой Новый год бросали все дела и отдыхали, отмечая его по своим возможностям»[26].

Рождество Христово. Рождественский сочельник[27]

Г. В. Хатковский: «Китайцы живо откликались на все русские обычаи, казалось, что они тоже праздновали с нами. Задолго до праздника во всех китайских лавчонках торговали елками. Искусные руки китайцев делали прекрасные составные елки, используя высушенные стебли подсолнечника в качестве основы, из-за чего они были недорогими. Елочки всех размеров выставлялись прямо на улицу для выбора по своему желанию и возможности.

Оживление царило на продовольственных рынках. Аккуратно развешанное на крючках мясо по сортам вперемежку с гусями и утками, а также отливающими всеми цветами своего радужного оперения фазанами, которые в большом количестве водились в окрестных лесах, наперебой предлагались разборчивым покупателям. На улицах торговали яблоками, плотно укрытыми ватными одеялами от мороза в больших корзинах. Продавец-китаец в меховой шапке-ушанке, в стеганых ватных штанах и куртке, в самодельных туфлях на толстой войлочной подошве, приветливо зазывал покупателей, и уличная торговля, несмотря на мороз, не прекращалась до темноты.

„Пахнет мандаринами и елкой“ — писал когда-то Александр Вертинский, и, действительно, аромат свежих мандаринов, смешанный с запахом свежей хвои, являлся символом рождественского сочельника и навсегда остался в моих воспоминаниях об этом прекрасном периоде моей жизни в городе моей юности — Харбине. В самом большом универсальном магазине „Торговый дом И. Я. Чурин и К“, основанном в начале века русским купцом Чуриным, незадолго до праздника прямо в магазине всех маленьких покупателей приветствовал Дед Мороз, угощавший их конфетами. Единственный раз в году рождественский номер детского журнала „Ласточка“ своим подписчикам приносил „настоящий“ Дед Мороз. Все обычаи и традиции, связанные с православными праздниками, пришли в Харбин из России вместе со строителями КВЖД еще до революции»[28].

Е. П. Таскина[29]*:* «Динамичные китайские торговцы охотно несли товар и оказывали услуги покупателю, поэтому на улицах постоянно бурлила жизнь. Китайцы, быстро усвоившие русские обычаи и церковный календарь с немалой выгодой для себя, неиз-

---

[26] Хаиндрова Л. Ю. Из тетради воспоминаний // Русская Атлантида. 2001. № 6. С. 39—40.

[27] Сочельник — день, непосредственно предшествующий одному из двух христианских праздников — Рождеству Христову (Рождественский сочельник) или Богоявлению (Крещению) Господню (Крещенский сочельник). Название связывают с традицией употреблять в этот день особое блюдо — сочиво. Со́чиво — постное кушанье, приготовленное из зерен пшеницы или других злаков с маком и подаваемое в Рождественский или Крещенский сочельник (канун Рождества Христова и Крещения Господня), иногда его синонимом выступает слово «кутья».

[28] Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

[29] Таскина Елена Петровна (Кириллова) (1927 г. р.) — филолог, историк культуры российской эмиграции в Китае. Родилась в Харбине. Училась в гимназии ХСМЛ. Вернулась на Родину в 1954 году. Кандидат педагогических наук, преподавала английский язык в Московском государственном педагогическом институте. Автор работ об истории и культуре российского зарубежья на Дальнем Востоке, в том числе книги «Неизвестный Харбин» (М., 1994). Составитель сборников «Харбин — ветка русского дерева» (Новосибирск, 1991), «Русский Харбин» (М.,1998) и других работ.

менно появлялись на улицах с вербой и цветами накануне Пасхи, с елками — к Новому году и Рождеству, пучками душистой травы — к Троице»[30].

Г. В. Мелихов: «Если Новый год был всегда у нас праздником взрослых, то Рождество было праздником — если не полностью, то в очень многом — детским и молодежным. „Каждый праздник имеет свой запах“, — говорил А. П. Чехов. Помню этот запах Рождества: мимолетный аромат пронесенной через комнату елки, которая до своего времени должна была томиться связанной на балконе, устойчивый запах мандаринов в ящике под кроватью... Помню детское предвкушение приближающейся радости—праздничества Елки, раздачи подарков от Деда Мороза...»[31]

О. А. Скопиченко: «Строй елок перед Рождеством, магазины в блеске елочных украшений и игрушек. В каждой даже самой бедной беженской семье разноцветными огнями свечей горели рождественские елки»[32].

Епископ Нестор (Анисимов): «Приближается праздник Рождества Христова. У дверей китайских лавок и магазинов появляются группы елок. В Сочельник, по доброму, старому обычаю, русские дети Харбина, как все русские дети, в течение уже многих веков, с волнением смотрят на темное зимнее небо в святой Сочельник, ожидая того заветного часа, когда на бледном небе загорится первая звездочка, та самая, которая некогда привела мудрецов дальней страны к яслям Христа. В некоторых церквах Харбина, и, например, в нашей церкви, Дома Милосердия, накануне Рождества и Крещения, бывает две всенощные службы: в обычное время — в 6 часов вечера и глубокой ночью — в час.

Темною, черною ночью, когда снег хрустит под ногами и белый покров на деревянных низеньких домах Модягоу сверкает огоньками в ответ на огоньки звезд, кажется русскому человеку Харбина, что он снова в России, в одном из бесчисленных русских уездных городов. И могучий звук колокола, который внезапно прорезывает ночную тишину, еще более подчеркивает, что Харбин не чужбина, что там русский дух, что Русь веет там своими духовными крылами»[33].

Г. В. Хатковский: «В Рождественский сочельник не полагалось кушать до появления первой звезды, потому я, как и все детишки, часто выбегал на улицу, чтобы увидеть первую Вифлеемскую звезду, и, заметив ее, моментально мчался домой с радостной вестью и получал от мамы что-нибудь вкусненькое, приготовленное к празднику. Вечером начинал доноситься призывный гул из близлежащей церкви.

Выйдя на улицу, чувствуешь, как город живет в ожидании чуда. Низкое, черное, как бархат, небо, характерное для этих широт, покрывается яркими звездами, а на этом фоне особенно выделяется сверкающая огнями церковь с причудливыми буквами из лампочек „РХ“ (Рождество Христово), а внутри церкви иконы украшены елочными веточками, и стелющийся дымок от кадила словно вобрал в себя аромат свежей хвои и ладана. И нет в храме ни богатых, ни бедных, здесь все преисполнены чувства ожидания великого таинства рождения Христа.

Сколько приятных хлопот доставляло украшение елки игрушками, которые задолго до праздника мы мастерили сами из алюминиевой фольги, картона и ваты. Умелые руки и фантазия вполне заменяли дорогие елочные украшения, недоступные многим семьям»[34].

---

[30] Таскина Е. П. Неизвестный Харбин. М., 1994. Цит. по: Русский Харбин. Изд. Московского ун-та, 1998. С. 37.

[31] Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 6.

[32] Скопиченко О. А. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1993. С. 56.

[33] Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 38—39.

[34] Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

Г. В. Мелихов: «И все как всегда начиналось в Сочельник. Так вот, последние жаркие домашние хлопоты на кухне. Наряжается елка. Комнаты теперь уже вовсю напоены запахом свежей хвои, переливаются всеми цветами радуги елочные игрушки. Помните, какими они были? Это „царство игрушек“ у Чурина? Добавляется запах всякой невообразимой вкуснятины: это накрывается праздничный рождественский стол. Чего только на нем нет... Но обязательно — рождественский гусь, кутья из пшеницы и меда. В темном зимнем небе плывет колокольный звон. На елке зажигаем свечи. Ждем первой звезды. Ощущение радости и счастья... Садимся за стол...

Как хорошо написал об этом русский поэт Михаил Шмейссер[35] в стихотворении „В эту ночь“:

Снег пушистый бел и ярок, в ярких льдинках в окнах стекла,
дым курчавый вьется к звездам, в сердце тихо и светло.
Эта ночь — для нас подарок меж других — пустых и блеклых:
в эту ночь приходит к людям светлый праздник — Рождество.
На тропинках оснеженных хруст шагов резвяще звонок,
в темной дымке лес сосновый, утопающий в снегах.
В тихом небе херувимы у невидимых иконок
возжигают звезды-свечи, славя Господа Христа.
В эту ночь приходит к людям радость, ласка, всепрощенье.
В эту ночь в сердцах родится грусть о детстве золотом.
И о Родине прекрасной так безудержно томленье,
так безудержно и сильно рвется сердце в отчий дом»[36].

Праздник Рождества Христова

Епископ Нестор: «Еще более русский вид имеет Харбин утром в праздник Рождества, когда „со звездою путешествуют“ толпы русских детишек, поющих тропарь и кондак праздника, славящих своими чистыми голосами родившегося Богомладенца»[37].

Г. В. Хатковский: «В день Рождества над Харбином плывут голоса колоколов. В домах веселая суета, ходят дети — „христаславщики“. Я помню, как мы ходили из квартиры в квартиру и пели тропарь „Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...“»[38]

---

[35] Михаил Шмейссер (1909—1986) родился в Новониколаевске. Отец будущего литератора, офицер Петр Шмейссер, погиб на фронтах Первой мировой. В 1925 году Михаил вместе с матерью уехал из Советской России в Харбин. В Харбине Михаил окончил русскую гимназию; работал в «Международном обществе спальных вагонов» (эталоном железнодорожного комфорта служили поезда с фирменным наименованием «Сибирский экспресс». С 1905 года эти скорые поезда начали курсировать по маршруту Владивосток—Харбин—Москва). Печататься начал в 1927 году, одновременно участвовал в литературном кружке «Молодая Чураевка» и литературно-художественном кружке при Объединении монархистов. В 1945 году части Советской армии входят в Харбин; Михаил Шмейссер арестован, вывезен в Советский Союз и отправлен в лагерь. Освобожден из заключения в середине 50-х годов. В 1961 году Михаил Петрович обосновывается в Свердловске, где четверть века спустя и завершился его жизненный путь.

[36] Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 7.

[37] Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 39.

[38] Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

Михаил Шмейссер:

Рождество! Какое сердце не хранит от детства память?!
У кого не сохранились в сердце радостные дни?!
Елка, радость... Ласка мамы... Свечек жаркие огни...
Запах хвои слаще меда, смолкой липкою запачкан
синий шарик с каплей воска на надувшемся боку...
И тихонько долгожданный Дед Мороз стучит у входа —
оснеженный в поле вьюгой, пришагавший по ветру...
Было ль сладостнее время, чем приход Деда Мороза?!
Жизнь без сказок — жизнь сурова. Только в детстве золотом,
в Рождество чудесной сказкой оживало от прихода
милой елки и Мороза все восторженно кругом.
Вся Россия становилась в эти дни огромной елкой,
над которой загоралась Вифлеемская звезда.
И дворцы и даже хаты зеленели хвоей колкой.
Этих милых русских елок не забудем никогда!..[39]

Н. Г. Шарохин: «В каждом доме ставились елки, иногда доставали амурскую пихту. Накрывали обильный стол (по своим материальным возможностям), приходило множество знакомых, которых называли визитерами. У всех было светлое, радостное чувство праздника.

В каждом доме елка зажигалась —
Дед Мороз их по домам разнес.
В вечер тот всем детство возвращалось,
Хоть дожили до седых волос.
Снег летел рождественский на елки,
Что остались ночевать в лесу,
Сторожить их будут лисы, белки,
А Христос сиротам принесет ко сну.

В вечер тот все звезды зажигает
Сам Господь своею лишь рукой,
Дед Мороз подарки доставляет
Прямо по трубе домой.
Так мы молодеем раз в году, в сочельник,
Вспоминая годы, что ушли от нас.
И во сне нам снятся елки, частый ельник,
И подарков горы, что дала жизнь раз.

И продолжались радостные счастливые святки вплоть до крещения. В Рождество и Пасху всегда полагалось запрягать лучших рысаков ипподрома в сани или экипажи, в зависимости от сезона. Кони накрывались разноцветными шелковыми сетками. Это был один из элементов русского православного праздника, который навсегда западал в душу всем, от маленького ребенка до больного старика. В период святок старались делать добрые дела, помочь бедным и обездоленным, — зайти, принести что-либо — деньги или праздничную пищу. Замечу, кстати, что в Харбине не было ни одного

[39] Шмейссер Михаил. Рождество. Цит. по: Мелихов Г. В. Указ. соч. С. 7.

ребенка или подростка беспризорного. Все были пристроены в приютах, в домах-убежищах и т. п.»[40].

Протоиерей Евгений Ланский[41]*:* «У нас дома в столовой стоял громадный стол, который во время празднования был весь заставлен разнообразными блюдами. На Рождество его покрывали соломой, а сверху стелили белоснежную скатерть — по украинской традиции. Накрывался стол уже вечером в Сочельник — обильный, вкусный, постный: стояли каши всевозможные, грибные блюда. А на следующий день разговлялись окороками, колбасами, поросятами, икрой. Было очень много фруктов: бананов, ананасов, апельсинов»[42].

Праздник Крещения Господня

Г. В. Мелихов: «Несмотря на все иностранное присутствие и идеологическое влияние, русская православная жизнь в Харбине продолжалась, и русское население торжественно праздновало великий церковный праздник Крещения Господня.

В 1921 году в Харбине основное торжество и водосвятие в Праздник Крещения Господня 19 января впервые происходили на реке Сунгари. Трудно поверить, но это действительно так. До 1921 г. Иорданей на Сунгари не бывало. На Крещенье они сооружались по всем харбинским церквям, и там же производилось и водосвятие. Торжественных крестных ходов, церковного служения на льду реки, купаний в крещенской проруби, с которыми так свыклось молодое поколение харбинцев, — как будто они существовали здесь всегда, — ничего этого не было...

19 января 1921 года — первая „Иордань“ на Сунгари — конечно, была скромнейшие такой, как в последующие годы, но важно то, что была восстановлена традиция водосвятия „на воде“».

Авторы многочисленных воспоминаний о том, как проходил праздник Крещения в Харбине в 20—40-х годах, подчеркивают старорусские черты торжеств этого дня, незыблемость сохранявшихся в Харбине — этом оазисе русского дореволюционного быта — национальных традиций. Прежде всего — подлинно всенародный дух этого праздника, роднивший и равнявший всех, без различия пола и возраста, званий и сословий.

«Крещенский день был самым „Русским днем Харбина” — так пишет, например, один из харбинских старожилов, уже давно покинувший город. — В этот день на центральных улицах появлялись люди, которые в другие дни здесь никогда не бывали, — жители многочисленных русских пригородных поселков и „городков“. Ветхозаветные старики и старушки, пожилые люди и более молодые, но сохранившие до мелочей старорусский свой облик. Клетчатые шали, пуховые платки, сибирские бело-розовые „пряничные“ валенки, полушубки и шубы, а то и тулупы, вязаные и причудливо расшитые кожаные варежки и рукавицы — таково одеяние этих русских людей. Лица

[40] Шарохин Н. Г. Мой Харбин // Русская Атлантида. 2007. № 22. С. 55.

[41] Прот. Евгений Ланский родился в 1925 году. Обучался в Английском колледже в Харбине, а также в Саратовской государственной консерватории. С 1946-го по 1979 год он занимался литературной, музыкальной деятельностью, переводами с английского, польского, украинского. Работал в Саратовском епархиальном управлении архивариусом, секретарем владыки Пимена (Хмелевского). В 1989 году он был рукоположен в сан иерея архиепископом Саратовским и Вольским Пименом (Хмелевским). С 1989 года являлся штатным священником Свято-Троицкого кафедрального собора. Скончался 19 июня 2016 года.

[42] Ланский Евгений, прот. Воздух детства — воздух веры // Православие и современность. 2008. № 9 (25) / Гончаренко О. Г. Русский Харбин. М.: Вече, 2009. С. 74.

многих как бы сошли с нестеровских или суриковских полотен — кудлатые и длинные, совсем патриаршие бороды, обветренная кожа, крупные черты лица, волосы в скобку. А речь — настоящая русская „окающая“ или „екающая“, но круглая, слегка нараспев, с забытыми уже нами речевыми народными живописными частицами. Россия без всяких псевдоприкрас шла в Харбине в крестном многотысячном ходе в день Крещения, крестьянская Россия — селившаяся в беженстве по Сунгарийским городкам, Гондатьевкам, Алексеевкам, Московским казармам, Затонам, Ченхэ — выходила в этот день на главную улицу Харбина — Китайскую и двигалась по ней торжественным и внушительным шествием»[43].

А вот 19 января 1936 года. «День как всегда — ясный, солнечный и морозный, около 30 градусов или побольше. Еще до прибытия крестных ходов из других церквей движение автобусов и трамвая, только что привезших сюда, на Пристань, в район Китайской, Полицейской и Новогородней улиц, сотни людей, теперь заблаговременно приостановлено. Улицы, примыкающие к реке, сплошь запружены народом. Толпами людей усеяна и река; главное стечение народа вокруг „Иордани“, огромного ледяного Креста и у вырубленного неподалеку во льду бассейна-купели, где будет крещенское купание всех желающих. Высокий городской берег — там тоже толпа предпочитающих наблюдать величественную картину крестного хода сверху. И то верно — отсюда действительно отчетливо видна вся панорама торжественного обряда водосвятия. И хорошо слышны далеко разносящиеся в морозном воздухе стройное пение соединенного хода и возгласы совершающих обряд священнослужителей.

Сегодня здесь, без преувеличения, весь Харбин. Все покинули свои дома, чтобы участвовать и видеть! Видеть! В толпе и лица, известные в городе: общественные деятели, коммерсанты и молодежь, нарядно одетые молодые дамы, и старики, и старушки, о которых говорилось выше... Очень много иностранцев, всегда восхищавшихся и удивлявшихся купанию русских в ледяной воде, фотографировавших это невиданное зрелище и даже снимавших о нем фильмы. Сияет солнце, щеки щиплет мороз. Все в ожидании. Праздник имел твердый распорядок проведения. Все происходило по специально составленному расписанию.

Центральное место сбора всех крестных ходов — Благовещенский храм митрополичьего подворья Российской Духовной миссии в Пекине. Здесь завершается литургия св. Василия Великого. В храм войти уже невозможно. Люди стоят на паперти и в ограде. Литургии и в других церквах. К 11 часам утра они заканчиваются, и из всех пристанских церквей выходят многолюдные крестные ходы. Из Свято-Иверского храма и Свято-Петро-Павловской церкви Сунгарийского городка ходы с множеством икон и хоругвей, во главе с пастырями, направляются к Софийской церкви. Здесь они соединяются, и вот уже объединенный крестный ход трех церквей около 11.30 по определенному маршруту направляется к Благовещенской церкви. Сюда подходит и крестный ход из Свято-Пророко-Ильинской церкви. Несметная толпа. Море людей.

Прибывшие крестные ходы выстраиваются в установленном порядке. К этому моменту литургия в главной церкви заканчивается. Раздается торжественный и радостный трезвон ее колоколов. Выходит процессия, возглавляемая архиепископом Мелетием[44] и епископом Нестором. У врат церкви владыка Мелетий принимает крест, при-

---

[43] Лук-си. На «Иордани»: Из харбинских воспоминаний // Шанхайская заря, 20 января 1940 г.

[44] Митрополит Мелетий (Заборовский или Зборовский) (1868 — 1946) — митрополит Харбинский и Маньчжурский. В 1908 году хиротонисан в епископа Барнаульского. В 1912 году назначен епископом Якутским и Вилюйским. С 1916 года — епископ Забайкальский и Нерчинский. В 1920 году эмигрировал в Маньчжурию, с 1922 года епископ Харбинский. В 1928 году отказался дать подписку о лояльности к советской власти. В 1930 году заграничным Синодом возведен в сан архиеписко-

несенный епископом Ювеналием, и встает во главе объединенных крестных ходов с более чем 30 священнослужителями — высшим духовенством Харбина.

Колышущаяся лента огромной религиозной процессии под торжественный звон колоколов, под мощное пение большого объединенного хора, выходит на Китайскую улицу и направляется к реке. Солнце играет ослепительным блеском на шитье и красках бесчисленного числа хоругвей и золотых крестов, на праздничных, с золотым шитьем, облачениях и митрах иерархов. В прозрачной чистоте морозного январского дня сверкают и украшенные оклады образов; особенно красивы и великолепны большие иконы Казанской Божией Матери, Христа Спасителя и Николая Чудотворца.

Волнуясь и переливаясь, лента процессии медленно спускается с высокой Набережной на покрытую льдом реку. Лед замерзшей Сунгари прозрачен и представляется тончайшим — кажется, что под ним видно движение воды, ступишь и провалишься... На самом деле лед прочен, его толщина около метра, первое впечатление складывается из-за изумительной чистоты и прозрачности льда зимней Сунгари, которая в летние месяцы желтая и мутная.

К красоте и блеску крестного хода, медленно продвигающегося на середину реки, добавляется сверкание белейшего снега и хрустального льда. Навстречу двигается крестный ход из затонской Свято-Николаевской церкви во главе с ее настоятелем. Торжественно и медленно все устанавливается в определенном порядке вокруг блестящего ледяного Креста и Иордани — места водосвятия. Огромный восьмиконечный Крест великолепен; он заблаговременно вырубается из сунгарийского льда. В 1936-м над купелью Иордани воздвигнута часовня, увенчанная ледяным голубем.

Архиепископ Мелетий занимает место на специально сделанном ледяном возвышении; по правую и левую руку от него разместился весь сонм духовенства. Крестные ходы с иконами и хоругвями — полукругом от них. Приступают к великому чину освящения воды. Богослужение. Пение хора разносится до обоих берегов реки. Приближается самый торжественный момент. Владыка Мелетий спускается с возвышения и подходит к Иордани со Св. Крестом. Стройное пение крещенского тропаря „Во Иордани крещающуся“. Ломом прорубается покрывающий купель тонкий слой льда. Из образовавшегося отверстия фонтаном бьет вода, заполняет Иордань и растекается по специально прорубленным во льду каналам. Архипастырь троекратно погружает в воду крест. Епископ Нестор окропляет присутствующих святой водой. Чин водоосвящения завершен.

Над массой людей взмывают ввысь стайки белых голубей, выпущенных жителями Затона. Белоснежные птицы некоторое время кружат в голубом небе и улетают по домам. В 20-х годах в этот момент в небо „взвивались с частой пальбой ракеты. Это, — замечает очевидец, — была исключительная картина — Старая Московская Русь оживала вновь в ней на широкой скованной льдом маньчжурской реке“.

С приготовленными заранее бутылками и бутылочками, самыми разными сосудами, люди, стоящие поближе, первыми торопятся набрать святую крещенскую воду, которая не портится целый год и, как верят, помогает при нездоровье. Очередь других наступает позднее. До самого вечера верующие будут брать из Иордани воду — в такие же бутылочки, кувшинчики, даже чайники и прочие сосуды. А если вы не захватили их из

па Забайкальского и Нерчинского с местопребыванием в Харбине. С 1931 года, по смерти митрополита Мефодия, возглавлял вновь образовавшуюся епархию Харбинскую. В 1939 году заграничным Синодом возведен в сан митрополита Харбинского и Маньчжурского. В 1945 году вместе с большинством Дальневосточного клира и паствы был принят в Московский патриархат. Скончался 6 апреля 1946 года в Харбине и погребен в Благовещенском миссионерском храме (взорван в 1970 году).

дому, не беда: можете тут же купить их у китайцев, которые прекрасно знают этот (да и все прочие!) русский обычай и заблаговременно заготовили груду подобного товара, который к вечеру весь раскупается.

А рядом в прорубленной неподалеку „купели“ тотчас же начинается традиционное крещенское купание смельчаков, которые на это решаются. Но купаются и мужчины, и женщины, и молодежь, и старики — десятки людей! Осеняя себя крестным знамением, смело бросаются в ледяную воду... И не было случая, по-моему, чтобы кто-нибудь из них заболел! Купание на Крещенье в ледяной проруби — это тоже старый, исконно русский, обычай, принесенный сюда, в Маньчжурию. Толпа любопытствующих, среди которых много иностранцев, окружает этот бассейн-купель, к ней, как говорится, не пробьешься. Фотографы со всех сторон снимают необычное зрелище. Среди них много японцев, и один из них, слишком увлекшись, даже падает со своим фотоаппаратом в воду, вызывая сочувствие у зрителей...

Снимались о Крещенье на Сунгари и фильмы. Первую кинокартину об этом празднике в том же 1921 году сделало Товарищество Алексеева и Дон-Отелло, занимавшееся в Харбине кинопрокатом; несколько фильмов сняли и кинооператоры-японцы. Так, один из них, г-н Кии, демонстрировал свой фильм (снятый, очевидно, в какой-то из предшествующих годов) в 1936-м в помещении Епархиального дома. Фильм освещал подробно всю церемонию празднества и, конечно, купание русских в проруби. Для наибольшей наглядности на экране крупным планом был показан термометр Цельсия с подчеркнутыми на нем 30 градусами ниже нуля. Автор собирался послать фильм в Японию, где к нему был проявлен большой интерес.

Следует также сказать, что в других церквях города водосвятие происходило в специально сооруженных для этой цели „иорданях“. Особенно торжественным и многолюдным всегда бывало крещенское богослужение в Доме милосердия владыки Нестора, где к этому дню изо льда сооружались настоящие художественные произведения. Через два года после первого водосвятия на Сунгари, в 1923 г. были сооружены первые Русские горы, ставшие с той поры любимым местом развлечения харбинцев, независимо от возраста и пола»[45].

Епископ Нестор (Анисимов): «Величественно празднуется Богоявление в Харбине. На реке Сунгари, покрытой толстым ледяным покровом, сооружаются ледяной крест и бассейн изо льда. После литургии туда направляется многолюдный крестный ход из всех храмов Харбина. Колышется лес хоругвей, черным потоком течет несметная толпа народа. На углах и перекрестках к главному крестному ходу подходят процессии из других церквей, слышится пение церковных песнопений. На реке множество народа, десятки тысяч людей покрывают ледяную поверхность.

В бассейне с освященной водой, по старинному русскому обычаю, купаются богомольцы. Несмотря на тридцати-сорокаградусные морозы, обычно бывает от десяти до двадцати купальщиков.

Китайцы-язычники придают большое значение нашему крестному ходу на реку. В прошлом году, вследствие политических волнений и всевозможных беспорядков, крестный ход на Сунгари не был разрешен. И вот в наступившее лето город постигло наводнение. Весь город был затоплен водою, так что на некоторых улицах вода достигла сажени глубины. Было снесено более тысячи домов, погибли огромные запасы хлеба, утонуло несколько тысяч китайцев. И все это несчастье, по единогласному мнению туземцев, случилось именно потому, что „русские ламы“ не молились над рекою в тот год»[46].

---

[45] Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 123—128.

[46] Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 39.

Священник Николай Падерин[47]*:* «Ежегодно в праздник Крещения Господня в Благовещенский храм устремлялось почти все православное население города. Отсюда в этот день после Божественной литургии на лед реки Сунгари выходил объединенный крестный ход пяти ближайших церквей для совершения там Великого водосвятия. Величественное это было шествие, оно выявляло силу религиозного духа и веру в благодатное действие освященной воды перед лицом языческого населения города.

Многие тысячи людей сопровождали крестный ход, возглавлявшийся епархиальным архиереем, который во все время пути, поддерживаемый двумя архимандритами, нес святой Крест на главе. Целый сонм священнослужителей шел попарно в светлых облачениях. Множество икон и хоругвей свидетельствовало о высоте события. С колокольни Благовещенского храма торжественно гудели колокола, самый большой из которых весил 216 пудов 20 фунтов (ок. 3465 кг). То звонила молодая русская девушка, провожая шествие для общегородского водоосвящения и затем снова отмечая возвращение крестного хода.

На месте водосвятия к прибывшим присоединялся крестный ход Затонской Свято-Николаевской церкви, расположенной на другом берегу реки. И вот, чин освящения воды совершается у большого ледяного креста. Звуки священных песнопений несутся в морозном воздухе, услаждая души собравшихся высокой религиозной настроенностью. Вот спускается с ледяной кафедры святитель и опускает святой Крест в прорубь реки Сунгари. *Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...* — звучат всем знакомые слова праздничного тропаря.

В этот момент взвивается стайка голубей и кружится над местом освящения. Те, кто стоит вдали и не слышит звуков песнопений, узнают по этому знаку о наступлении священного момента и истово крестятся. Вода течет по выбитым во льду желобам, что дает возможность освятиться и наполнить ею сосуды, принесенные с собой верующими. Несколько в стороне, в специально изготовленной проруби, десятки людей молодых и пожилых опускаются в освященную воду с верой в ее укрепляющее и исцеляющее болезни действие. Этот день считался поистине общегородским праздником и свидетельством православного торжества веры»[48].

С. С. Троицкая: «Особое торжество происходило в день Крещения Господня в самые холодные зимние дни, когда совершался крестный ход на реку Сунгари для освящения воды. В нем принимали участие преимущественно церкви Пристани, ближайшего района к реке. На Сунгари заранее сооружался изо льда огромный красиво высеченный крест, престол и, конечно, делалась прорубь для погружения Святого Креста в воду, а из этой проруби по выдолбленной канаве освященная вода поступала в другую прорубь — для желающих окунуться в освященную воду.

После литургии молящиеся с иконами и хоругвями выходили из пристанских храмов с пением тропаря, за ними шло духовенство и ход замыкали все остальные. Крест-

[47] Епископ Никандр (в миру Николай Петрович Падерин) (1927, Харбин — 1987, США) — епископ Сан-Паульский и Бразильский. Начальное и среднее образование получил в Харбине. В 1943 году окончил Харбинскую духовную семинарию и в 1948 году — Богословский институт Святого Владимира в Харбине. В 1953 году рукоположен в сан диакона, а 19 декабря того же года — в сан священника, служил священником Никольского кафедрального собора. В 1956 году выехал в Бразилию, назначен настоятелем храма Святой Зинаиды в Рио-де-Жанейро. В 1960 году был отозван в Сан-Паулу, был настоятелем Покровской церкви. 4 октября 1967 года пострижен в монашество архиепископом Никоном (Рклицким) с именем Никандр. В 1967 году рукоположен в епископа Рио-де-Жанейрского, с 1976 года — епископ Сан-Паульский и Бразильский. Скоропостижно скончался в 1987 году в салоне самолета во время перелета в США. Похоронен на Сербском кладбище в Сан-Франциско.

[48] Падерин Николай, свящ. В рассеянии // Альфа и Омега. № 3 (29). М., 2001. С. 263.

ные ходы из Иверской церкви,Софийской и других подходили к Благовещенской, откуда выходил крестный ход во главе с правящим архиереем, и вся масса людей шла на Сунгари»[49].

Н. Н. Лалетина (Николаева)[50]*:* «После рождественских святок через всю Пристань шли на Иордан — на реку Сунгари, где к Крещению уже был готов ледяной крест с голубком наверху, с престолом для совершения молебна. Все было вырублено изо льда китайскими мастерами, и с прорубью для крещенского купания в ледяной сунгарийской воде. В этот день на Пристани было такое скопление народа, что никакой транспорт не был в состоянии переправить его. Народ шел пешком и собирался возле Благовещенского храма на Полицейской улице, и оттуда уже начинался крестный ход. Шли с хоругвями и песнопением священнический чин, собранный со всех церквей, и огромные толпы молящихся. Китайцы, привыкшие почти за полвека ко всему русскому, неизменно наблюдали за торжественным шествием. Полиция в таких случаях также была лояльна. В праздник Крещения всегда был мороз, и пешком без валенок и лица, укутанного шерстяным кашне во избежание обморожения, идти было невозможно»[51].

«Непременным был поход на промерзшую чуть ли ни на полметра Сунгари в праздник Крещенья 19 января. И всегда в это время начинались крещенские морозы. Мороз был трескучий, но это не было препятствием для того, чтобы пойти через весь морозный город пешком, транспорт и без того хилый, был не в состоянии перевезти такую массу населения. В шубе и валенках, укутано лицо шарфом так, что оставались только одни глаза, и все равно белели по очереди то одна щека, то другая. Тут надо было сразу оттереть обмороженное место снежком до той поры, пока щека не покраснела. Но все же дома для таких случаев был припасен мамой гусиный жир, как самое надежное средство при обморожении.

Молебен водосвятия на Сунгари собирал полгорода. Наряду с верующими, пришедшими на Иордань помолиться, искупаться в проруби, и набрать свяченой водички являлось много молодежи, чтобы, окунувшись в ледяную воду, наскоро одевшись в теплые шубы, шапки, валенки, ехать на горячие пельмени к Деду-виноделу[52] на левый берег. И вот что интересно, — ни о каких моржах в то время не было и помину, никто заранее не готовился к столь, казалось бы, опасному делу, как в трескучий мороз окунуться в ледяную реку! Люди шли с верой, перекрестившись и помолясь. И не было ни единого случая, чтобы кто-то из крещенских купальщиков заболел, простудился или умер.

Однажды на склоне крещенского дня пришла к проруби уже затянувшейся ледком, старушка. Она проговорила, как бы извиняясь, что только вот управилась с коровами и потому не могла раньше прийти. И вот теперь сподобилась окунуться в святую крещенскую водицу. Неспешно разделась, перекрестилась и, трижды окунувшись, так же неспешно оделась и удалилась восвояси»[53].

---

[49] Троицкая Софья. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. https://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1221.htm. Дата посещения 03.05.2024.

[50] Наталия Николаевна Лалетина, уроженка Харбина (1931 г. р.), в 1954 году переехала в СССР, ныне живет в Латвии (г. Огре). Наталия Николаевна — свидетель жизни русского Харбина 30—50-х годов прошлого столетия, времени Маньчжу-диго, японской оккупации Северного Китая. Наталия Николаевна, автор уникальных воспоминаний «Японцы», продолжает писать и деятельно участвует в сохранении памяти о русском Харбине.

[51] Лалетина (Николаева) Н. Н. Картинки с китайской натуры. Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 17. С. 50.

[52] Из многочисленных ресторанов за рекой Сунгари наибольшей популярностью пользовались «Миниатюр» и «Стоп Сигнал», а позднее — «Дед Винодел».

[53] Лалетина (Николаева) Н. Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 31. С. 48.

М. П. Таут: «Праздник Крещения в Харбине незабываем! В каждом храме после литургии крестный ход „на Иордань“, то есть во двор при церкви, где сооружался ледяной крест и осуществлялось водосвятие. Но самая главная Иордань организовывалась на замершей реке Сунгари. Там вырубалась купель и прорубь крестообразной формы для освящения воды перед ледяным алтарем и вылитым изо льда крестом с сидящим на нем голубем. Можно предположить, что китайцы, наблюдавшие за всем этим с набережной, взяли на вооружение традицию изготовления фигур изо льда.

Крестный ход на Сунгари шел из Свято-Благовещенской церкви, находившейся поблизости от набережной, с участием духовенства из других храмов. Присутствовали на этой службе на реке очень многие харбинцы, а не только прихожане данного храма. Приносили домой освященную воду, некоторые решались купаться, несмотря на тридцатиградусные морозы, в том числе женщины. Их принимали из купели в теплые шубы и увозили закутанными на китайских санях „толкай-толкай“ к берегу и — по домам. Простудившихся не было, так говорили те, чьи знакомые или члены семьи окунались в прорубь на Крещение. Незабываемым было впечатление и настроение, если удавалось попасть на сунгарийскую Иордань. Бывало это и в детстве, когда меня туда брал с собой дед, было и потом, в школьные годы, и в годы юности. Все это было нашей жизнью, частью национального самосознания и нашей сущностью»[54].

Архиепископ Нафанаил (Львов)[55]: «Особенно красочным был ежегодный крестный ход в день Крещения Господня из всех почти церквей Харбина на реку Сунгари, где у подножия ледяного креста в проруби освящалась вода, и где после того сотни харбинцев купались, несмотря на стоявшие в это время обычно жестокие морозы в 25—30 градусов. Местные жители-китайцы придавали такое значение Крещенскому водосвятию, что когда в 1932 году разразилось страшное наводнение, затопившее большую часть Харбина, они приписали это тому, что в тот год вследствие бывших тогда военных действий водоосвящения на Сунгари не было»[56].

Н. Г. Шарохин: «В Великий праздник Крещения на Сунгари воздвигался огромный ледяной крест, украшенный искусственными голубыми цветами. Рядом стояли палатки и купели, где желающие могли умыться или погрузиться в купель. И, конечно, все набирали бутылочку крещенской сунгарийской воды и торжественно относили домой. Дома было застолье, приходили знакомые, поздравляли, кропили святой крещенской

---

[54] Таут М. П. О чем думается на святках // Русская Атлантида. 2008. № 30. С. 24.

[55] Архиепископ Нафанаил (Львов) (1906, Москва — 1986, Мюнхен) — архиепископ Венский и Австрийский. Учился в гимназии в Санкт-Петербурге, продолжил обучение в Томске, где оказался в связи с отступлением Белой армии на восток. В дальнейшем он бежал вместе с матерью от наступавшей Красной армии в Маньчжурию. В 1929 году был пострижен в малую схиму с именем Нафанаил. 2 мая того же года был рукоположен во иеродиакона. 28 августа того же года рукоположен в сан иеромонаха. В 1936 году возведен в сан архимандрита. В 1938 году принимал участие во Втором Всезарубежном соборе в Сремских Карловцах (Югославия). В Сербии его застало начало Второй мировой войны. В 1946 году в женевском Крестовоздвиженском храме хиротонисан во епископа Брюссельского и Западноевропейского. В 1950 году территория Нидерландов и Великобритании была выделена из Западноевропейской в отдельную епархию, которую и возглавил епископ Нафанаил с титулом «Гаагский и Престонский». В 1952 году назначен настоятелем Воскресенской церкви в Тунисе и администратором приходов РПЦЗ в Северной Африке. В 1953 году поселился в монастыре преподобного Иова Почаевского в Мюнхене. В 1974 году назначен епископом Венским, управляющим епархией РПЦЗ в Австрии. В 1981 году возведен в сан архиепископа. В 1986 году, после длительной болезни, почил в обители преподобного Иова. Его тело было перевезено в Висбаден, где захоронено на Русском кладбище у церкви Святой Елизаветы.

[56] Нафанаил (Львов), архиепископ. Очерки русской жизни в Маньчжурии // Русская Атлантида. 2004. № 11. С. 29.

водой, радовались. Каждый православный праздник предвещала некая духовная радость общения с чем-то высоким, одухотворенным, возвышенным.

На застывшей реке шириной более 1 км была своеобразная переправа. Это были знаменитые толкай-толкай. Они представляли собой сани со скамейкой, на которой размещались двое пассажиров. Сзади стоял толкач, который, отталкиваясь шестом, развивал значительную скорость на довольно хорошо накатанной полосе. Особенно популярны были они в праздники, когда люди приходили на Иордань. Этот вид транспорта контролировался властями, поэтому никогда не было никакого ДТП. На другой стороне стоял небольшой поселок Затон, осененный церковкой во имя святого Николая Мирликийского Чудотворца. Здесь же размещалась цепь небольших ресторанчиков, где подавались горячие блины с различными наполнителями, пельмени, рыбные пироги и расстегаи, уха»[57].

Т. В. Пешкова (Флейшер): «В январе на Сунгари появлялся большой ледяной крест, возле которого вырубалась прорубь — Иордань, где православные харбинцы в день Крещения любили купаться, несмотря на то, что мороз в этот день часто бывал довольно крепкий. Предполагаю, что сооружение ледяного креста послужило началом строительства монументальных скульптур, которые в наше время ежегодно появляются в Городском саду. Там можно увидеть фигуры людей, зверей, ледяные дворцы, пагоды и даже русские церкви. Все сооружено почти в натуральную величину. Вечерами эти произведения искусства украшаются разноцветными подсветками. Зрелище очень красивое»[58].

Е. П. Таскина: «Перед Крещением на Сунгари искусные мастера-китайцы и русские по заказу Харбинской епархии воздвигали изо льда крест, амвон, в толще ледяного покрова вырезали купель. Возвышаясь над открытым пространством замерзшей реки, перехваченной железнодорожным мостом, сверкал на солнце огромный ледяной крест. Представьте себе: идет крестный ход, а вдалеке проносятся по льду „толкай-толкай“ — невиданный санный транспорт тех лет (кстати, единственный в мире), управляемый китайскими „гондольерами“ в ушанках и ватниках.

„Иордань“ на реке Сунгари, празднично гомонящая толпа русских и китайцев в трескучий январский мороз. Купание в ледяной купели. А вечерами, иногда при нестерпимом январском ветре, ходили в Модягоу на подворье церкви Дома милосердия смотреть на очередное чудо — сделанные изо льда предметы церковной атрибутики и утвари. Подсвеченные изнутри электрическим светом, они производили неизгладимое впечатление. Их также совместно создавали китайские и русские мастера»[59].

Л. Ю. Хаиндрова: «С заснеженной зеркальной гладью сунгарийского льда связаны воспоминания Крещенского водосвятия 19 января. Почему-то запомнилось, что своей кульминации морозы достигали именно к Крещению. Помню, что на Иордань со всех церквей города тянулись крестные ходы с тысячами верующих, с духовенством, одетым в праздничные ризы. Торжественно несли хоругви, иконы наиболее чтимых святых, пели песнопения церковные хоры, приблизившись к огромному, сияющему, словно бриллиант, огромному ледяному кресту с надписью: „Спаси и сохрани“.

Начиналась торжественная служба, в которой принимал участие какой-нибудь высший священнослужитель, а иногда и несколько сразу. Начиналось пением: „Во Иордани крещающуся...“. И всегда находились не только молодые люди, но и пожилые, и даже женщины, которые опускались в ледяную прорубь, а затем медленно выходили отту-

[57] Шарохин Н. Г. Мой Харбин // Русская Атлантида. 2007. № 23. С. 55.
[58] Пешкова (Флейшер) Т. В. Харбинские сказки // Русская Атлантида. 2006. № 18. С. 48.
[59] Таскина Е. П. Неизвестный Харбин. М., 1994. С. 37.

да, и на них набрасывались шубы, а были и такие, что медленно начинали одеваться. Из года в год одни и те же лица купались в иорданской купели. Я позабыла теперь фамилии этих смельчаков, о них всегда упоминалось в газетных очерках о Водосвятии, и самым любопытным было то, что никто из купальщиков никогда не болел, приняв такую ледяную ванну.

Когда 19 января бывал особенно морозный день, то Водосвятие совершалось в далеко отстоявших от Сунгари церквях и монастырях, в специально сооруженной у церкви купели. Помню, что однажды, понадеявшись на привычку ходить даже зимой легко обутой, я отправилась с друзьями на Водосвятие к реке. Видимо, мороз был отчаянным. Я не помню, как вернулась домой, но до сих пор свежо в памяти, как корчилась от страшной боли в ногах и руках. Какое-то чудо спасло меня, и я не отморозила ноги. Зато после памятного Водосвятия я, даже отправляясь кататься на любимом „толкай-толкай“, сплошь покрытом медвежьим мехом, одевалась так, будто бы я отправлялась на Северный полюс.

Теперь я знаю, что следовало оттирать ноги снегом, а тогда, если и знала, то нельзя было прибегнуть к этому спасительному средству, так как следовало скрыть от домашних случившееся, ведь меня не пускали легко одетой на Сунгари, а я незаметно и легкомысленно выпорхнула из дома, чуть ли не в туфельках. А может быть, мы с кем-то поспорили, что выдержим этот холод в туфельках? А в результате — нечеловеческие муки. Только бабушка знала о моей беде и помогла, чем было возможно. Главное, чтобы никто не узнал. Бабушка была добра ко всем детям и всегда нас покрывала. В благодарность бабушке, мы никогда в будущем ее не подводили»[60].

Г. В. Хатковский: «Перед праздником Крещения искусные мастера китайцы вместе с русскими по заказу Харбинской епархии воздвигали изо льда большой крест, амвон и в толще ледяного покрова вырезали на мелководье купель, а также лоток для воды. Огромный ледяной крест сверкал во всей своей красе, возвышаясь над открытым пространством замерзшей реки, перехваченной железнодорожным мостом. Каждая церковь, а их в Харбине было больше двадцати, считала своим долгом присутствовать в это время на реке Сунгари — Иордани для объединенного торжественного богослужения.

Представьте, идет крестный ход с блестящими хоругвями, звенят хоры, возглашают священнослужители в парчовых церковных одеждах, надетых поверх шуб, а на реке — празднично гомонящая толпа русских и китайцев в трескучий январский мороз. После торжественного богослужения и освящения воды люди набирали из специально сделанного лотка освященную воду в свои емкости и приносили домой. Детишки звонили в колокола многочисленных церквей. Многие купались в ледяной купели, были среди них и китайцы.

На „Иордан“ люди добирались на „толкай-толкай“ — невиданном санном транспорте тех лет (единственном в мире), управляемом китайцами-„гондольерами“ в шапках-ушанках и ватниках. Что представлял из себя этот необычный транспорт? На деревянную площадку на деревянных же полозьях, обитых железом, устанавливалось мягкое кресло для пассажиров, сзади становился китаец с длинным бамбуковым шестом с багром, которым он отталкивался от льда, и эти своеобразные сани двигались вперед с довольно большой скоростью. Для свободного перемещения на реке расчищались от снега от одного берега до противоположного дорожки шириной три-четыре метра для движения в обе стороны, и приходилось только удивляться, как встречные разъезжались на такой скорости. Пассажиры укутывались меховыми полога-

[60] Хаиндрова Л. Ю. Из тетради воспоминаний // Русская Атлантида. 2001. № 6. С. 40.

ми при сильном ветре почти с головы до ног, а самому „водителю“, видимо, было жарко от работы.

В 1934 году оккупанты-японцы запретили выход процессии к реке на Иордань, и в том же году случилось сильное наводнение: в верховье затопило пригород Харбина — поселок Ченхе и другие. Китайцы, которые ранее купались в проруби вместе с русскими, говорили, что это произошло потому, что не помолились русскому Богу.

А вечерами, иногда при нестерпимом январском ветре, русские ходили в другой район города, на подворье церкви Дома милосердия, смотреть на очередное чудо — сделанные изо льда предметы церковной атрибутики и утвари. Подсвеченные изнутри электрическим светом, они производили неизгладимое впечатление. Их также создавали китайские и русские мастера»[61].

Сырная седмица (Масленица)

Епископ Нестор (Анисимов): «Конец зимы, последние ее аккорды связаны в Харбине с двумя праздниками двух половин населения нашего города — с китайским новым годом и с русской масленицей[62]. Китайский новый год празднуется туземцами очень шумно и весело. По улицам ходят процессии в странных фантастических костюмах, на ходулях, звучат туземные барабаны, трещотки, флейты, все время непрерывно трещат хлопушки фейерверка. Шумно, весело празднуется в Харбине и русская масленица. Празднуется она, так же, как и прежде в России, с жирными блинами, с языческим разгулом и русской широтой. Но вот, когда веселье достигает, кажется, предела, когда уже стираются все грани и все пороги, тогда вечером, в воскресенье, в шумный праздничный масленичный карнавал вливается тихий призыв церковной молитвы, церковного покаяния и отрезвления. И православный Харбин не остается глухим к этим призывам»[63].

Г. В. Хатковский: «Ранняя харбинская весна хороша своим пленительным воздухом, запахами талой земли, синеватыми сумерками, тающими в изменчивом свете фонарей. И в это время Харбин праздновал масленицу в старых русских традициях — с блинами, катанием на санях, балами и костюмированными вечерами, ярмаркой»[64].

Прощеное воскресенье[65]

Протоиерей Евгений Ланский: «На Прощеное воскресенье в Харбине было столпотворение: все утром шли в церковь и после службы, выходя на улицу, встречаясь друг с другом, просили прощения. Это было обычным делом, естественным, как вдох и выдох. „Простите меня Христа ради“. — „Бог простит. Простите и меня, грешного“. У нас сейчас это все воспринимается совсем не так, к сожалению...

---

[61] Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

[62] Масленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии. Аналог карнавала в европейских странах. Масленица сродни «жирному вторнику» и Мясопусту у католиков. В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей.

[63] Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 39.

[64] Хатковский Г. В. Указ. соч.

[65] В православии самый долгий в году пост — Великий пост — предваряется днем, который именуется Прощеным воскресеньем. В этот день православные христиане на литургии имеют возможность слышать чтение Евангелия, где говорится о прощении грехов, о посте и о собирании небесных сокровищ.

Три субботы перед Великим постом, за вечерним богослужением, поется в храмах 136-й псалом „На реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы Сион...“. Это псалом русской эмиграции. В нем выражена вся горестная тоска по родине. И когда хор начинал пение этого псалма, в харбинских храмах стояло великое рыдание. Люди собирались и плакали, потому что чувствовали себя на брегах египетских, изгнанниками из Земли обетованной...»[66]

Епископ Нестор (Анисимов): «Множество народа наполняет храмы вечером в Прощеное воскресенье, когда входит в церковную жизнь Великий пост. Прекрасные харбинские церковные хоры поют по древнему обычаю в этот день пасхальные стихиры, а богомольцы в искреннем, трогательном порыве, послушные призыву Церкви, склоняются друг перед другом, прося взаимного прощения. Много и часто ссорятся русские люди в Харбине, как и везде. Но во время обряда взаимного прощения находят они в себе силы и умение, во имя Христово, протянуть друг другу руку мира. В Прощеное воскресение трогательно примиряются между собою самые ожесточенные враги»[67].

Г. В. Мелихов: «Начиналось все с русского православного, истово соблюдавшегося в харбинских семьях обычая просить друг у друга, у всех членов семьи, прощения за причиненные ранее обиды — с Прощеного воскресенья. Вечером, перед уходом домой с последнего дня Масленицы родственники-гости падали на колени перед хозяевами, совершали земной поклон и просили у них прощения... То же совершали деды и родители перед внуками и детьми, и дети перед старшими. Звучало умиротворяющее «Бог простит», следовали объятия и поцелуи. Так бывало из года в год, и теперь понятно, почему наступавший понедельник назывался Чистым»[68].

Великий пост

Архиепископ Нафанаил (Львов): «Вся жизнь в Маньчжурии, особенно в Харбине, была глубоко пропитана церковностью. Многочисленные храмы в Харбине были во все праздничные дни неизменно переполнены. Почти все русские люди Харбина постоянно ходили на праздничные богослужения. На Великий Пост прекращались почти все общественные увеселения. Даже некоторые кинематографы закрывались на весь Пост, а на первую неделю Поста и на Страстную закрывались многие. Столь большой процент русского населения соблюдал посты, что китайские лавочники приходили к священникам, спрашивая их, когда начинается тот или иной пост, чтобы в связи с этим больше или меньше заказывать мясных и молочных продуктов у оптовиков»[69].

Г. В. Мелихов: «У нас в Харбине, да и вообще у русских людей в Маньчжурии каждый год наступало время, когда все эти развлечения, балы, все светские удовольствия, даже опера — замирали, отходили на задний план или даже вовсе исчезали на время из жизни»[70].

Г. В. Хатковский: «Начинался Великий пост, чувствовалось ожидание чего-то необъяснимого, таинственного. Черное обрамление на иконах придавало церкви торжественно-траурный вид, разносился скорбный великопостный колокольный звон, призывающий верующих к молитве. В храме царил полумрак, только перед иконами

---

[66] Ланский Евгений, прот. Воздух детства — воздух веры // Православие и современность. 2008. № 9 (25).

[67] Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 39.

[68] Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 262.

[69] Нафанаил (Львов), архиепископ. Очерки русской жизни в Маньчжурии // Русская Атлантида. 2004. № 11. С. 29.

[70] Мелихов Г. В. Указ. соч. С. 262.

горели разноцветные огоньки лампад, горели свечи в подсвечниках, блики огоньков падали на лица молящихся. Говеть мы, гимназисты, ходили всем классом»[71].

Епископ Нестор (Анисимов): «По воскресеньям Великим постом совершаются в церквах пассии — чтения страстных евангелий, с проповедями, с беседами. Любят харбинцы и всегда охотно посещают духовные концерты, которые устраиваются в течение Великого поста в самых больших залах города. Несмотря на отсутствие какого-либо давления в этом отношении со стороны властей, темп мирской жизни Харбина Великим постом значительно сокращается, а на Страстную неделю закрывается большинство кинематографов и других театров»[72].

С. С. Троицкая: «Особенный душевный трепет вызывала у молящихся архиерейская служба в кафедральном соборе в первое воскресение Великого поста, которое известно как Торжество Православия. На особом молебне протодиакон громогласно читает Символ Веры, провозглашает *Вечную память* всем православным царям — защитникам Церкви Христовой и православного вероучения, а затем предает анафеме всех врагов Христа, всех отвергающих бытие Бога. (Некоторые неправильно понимают слово *анафема,* думая, что это проклятие. Нет, Церковь никого не проклинает, но она отлучает, отсекает неверного, гнилого члена от церкви Христовой. Если такой член осознает свою неправоту, свое заблуждение, то он снова может стать членом Церкви). После громогласного возгласа протодиакона хор певцов негромко поет: *Анафема.* Это же повторяет хор духовенства; затем хор поет это второй раз уже громче, и духовенство повторяет громче. В третий раз и хор и духовенство вместе громко и грозно поют *Анафема,* так что у присутствующих в храме по спине проходит дрожь. Заканчивался молебен торжественными многолетиями. Эта воскресная служба заканчивалась в час дня»[73].

Л. Ю. Хаиндрова: «Наверное, свой резон был, когда вводился семинедельный Великий пост, кроме того, о чем говорила Церковь. Наши предки любили поесть и попить, а невоздержанность приводила к печальным результатам. Вот и проводились эти всенародные посты. Но и на постных неделях люди не голодали, а отказываясь от разнообразной пищи, включающей обязательно мясные блюда, переходили на рыбные блюда, включающие всякие расстегаи, пироги, пирожки и многое другое. Причем, улавливалась разница в товарах, которыми необходимо было снабдить русских во время Великого поста. Великий пост означал говенье, большая часть русского населения Харбина строго придерживалась поста.

Одни семьи выполняли все православные обряды из-за религиозности, другие по привычке, унаследованной от дедов и прадедов. Были и такие, которые считали посты очень полезными для здоровья человека и строго придерживались церковных правил. Были и исключительные личности, которые считали все обряды религиозными предрассудками, но весь русский Харбин включался в семинедельный пост. Первая, четвертая и седьмая неделя поста считались самыми важными. Наш дедушка Александр Иванович Качанов был очень религиозным. Он постился все семь недель поста и даже отказывался от традиционной рюмки водки, подносимой отцом во время обеда»[74].

Протоиерей Евгений Ланский: «Начинался Великий пост. Нам, пацанам, это было, в общем-то, все равно, потому что на столе всегда было такое обилие постных блюд, которое вполне могло бы соперничать с нашим современным скоромным столом. В Харбине как-то спокойнее относились к рыбе — ее разрешали постом. Причем была зна-

[71] Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

[72] Нестор, епископ. Манчьжурия — Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 40.

[73] Троицкая Софья. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. https://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1221.htm. Дата посещения 03.05.2024.

[74] Хаиндрова Л. Ю. Из тетради воспоминаний // Русская Атлантида. 2001. № 6. С. 39.

менитая навага, кета, амурская и сунгарийская рыба муксум — все это очень вкусно готовилось.

Нам, детям, казалось, что пост тянется столетие. Это сейчас мне иногда хочется приостановить его течение: вот Чистый понедельник, а не успеешь оглянуться — уже Крестопоклонная неделя... Тогда же все было иначе. Особенно тяжело было в Страстную: строжайший пост, постоянно в храме, коленопреклоненная молитва — и в то же время дом и окрестности наполнялись непереносимыми ароматами: хозяйки готовились к Великой Пасхе. У нас во дворе стояла коптильня своя — коптили окорока, обвитые тестом. Пекли куличи, делали сырные пасхи — нам, мальчишкам, было трудно переносить все это»[75].

Г. В. Мелихов: «Наступали семь недель Великого Поста... После шумной и разгульной Масленицы переход этот был особенно заметен. В меню ресторанов и столовых начинали преобладать постные блюда; дома — тоже — каши и постные супы, рыба воспринималась как праздник... Происходила перемена во всех сторонах жизни каждой православной харбинской семьи, если даже она не очень строго соблюдала пост. Менялось настроение, душевный настрой всех ее членов, и его можно определить как умиротворение и покой, какое-то всеобщее примирение.

<...> А на улице? Привычные с раннего детства, сопровождавшие нас всю жизнь колокольные звоны, всегда вызывавшие подъем духа и ощущение какой-то радости, сегодня уже совсем другие. Перезвон колоколов — спокойный и протяжный и оттого чуть печальный. Менялось облачение священников и все внутреннее убранство церквей. Все становилось темным, приглушенным. Иконы убирались в черные покрывала, что придавало добрым ликам святых и даже мягкому образу Божией Матери непривычную строгость.

Великий Пост, как и Рождественский, — это время больших духовных концертов объединенных хоров харбинских церквей — о которых так хорошо написала их участница, ныне регент хора русской православной церкви в Сиднее — Вера Троицкая[76]. Одним, возможно, наиболее ранним, по крайней мере, из известных мне, был такой концерт трех хоров — Свято-Николаевского собора, Софийской церкви и церкви Коммерческих училищ под управлением И. П. Райского[77] 30 марта 1921 г. В нем принима-

---

[75] Ланский Евгений, прот. Воздух детства — воздух веры // Православие и современность. 2008. № 9 (25).

[76] Вера Михайловна Руденко (урожд. Троицкая) родилась в Харбине после Второй мировой войны. Там же начала свое образование в Высшей музыкальной школе. Пение окружало всю ее жизнь, так как родители пели и в опере, и в церкви, где ее отец служил регентом и где впоследствии Вера Михайловна начала петь. По приезде в Австралию Вера Михайловна начала участвовать в больших концертах, конкурсах, затем была принята в оперу. Получив стипендию в Венскую консерваторию, продолжала совершенствоваться по классу вокала. По возвращении в Австралию стала преподавать пение в Австралийской интернациональной консерватории в Сиднее, а также в консерватории в г. Воллонгонге. Преподавательскую деятельность Вера Михайловна совмещает с концертной: выступает на фестивалях, концертах; она выступала во многих странах мира. Живет в г. Воллонгонге (Новый Южный Уэльс, Австралия).

[77] Райский Ипполит Петрович (1869—1950) — российский хоровой дирижер, композитор, педагог. Родился в Орске в семье священника. По окончании Оренбургской духовной семинарии служил священником в Никольской вокзальной церкви в Уфе. Обучался в Императорской придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге. Преподавал пение, руководил любительскими хорами и оркестрами в Уфе (с 1895), Иркутске (1910—1915), Благовещенске (в первой половине 1920-х годов). С 1925 года в Харбине: работал вторым дирижером и виолончелистом Русской оперы при Железнодорожном собрании, регентом в Свято-Алексеевской и Свято-Иверской (с 1939) церквах, преподавал музыку и пение в Харбинском коммерческом училище Китайско-Восточной железной дороги, руководил русскими любительскими хорами. Отец дирижера Б. И. Райского (1915—1993).

ла участие известная в то время певица — сопрано Каплунова, т. е. уже существовала традиция привлечения к выступлению церковного хора светских певцов.

Что касается церковных хоров, то каждая из 23 харбинских церквей имела свой, зачастую вполне профессиональный хор. Особой известностью и славой пользовались три архиерейских хора и среди них, конечно, прежде всего хор Свято-Николаевского кафедрального собора, певчие которого работали, отчасти, на профессиональной основе, т. е. получали за свою (нелегкую!) работу в хоре небольшое жалованье.

Широко известными старейшими регентами харбинских хоров были П. Н. Машин[78], Ипполит Петрович Райский, Валериан Степанович Лукша[79], Иван Андреевич Колчин[80], Иван Максимович Воротников[81].

Из более молодого поколения В. Троицкая называет следующих: Петр Филиппович Распопов[82], Виталий Иулианович Сумневич[83], М. Н. Троицкий[84], Н. М. Беневоленский[85],

---

[78] Петр Николаевич Машин — воспитанник Харьковского императорского музыкального училища. С 1907-го по 1924 год преподавал пение в Харбинских Коммерческих училищах. Он также один из основателей Первой музыкальной школы в Харбине (1921). В 1925 году П. Н. Машин переехал в Шанхай . Организовал хоры в Архиерейской и Свято-Николаевской церквах, проводил концерты духовной музыки. Наиболее крупным его творческим успехом было создание в Шанхае Украинского и Терского казачьего хоров. С последним он объездил весь мир.

[79] Лукша Валериан Степанович (1885, Гродненская губ. — 1966, Марин, Калифорния). Ученик композитора Архангельского. Хормейстер Лейб-гвардии Гренадерского полка. Регент Иверской церкви в Харбине. Приехал в Сан-Франциско в 1936 году по приглашению прихожан Свято-Скорбященского храма. Помогал приезду в США музыкантов из Харбина.

[80] Колчин Иван Андреевич родился в 1893 году в имении Калинино Вятской губернии. Получил музыкальное образование по специальности «Духовное пение» и в 1910 году дирижировал хором церкви Святого Николая в г. Слободском. Хормейстер церковный и светский. С 1912-го по 1917 год учился в Казанском университете и управлял университетским хором. После Гражданской войны эмигрировал в Китай, где продолжал руководить хорами. С 1921-го по 1936 год руководил хором церкви Святого Алексия в Модягоу (предместье Харбина), а с 1936-го по 1940 год — хором церкви Святого Николая в Шанхае. В 1940 году был приглашен руководить хором собора Святой Троицы в Сан-Франциско (РПЦЗ), которым дирижировал с 1940-го по 1962 год, и в то же время руководил Русским мужским хором, выступавшим с концертными программами в Калифорнии. Скончался в апреле 1967 года в Сан-Франциско.

[81] Воротников Иван Максимович — участник Русско-японской войны 1904—1905 годов. После окончания военных действий остался на жительство в Харбине. Регент Софийской церкви с 1907-го по 1943 год.

[82] Распопов Петр Филиппович (1905—1991) — регент и духовный композитор. Похоронен на Сербском кладбище недалеко от Сан-Франциско.

[83] Сумневич Виталий Иулианович — регент церковного хора Дома милосердия в Харбине. Сын священника. Скончался в Харбине в 1944 году.

[84] Троицкий Михаил Николаевич родился в Омске в 1903 году в семье священника. Окончил Курганское духовное училище и поступил в Тобольскую духовную семинарию. Во время начавшейся Гражданской войны оставил учебу и вступил в ряды Белой армии. Эвакуировался в Китай. Пел в хоре Иверской церкви Харбина. С 1952 года — регент хора Свято-Николаевского кафедрального собора. В 1958 году переехал в Австралию, в г. Брисбен, где служил регентом в Свято-Николаевском соборе, а с 1972-го по 1984 год управлял хором Благовещенской церкви. Скоропостижно скончался 13 февраля 1985 года.

[85] Беневоленский Николай Михайлович родился в 1897 году в Самаре. Окончил Самарскую духовную семинарию в 1917 году. Был призван на военную службу в 1918 году добровольцем в 1-ю конноартиллерийскую бригаду отряда Каппеля в Самаре. Принимал участие в Гражданской войне в составе драгунского полка армии генерала Каппеля. Прибыл в Маньчжурию в ноябре 1920 года из Читы через станцию Маньчжурию с армией. Окончил политехнический факультет Северо-Маньчжурского университета (1939). Регент Покровской церкви на Старом кладбище в Харбине (1941—1947). Псаломщик-регент в церкви Корпусного городка (1947—1955).

А. В. Приклонский[86], Константин Павлючик[87], Д. Н. Немчинов[88], Георгий Ефимович Черемушкин[89], Игорь Баранов[90]. Прекрасным организатором школьных хоров Лицея Св. Николая и обоих Конвентов являлся и популярный Николай Иванович Бабайлов[91].

Уже в Австралии регентами местных церковных хоров стали харбинцы Вадим Лаптев, Л. А. Приклонская[92], В. Троицкая. Выдающимися голосами обладали два знаменитых харбинских протодиакона, служившие в соборе, — о. Николай Иванович Овчинкин[93] (могучий бас-октава) и о. Семен (Симеон) Никитич Коростелев[94] (красивый лирический тенор)»[95].

Из Сборника памяти 1-го Харбинского русского реального училища: «Учащиеся школы участвовали во время Великого поста обязательно в общем говении. Когда три дня мы должны были быть утром и вечером на долгих великопостных службах в кафедральном соборе. Накануне дня причастия после вечерни исповедовались у своих училищных батюшек, а в день принятия св. Даров, собирались, облачались в парадную форму, к началу литургии, во время которой все училище стояло в рядах по классам, и все молились умиленно до причастия. После Святого причастия все считали себя возвышенно легкими и, выходя из храма, как именинники, поздравляли друга друга, а особенно своих школьных подруг»[96].

---

[86] Приклонский Алексей Владимирович — псаломщик-регент в Алексеевской церкви на Зеленом базаре Харбина в 1925—1950 годах.

[87] Павлючик Константин Осипович родился в 1922 году в Харбине. С десятилетнего возраста пел в церковном хоре. Окончил Высшую музыкальную школу. Регент хора при церкви Дома милосердия в Харбине с 1944-го по 1953 год. В 1954 году переехал в Россию. Трудился на музыкальном поприще в Кемерове и пел в местном церковном хоре. В 1956 году поступил в Новосибирскую консерваторию и был приглашен владыкой Нестором регентом Вознесенского собора в Новосибирске. Под давлением властей был вынужден оставить консерваторию, выбрав путь служения Церкви, которое продолжилось 30 лет. Скончался 18 сентября 1992 года в Новосибирске.

[88] Немчинов Димитрий Николаевич — регент хора Покровской церкви Харбина.

[89] Черемушкин Георгий Ефимович (1909, ст. Хайлар КВЖД, Китай — 1992, Сан-Паулу, Бразилия). В 1936 году окончил Харбинский политехнический институт. В конце 1940-х годов организовал Школу технического черчения для китайской молодежи, а позднее для русских. В Бразилии жил с 1958 года. С детства пел в церковном хоре и позже был регентом. Организатор духовных концертов.

[90] Баранов Игорь — регент церковного хора в Харбине в 1950-х годах.

[91] Бабайлов Николай Иванович родился в 1888 году в Вятской губернии. Образование — духовная семинария. Профессия — учитель пения и регент. Прибыл в Маньчжурию в 1922 году из Приморья. Место службы — лицей Святого Николая русской католической миссии.

[92] Приклонская Людмила Алексеевна родилась в 1921 году в Харбине в семье церковного регента. Пела в церковном хоре с раннего детства. Уехала в Австралию. Регент церковного хора в Сиднее. Скончалась в 1985 году.

[93] Овчинкин Николай Иванович родился около 1894 года на Дальнем Востоке неподалеку от оз. Зайсан. В сане протодиакона с 27 лет, возведен еще в царской России. В 1920-х годах эмигрировал в Китай. Служил в Свято-Николаевском соборе Харбина с 1922-го по 1947 год. Скончался в Харбине в 1949 году от тяжелой болезни.

[94] Коростелев Симеон Никитич родом из Москвы. Участник Гражданской войны в рядах Белой армии. Эмигрировал в Китай. Жил в Харбине. В сане диакона с 1925 года. В 1925—1928 годах служил в Алексеевской церкви на Зеленом базаре. С 1928 года — в Свято-Николаевском соборе. Член Харбинского епархиального совета. Возвратился в СССР в 1956 году вместе с архиепископом Никандром (Викторовым). Служил с владыкой в Архангельской и Ростовской епархиях до самой кончины архиерея в 1961 году. Затем ушел за штат. Проживал у сестры во Львове. Пел здесь в церковном хоре. Скончался в 1978 году.

[95] Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 262—263.

[96] Сборник памяти 1-го Харбинского русского реального училища. https://archive.org/stream/sbornikpamiati1g028800/ djviu.txt. Дата посещения 27.11.2022.

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресение)[97]

Епископ Нестор (Анисимов): «Уже с начала Великого поста чувствуется в городе и во всей стране первое дыхание весны. О, весна в Маньчжурии совсем не та, что в России. Это не пышная чарующая красавица, теплым дыханием снимающая покров зимы с полей, сыплющая подснежники и фиалки, рокочущая тихим шепотом звонких ручейков. Нет, весна в Маньчжурии приходит с гневным, шумным, сокрушающим ветром, сразу срывает снежный покров, сушит талые лужи воды и слепит глаза пешеходов мелкой едкой пылью пустыни. И долго стоят в Маньчжурии черные прогалины оттаявшей земли, долго не одеваются зеленой одеждой тополя и вязы на улицах Харбина. Только смелая верба в окрестностях города поспевает как раз к празднику Вербного воскресения со своими белоснежными праздничными вербными барашками.

И вот перед праздником Входа Господня в Иерусалим появляются на улицах и перед церквами продавцы, продающие вербы, искусственные цветы. Церкви полны молящихся. Порядок поддерживается отрядами скаутов и других юношеских организаций. В храме — море огней, и когда архипастырь поднимает с кропилом руку, чтобы благословить вербы, вверх поднимается лес рук, верб и цветов... После окончания всенощной улицы Харбина пестрят огоньками возвращающихся домой богомольцев, из храмов выливаются огромные людские потоки с фонариками, свечечками и вербами в руках»[98].

Г. В. Хатковский: «В ожидании Пасхи быстро летит время, не успеешь оглянуться — уже Вербное воскресение. Китайцы хорошо знали, что принести для продажи к каждому русскому празднику, и всегда у входа в церковь продавали пучки верб, которые мы освящали в церкви. В Вербную субботу, как выходишь из церкви, видишь, как мальчишки подлетают к девочкам и кричат: „Верба-хлест, бьет до слез! Верба бела, бьет за дело! Верба красна, бьет напрасно!“. Девочки кричат, пищат, а мальчишки хлещут их по ногам. Не больно, конечно, а пищат девочки от радости: весна и скоро Пасха.

К Вербному воскресению в домах наводили порядок, так как на Страстно́й неделе много дел. Необходимо было закупить продукты, вырастить на зелень овес, на который укладывались крашеные яйца, испечь куличи и приготовить из творога пасху в специальных разборных деревянных формочках. Помню, сколько хлопот и беспокойства было у моей мамы с куличами, так как тесто было очень сдобным и медленно подходило.

Для покрытия куличей глазурью я получал задание — сбить яичные белки, а потом намазывал их на салфетку, которая надевалась поверх кулича, посыпалась цветным маком и потом застывала. Моей обязанностью было также крашение яиц. В магазинах продавались сувенирные яйца всех размеров и цветов, деревянные, пластмассовые и настоящие, расписанные художниками. Продавались шоколадные яйца и зайцы, внутри которых были небольшие сувениры (колечко, брелок и т. д.)»[99].

Н. Н. Лалетина (Николаева): «Весна манила и звала на улицу... К концу поста готовились к Вербному воскресенью. Оно сулило теплую погоду и неизменные песчаные

---

[97] Вербное воскресенье — воскресенье на шестой неделе Великого поста, последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день церковь отмечает двунадесятый Господний праздник — Вход Господень в Иерусалим.

[98] Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 40.

[99] Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

бури, начинались еврейские *Кучки*[100] — праздник, когда пекут мацу[101], а он всегда сопровождался сменой погоды, дул с Гоби теплый ветер, неся бесконечный песок.

В Вербную субботу бегали святить вербу в собор, туда собиралась ребятня не только близ живущих, но и с других районов. Заранее покупалась верба, обязательно с красивым бумажным цветочком, повязанная атласной ленточкой. Китайцы — молодцы, заранее знали, какой когда праздник, и загодя готовили пушистые вербные букеты. А мальчишки тоже заранее собирались в церковной ограде с вербными прутьями, чтобы похлестать девочек по ногам. „Верба хлест, бьет до слез, верба красна, бьет напрасно!“ А ноги-то были уже в носочках! Носочки и верба — это были символы весны! Как только пригреет солнышко, начинаешь ныть: мама, разреши надеть носки, уже тепло! Какое тепло, еще снег не везде растаял! Простудиться хочешь! Не пришла вербная пора весны!»[102]

Г. В. Мелихов: «Что именно говорило о том, что скоро, очень скоро наступит этот замечательный и радостный день — красный день календаря — праздник Пасхи? Внешние приметы — конечно, да. Это весеннее пробуждение природы. Она все более и более оживает, жарче припекает весеннее солнышко. Набухают почки. На улице уже совсем тепло. По-моему, настоящее ожидание праздника начинается с Вербной недели, когда в доме появляются вербы и первые живые цветы — осязаемые предвестники Пасхи <...>»[103]

И вот уже наступает шестая — Вербная — неделя Великого поста.

Это несколько дней веселого и шумного праздника среди скорбного Великого поста перед завершающей его Страстно́й седмицей. Для людей это была как бы разрядка, короткая отдушина в череде скромных и тихих недель... В Москве дни Вербной недели проходили особенно шумно и весело. Местом гуляний всегда была Красная площадь.

Харбинский журналист М. Шмидт в статье «Бей до слез!.. Вербные дни в Первопрестольной» называет эти дни «волшебной неделей весенней радости, красок и веселья». Он пишет о красочных развалах ярмарки на древней площади, центре Москвы и всей России — о палатках и дощатых лавках в три ряда, сотнях торговцев с лотками, о наваленных грудами на земле «вербных товарах», о «сборе здесь букинистов всей Москвы».

«Свист, писк, треск — стоном стоят над площадью. Купцы, офицеры, чиновники, няньки с детьми, гимназисты и гимназистки, студенты, инженеры, кухарки, горничные, дворники, мастеровые — все за неделю, хоть день-два толкались в эти буйные весной и жизнью дни на Красной площади...» Вечером через площадь вереницей проходили щегольские выезды московской знати и именитого купечества. А в московском Манеже традиционно на «Вербу» устраивались «конкур-гиппик» — известные на всю Россию состязания лучших наездников императорских кавалерийских полков. «Пела и зве-

---

[100] Еврейскими Кучками принято называть период, который наступает за 2—3 дня до Страстной недели и совпадает с еврейской Пасхой (Песахом). Песах начинается на пятнадцатый день месяца нисана и выпадает на первое полнолуние после весеннего равноденствия. В давние времена накануне еврейской Пасхи к Иерусалиму приходило очень много народу, и так как останавливаться им было негде, люди ломали ветки и строили что-то наподобие палаток, шалашей, это называлось «суккот» («кущи»). «Суккот» по-русски и значит «кущи» (сукка — шалаш, куща, суккот — множественное число). Возможно, это выражение пошло от древнееврейского праздника кущей, хотя Суккот празднуется осенью, а Песах весной.

[101] Мацá (ивр. мацá, в ашкеназском выговоре мáцо; чаще мн. ч. ивр. мацóт; в русской традиции — «опрéсноки») — лепешки из теста, не прошедшего сбраживание, разрешенного к употреблению в течение еврейского праздника Песах (в отличие от квасного, запрещенного в этот праздник).

[102] Лалетина (Николаева) Н. Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 32.

[103] Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 317.

нела старая Москва в Вербную неделю. Смеялось весеннее солнце, смеялся радостный народ...» — заключает журналист.

А в Харбине? То же! «Оживление наступало уже примерно с четверга — открывались традиционные вербные базары: по всей Мостовой улице, в Доме милосердия, у всех храмов. С утра устанавливались деревянные прилавки, лотки, на которых располагались груды искусственных цветов, живые цветы, ветки багульника. На тротуаре — в ведрах, в корзинах — пучки красных веточек с пушистыми светло-серыми „барашками“ — свежесрезанная верба. Продавцы — русские женщины, китайцы. Верба и в руках у многочисленных китайских разносчиков.

Вербный базар в Доме милосердия — это, по установившейся традиции, и выставка-продажа рукоделий воспитанниц: разные изящные поделки-подарки, вышитые скатерти и салфетки, аппликации, детские платья, фартучки-нагрудники... Харбинцев призывали посетить выставку, купить работы, помочь таким образом материально этому приюту милосердия.

Пик праздника — суббота. На базарах многолюдье: взрослые, школьники (школы и предприятия закрыты), гул, оживление, праздничное настроение, у всех в руках верба и цветы. Мальчишки бьют девочек по ножкам, приговаривая „Верба хлес, бей до слез!“ Визги, шум...

Но все заканчивается к вечернему богослужению. В храмах служат две всенощные. Раннюю (детскую) — для детей — святят вербу, подходят под помазание. Позднюю — тоже с освящением вербы — для взрослых»[104].

Н. Г. Шарохин: «Преддверие Пасхи было особенным. Перед Вербным воскресеньем покупали вербы белые и красные, свечи и цветы. Служба была долгой и утомительной. Всем хотелось поскорей на воздух, и едва мы выходили из храма, неожиданно и быстро кто-то нежно и осторожно дотрагивался (а не хлестал) по уху, приговаривая: „Верба бела бьет за дело“, а с другой стороны хлестали и говорили: „Верба красна бьет напрасно“. Оборачиваешься, а где-то впереди уже слышится задорный девичий смех, который никто и никогда не смел догнать. Следует отметить, что наши девочки были целомудренны и никогда не решились бы проявить своих чувств, как пушкинская Татьяна, но перед Вербным воскресеньем это было традицией, означавшей, что девушка была неравнодушна к своему избраннику»[105].

М. П. Таут: «В Вербную Субботу меня водили к детской вечерне святить вербу, а в Вербное Воскресенье — к причастию. Я самостоятельно поставила свечку и старательно отстояла литургию (ведь я уже большая), согласившись посидеть только после того, как, запив Святые Дары теплотой, натянула пальто на свое нарядное, впервые к этому случаю надетое, платьице. Все подходили к чаше без верхней одежды, женщины — в шляпках или красивых накидках на голове, девицы — с непокрытыми волосами. Помогавшие мне дед с бабушкой поцеловали и поздравили меня с принятием Святых Тайн. Потом поздравления принимает бабушка, тоже причастница. Прослушав окончание обедни, идем домой по пахнущим весной знакомым улицам»[106].

---

[104] Там же. С. 266—267.

[105] Шарохин Н. Г. Мой Харбин // Русская Атлантида. 2007. № 22. С. 56.

[106] М. П. Таут. «Храня в душе воспоминанья». Часть 1. http://pravsvet.ortox.ru/tvorchestvo/view/id/1108374. Дата посещения 03.05.2024.

Contents

Prose and Poetry

German Vlasov. Poems • 3
Boris Yevseyev. Askania. *The Forbidden Story* • 7
Egor Fetisov. Escape. Easter Evening. *Short Stories* • 39
Vadim Pugach. Poems • 48
Viktor Peregudov. Forest. Peregrine Falcon. *Short Stories* • 52
Irina Tchaikovskaya. Vesuvius Opened Its Jaws. *Short Story* • 71

Non-Capital Russia

Dmitry Kantov. Poems. F*oreword by E. Kaminsky* • 74
Akhat Mushinsky. Cold, Hot, and Cold Again. *Short Story. Foreword by E. Popov* • 80
Lyubov Novikova. Poems. *Foreword by E. Kaminsky* • 91
Alena Dal. Mitten. Storm. Violin. Dog's Life. *Short Stories. Foreword by E. Polyanskaya* • 97

Archipelago of Nobility

Alexander Melikhov. Everyone Needs to Be Treated and Taught • 120

Publicistic Writings

Evgeny Popov, Mikhail Gundarin. Obscurantist and Imperialist Kabakov • 136

Criticism and Essays

Alexander Sekatsky. Freedom Under the Veil • 150
Anatoly Sobennikov. The First World War in Russian Poetry: From Fact to Myth • 167
Vladimir Kovalenko. Informal and Unformatted: Atypical Works in World Literature • 184

Petersburg Bookman

Territory of Memory. *Elena Voskoboeva.* Creative and Stage Stories of E. L. Schwartz's Satirical Review „Under the Roofs of Paris" (to the formulation of the theme). **Art of Reading.** *Andrey Gorbachevsky.* Picture of the Universe in the Novel „The Master and Margarita". **Reviews.** *Vera Chaikovskaya.* Precise Data of Indisputable Evidence. **Book Island.** *E. Zinovieva's Publication* • 188

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Harbin — „Russian Kitezh". *Part 18* • 227

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-72-50
E-mail: nevaredaction@mail.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: https://magazines.gorky.media/neva
Сайт «Невы»: http://nevajournal.ru, https://neva-journal.ru

Проект «Сберечь и приумножить во имя будущего наше духовно-нравственное наследие»» реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: http://nevajournal.ru/book.html, https://neva-journal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 12.09.2024. Подписано в печать 18.10.2024.
Выход в свет 07.11.2024. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 61

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43